

В.И.МАРЦИНКЕВИЧ

**Человек из прошлого  
века**  
(мемуар "индивидуалиста")

*Кот диктует про татар мемуар.  
(Из Высоцкого: "Лукоморья больше нет...")*

**МОСКВА  
2011**

*"Индивидуализм – свойство, так или иначе, в разных проявлениях, не замечать общепринятое". (Стр. 155).*

*... "главный интерес в истории стало представлять ... изучение общественного быта на разных ступенях его развития". (Из С.Ф.Платонова)*

## НЕОБХОДИМОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

"Сверхзадача" данного повествования – это попытка показать источники формирования характера, мировоззрения и поведения вполне определённого, конкретного человека в зависимости от разнообразных влияний и ситуаций прошлого века. К их числу относятся наследственно-генетический фундамент, отпечаток уникальной специфики различных мест обитания, отношений семейной, общественной и профессиональной среды, воздействие различных жизненных коллизий и крупных, исторических событий. И даже связь индивидуальных судеб обычных людей с таинственно случайным появлением в человеческой популяции считанного числа исключительных, редких исторических личностей.

Моё стремление привести все эти разнопёрые условия и причины во взаимосвязанную систему является внутренним двигателем, побудительным импульсом, требующим постоянного возвращения к тексту в безнадежной погоне за его идеальной "закольцованной" окончательной формой. Еще более трудной для автора является задача сделать систему, более или менее стройную в его глазах, понятной для других, особенно посторонних людей.

Я чувствую, что для постижения этой желанной системности необходимы также и усилия читателя. Понимаю также, что долг автора состоит в том, чтобы их минимизировать. Трезвая оценка фактически достигнутого уровня кристальной ясности прорисовки системных связей говорит мне, что не все читатели, будь они даже и семи пядей во лбу, смогут постичь притязания автора. В частности потому, что довольно много места занимают "скучные" политэкономические и технико-экономические пассажи. К сожалению, обойтись без них невозможно, поскольку в данном индивидуальном случае они представляют органическую часть мировоззрения и регуляторов поведения субъекта данного мемуара.

Так получилось, что для достижения поставленной цели понадобился точечный выбор (он может показаться произвольным) отдельных моментов и явлений из всего жизненного разнообразия. В отношении каждого человека так же, как и для истории в целом, приложимо "общее требование всех философий", согласно которому нужно "изображать не все факты прошлой жизни человечества, лишь основные, обнаруживающие её общий смысл". При этом у меня часто каким-то образом стиралась разница между крупными и казалось бы, малозначительными, но памятными событиями. По-видимому, это не случайно, "мелочи" часто многое объясняют, иногда играют роль той самой последней соломинки, которая перегрузила верблюда.

В своих оценках эпохи, людей, событий и собственного поведения я стремился к предельно достижимой субъективной искренности, к обнажённому, но многократно продуманному, взвешенному, аналитическому выявлению своего отношения к описываемому. Эмоциональная окраска, где она выходит на первый план, является только следствием анализа, *но ни в коем случае не наоборот.*

По замыслу, внешние коллизии в тексте являются не целью, а средством, инструментом, обеспечивающим понимание личности самого автора. Но фактически,

как бы в качестве довольно просторного побочного продукта, сформировались характеристики различных мест, людей и сообществ, которые, как я надеюсь, также являются значимыми для понимания хотя бы осколков разбитого зеркала рассматриваемого отрезка исторического времени, важного и для каждого человека, и для нашей страны.

## Содержание

	(1931-1945)	
Олимпиадовка и Ленгородок.....		4
Война и немецкая оккупация.....		30
Жуковка – две зимы и три лета.....		44
Фотоприложение к первой части.....		53
О ростовском характере.....		73
	(1946-1954)	
Школа и Московский университет.....		81
<i>Третья железнодорожная школа.....</i>		<i>84</i>
<i>Экономический факультет МГУ.....</i>		<i>91</i>
	(1955-1962)	
Ростов, второе пришествие.....		100
<i>Ростовские персонажи.....</i>		<i>106</i>
	(1962-2010)	
Москва, второе пришествие: ИМЭМО <sup>1</sup> .....		111
<i>Евгений Аркадьевич Громов и его отдел эффективности.....</i>		<i>114</i>
<i>Николай Николаевич Иноземцев и "образовательная эпопея".....</i>		<i>126</i>
<i>Заграница.....</i>		<i>135</i>
<i>Вербовка.....</i>		<i>143</i>
Ещё об ИМЭМО.....		147
Немного заключительного самоанализа.....		152
Три опорных момента уникальности исторической роли Ульянова (Ленина).....		160
Ошибка логики Карла Маркса, её личные и исторические последствия.....		164
Олимпиадовка и Ленгородок с точки чуть выше птичьего полёта.....		172

<sup>1</sup> Институт Мировой Экономики и Международных Отношений Академии наук СССР, затем России.

**(1931 – 1945)**  
**Олимпиадовка и Ленгородок**

Для меня всё началось с Олимпиадовки, которая до середины прошлого века была западной окраиной небезызвестного города Ростова на Дону. Здесь до войны мой отец (Иосиф Викентьевич, в дальнейшем Юзик) с мамой (Верой Ивановной, мы с ней на первом фото), отделившись от родственников, снимали квартиру. Это наше жилище состояло из коридорчика с низкой дощатой отгородкой для угля, проходной "кухни" (комнатки с печкой и окном во двор), а также "зала" (просто комнаты чуть побольше с двумя окнами на улицу) и находилось в одноэтажном, пятиоконном, глинобитном, побеленном частном доме с крылечком и зелёными ставнями, расположенном в переулке "Бурный спуск" под №5.

Воспоминание об этом месте до сих пор связано с ощущением простора: от дома линия горизонта была видна не менее чем на треть, а с легко доступной крыши – почти на столько же ещё. С этой точки левее (если смотреть на запад) за Олимпиадовкой сразу начиналась степь (там потом развели коллективные сады), а правее – Ботанический сад, Змеёвская балка и опять степь. Обзорная открытость Олимпиадовки пригодилась для ориентировки и оценки опасности во время немецких бомбардировок 1942 года.

Название этого уже тогда весьма устоявшегося поселения происходит, якобы, от некоей неизвестной купчихи-основательницы по имени Олимпиада. То, что это – бывший казачий хутор, кажется мне сомнительным. Об этом говорит несельский тип людей по языку, обличию, мещанскому самоощущению, образу жизни и по характеру застройки: отсутствию следов содержания скота, деревенских огородов.

Вокруг Олимпиадовки, вплотную, но не вторгаясь в улицы, располагались несколько небольших предприятий: подшипниковый и силикатный заводы, кожгалантерейная и пуговичная фабрики, а также один из городских трамвайных парков. По моему впечатлению, место было тогда безопасным и немного сонным. В этом представлялось отличие и от Нахаловки (прекрасно обозреваемой, но расположенной в полностью изолированном отдалении на подъеме за речкой) и, возможно, от соседнего, примыкающего без зазоров, железнодорожного пролетарского Ленгородка, по старому – Темерника, названного по имени ныне катастрофически обмелевшей реки, в устье которой, по неподтвержденным сведениям, заплывали из Дона корабли Петра I во времена Азовских походов.

На Олимпиадовке, как в более молодом и отдаленном поселении, не было каменных домов начальства, врачей или церковных служителей. В ней не селились железнодорожники, мастера и квалифицированные рабочие. Было далеко идти пешком до градообразующего Темерник паровозоремонтного Лензавода (советское название Владикавказских железнодорожных мастерских, известных по статьям Ленина-Ульянова о первых революционных выступлениях российского пролетариата и баррикадных перестрелках 1905 года). Своими просторами для обозрения Олимпиадовка резко контрастировала с расположенным в низине центром Ленгородка, где дома и акации оставляли видимым только небольшой лоскут неба и совсем заслоняли горизонт. До войны там ещё доживали свой век некоторые приметы старого времени, и заводской гудок раздавался по утрам за полчаса до работы, вечером и даже в обеденный перерыв в двенадцать часов.



Трамвай из Ленгорodka на Олимпиадовку провели под бабушкиными окнами по улице Собино (старое название Церковная) после революции – при мне он уже существовал. Это был номер пятый – один кургузый, без "прицепки", красный вагон, внутри сидения обиты вдоль светло-желтоватой деревянной рейкой, токоприёмник – не дуга, как было тогда в Москве, а штанга с роликом, на площадке – доступное всем большое, чёрное, чугунное, трескучее тормозное колесо с ручкой, управление вагоном сзади и спереди. "Пятерка" ходила от Лендворца (или просто Дворца), сооруженного в стиле конструктивизма (после войны к нему пристроили триумфальную супер-классическую колоннаду). Дворец вольготно расположился на бывшей просторнейшей рыночной площади почти рядом с уничтоженной церковью Покрова Богородицы. В ней священником был с 1896 и до весны 1918 года мой дед – иерей Отец Иван (Алексеев).



Сейчас на бывшем Темернике церковей нет, а было две. Упомянутая была снесена до меня, а при ней, естественно, была пущена под асфальт и бурьян могила деда. Вторую, Шаховскую (Воскресенскую) перед войной закрывали, вновь открыли при немцах, а после войны, как и первую, снесли без следа. Она была расположена симметрично с Покровской относительно оси Церковной улицы на углу территории паровозоремонтного завода и тоже очень близко к железнодорожным путям. Здесь в 1936 году крестили моего родного брата Германа – я помню ярко-красно-золотое окружение, свечи, невиданное для меня облачение священника, который носил младенца вокруг покрытого ковром стола и чего-то тоже блестящего.

После сноса этих двух церковей, которые обрамляли прилегавшее к станции и заводу с тыла обширное, всегда оживленное торговое пространство, центр Ленгорodka потерял архитектурные, а вскоре и функциональные акценты. С постройкой глыбообразного, угловатого Дворца (официальное название – Рабочий дворец имени Ленина) Церковная улица утратила не только выход на площадь, но и саму площадь, оказалась закрытой глухой стеной огромного здания, которое всегда смотрелось как чуждо-роскошная заплатка на традиционной, по преимуществу одно-двухэтажной, скромно-провинциальной соседней застройке. Я не только в детстве боялся, но и впоследствии всегда опасался, что трамвай на крутом повороте спуска сойдёт с рельсов и врежется в каменную стену Дворца.

На другом конце короткой линии после нашей олимпиадовской остановки "Почта", трамвай полз один пролет налево вверх к трамвайному парку, не доходя до него, повернув ещё раз налево, шёл назад до краснокирпичной казавшейся высокой 58-й средней школы, а оттуда, замыкая круг, поворачивал вниз – вдоль западной стороны огороженного невысокой фигурной белокирпичной (или покрашенной в белое) кое-где уже разломанной стены кладбища, ныне не существующего. После войны оно было круто преобразовано в место развлечений и беззаботного времяпровождения. За его счет был вдвое расширен соседний "Садик" – маленький и уютный "парк культуры и отдыха", в котором был и тир, и танцплощадка, и "*прохладительные кисочки*", и летний кинотеатр. Туда же привозили спектакли. Я помню, как распространился слух, что кукольный театр будет показывать "Три поросёнка", все пацаны побежали, хотя довольно далеко, и действительно состоялся спектакль.

Наверху, на юге Олимпиадовка соседствует с "Красным городом-садом", где доживают свой век немногие уже тогда запущенные одноэтажные кирпичные коттеджи с заросшими садиками, и с Верхней Гниловской – станицей, которая давно стала частью города. Где-то на юго-восточной границе моего жизненного простран-

ства маячил так называемый "Гигант", захватывающе высотный (пяти- или четырёх-этажный) комплекс советской постройки. Немыслимые для нас удобства подобного жилья вдохновили и Маяковского на стихи о вселении литейщика Ивана Козырева в новую квартиру: "кажется в доме лето и Волга, только нет рыб и пароходов". Конечно, я этого тогда не видел, там не был – только с границ обжитого мира были видны величественные здания далеко на горе.

Рядом с Гниловской на улице Крупской проживала казачья семья Хоренковых, среди них тётя Зина одна из трёх моих тёток, маминых сестёр и к тому же – моя крёстная мать, её муж Фёдор Степанович Хоренков, а также их сын, мой двоюродный брат Владимир (Вовка). Ещё там были мать дяди Феди Конкордия (Васильевна) – хозяйка и вообще сильный персонаж, которая будет упоминаться ниже, а также другие свойственники из этого казацкого корня.

Дядя Федя запомнился мне как энергичный парень, озорник. Однажды зимой, когда уже стемнело, мы (мама со своими сёстрами Зиной и Олей) возвращались с Гниловской по степному пустырю около Кургана. Это был настоящий бугор, вокруг в разное время располагались толкучка и угольный склад, во время войны на нём торчали вверх стволы нашей батареи зенитных пушек, а теперь – это центр обширного Западного района Ростова. Дядя Федя вез меня на санках и для смеха прятался от общей процессии, чтобы наблюдать переполох и волнение, вызванные потерей ребёнка<sup>2</sup>.



Когда началась война, дядя Федя сразу же погиб. О том, как это произошло, неизвестно ничего, кроме семейного упоминания, что он был пулемётчиком. Это подтвердилось только недавно записью в Объединенной базе данных о военных потерях: "Фёдор Степанович Хоренков, красноармеец 1 пулемётной роты, 1 батальона 982 стрелкового полка 275 стрелковой дивизии *пропал без вести* в июле 1941 года". Эта по существу трагическая, а по юридической силе презрительно-казённая формулировка навсегда освободила наше государство от всех моральных и материальных обязательств перед семьёй погибшего солдата.

Дядя Федя приходится дедом володиному сыну Сергею, который вместе с женой Наташей и двумя дочерьми теперь живет на улице Собино в доме №16. Именно он добился крохотного расширения своей малой жилплощади в этом доме, который был когда-то, до "революционного" ограбления семьи, нашим собственным, и установил видные на снимке современные стеклопакеты.

Этот старый каменный двухэтажный, ныне постыдно обезображенный "коммунальный" дом в центре Темерника был выстроен к 1908 году моим дедом, упомянутым выше священником Иваном Александровичем Алексеевым на небольшом, но престижном участке, который он купил в 1903 году у некоей вдовы жандармского унтер-офицера Фоменко за 2900 рублей, о чём у меня имеется "купчая крепость", подлинный официальный, оформленный по всем правилам документ. Есть также

<sup>2</sup> Особый тип и неповторимая атмосфера человеческих отношений окраин Ленгородка стопроцентно правдиво и исключительно талантливо переданы рано умершим писателем Виталием Сёминым в книге "Семеро в одном доме". Сёмин, с которым мы с моей женой Галой встречались в одной компании, ростовчанин, был немного старше меня и жил в центре города. Во время оккупации он был отправлен в Германию, а после войны оказался в доме своей жены на улице Крупской по соседству с Хоренковыми. Всё детали быта и взаимоотношений людей он испытал как часть своей собственной жизни.



оригинал судебного постановления о наследстве после его смерти в "боевом восемнадцатом году". Это случилось при белых или даже "при немцах", которые оккупировали Ростов впервые ещё тогда, согласно Брестскому миру.<sup>3</sup>

Это наследственное имущество перешло моей бабушке Марии Петровне и *девяти* живым на тот момент детям: Дмитрию, Софии, Клавдии, Александру, Вере, Павлу, Анатолию, Зинаиде, Ольге. Ещё двое из одиннадцати бабушкиных детей умерли в младенчестве. В состав наследства вошли дворовый участок с постройками, оцененный в 6980 рублей, и капитал на сумму 1330 руб. 01 коп. в кредитных учреждениях. Как-то, глядя в окно, одна из тёток, прошептала "про себя", что дед собирался купить большой дом напротив и немного повыше, в котором впоследствии разместилось наше "пятое отделение" милиции (или, может быть, рядом с ним). Но Слава, Слава Богу, продолжила она, этому что-то помешало. Тётки утверждали также, что и свой дом они сами отдали советской власти с благодарностью, после чего все шестером (Мария Петровна и оставшиеся в живых после гражданской войны четверо дочерей и сын) добровольно переместились в одну комнату с входом, пробитым специально для этого из подворотни, поскольку парадный вход, как везде, был заколочен. В эту комнату у бабушки мы с мамой и Германом переселились летом 1942 года уже при других немцах, доставшихся нашему поколению, а до этого я был "приходящим" с Олимпиадовки членом семьи.

В населении Олимпиадовки, по моему ощущению, имелось некоторое социальное различие между более богатыми и более бедными, более или менее интеллигентными. В первые группы попадали в основном домовладельцы и служащие, во вторые – вдовы, сироты, бедные родственники, армянин-сапожник, живший в подвале. В общем, кричащих различий не было и во всяком случае, как мне казалось, люди вполне признавали свое положение. Что кажется мне важным и находится в резком контрасте с сегодняшней ситуацией – всё было хотя весьма скромно и бедно, но чисто, выбелено, заборы, калитки не ободраны, во дворах собаки, у каждой из них, как и у кошек, – имя, никаких признаков разрухи или явного небрежения.

В высшем слое особняком стояли неизвестные жильцы дома около почты. Они не соприкасались с местной жизнью, их я никогда не видел – сразу садились на трамвай, что ли? Там из окон иногда играла громкая музыка, с которой ассоциировалось только красивое слово – "радиола" (в отличие от патефонов и радиоприёмников, которые были у нас и у некоторых немногих, но вполне социально доступных людей). Далее следовала *Парикмахерша* с почти взрослым сыном – вальяжным брюнетом *Геннадием*. Она занималась частной практикой (для стрижки детей на поручни кресла ставилась доска) и жила в краснокирпичном доме, квадратном с четырехскатной крышей, окнами на улицу, с деревянными ставнями, которые закрывались на ночь



<sup>3</sup> Интересно, что во время этой ранней репетиции немецкого вторжения вглубь России немцы в основном вели себя так же, как в обычной европейской стране. Это впечатление осталось и в ростовском обывательском сознании, и в литературе. Вспомним и картинку из трилогии А. Толстого, где немецкий офицер мирно катает на лодочке барышню у пристани ростовского пригорода Аксая, и разговор Рощина с немецким унтером в поезде, и булгаковского Тальберга. Или даже безнаказанный лихой поступок Павла Корчагина, укравшего "Вальтер" у беспечного оккупанта.

железными засовами со штырями (ставни, впрочем, были у всех). Такой дом был редок (вокруг – один) и представлялся верхом богатства и совершенства<sup>4</sup>.

На Олимпиадовке тогда было много детей. У нас во дворе, например, шестеро. (На фото отсутствуют маленький Герман и Тамарка). Везде постоянно шныряли незнакомые пацаны. Стоило отцу, тогда для всех "дяде Юзику", который отличался необыкновенной общительностью, прийти однажды в пустынный будним днем Садик, там как из-под земли образовалась целая группа ребят, охотно позировавших перед фотоаппаратом. Летом 1942-го на заднем, пожарном крыльце нашей 64 школы пятеро разряжали мину, найденную где-то в Ботаническом саду. Четырех разорвало (пятый перед взрывом отлучился), но только один из них оказался из отдалённого семейства. Изредка появлялись новые люди. Из тех, которые привлекли живое любопытство общественности своим видом и выговором, были "москвичи", которые как-то летом приехали в гости в один из домов недалеко от нас, чуть ниже школьного двора. Удивлённые и заинтригованные пацаны за ними ходили в некотором отдалении и декламировали громко и акцентировано: "ѓниды ѓоловы ѓрызут!".

Непонятную группу составляли люди, которые возникали неизвестно откуда с пыльными мешками и выстраивались в длинную (до наших окон) плотную очередь, как только раздавался истошный крик: "мучку везут!". Они затемно галдели под окнами, пересчитывались, ругались, писали номера на руках химическим карандашом и т.п. Дело в том, что в подвале двухэтажного углового дома выше нас имелся пункт по продаже дефицитного комбикорма для скота. Вместе с тем, коров вокруг было раз-два и обчёлся; кое у кого были козы, которые паслись привязанные к столбикам на открытых местах, но редко. Во время войны этот подвал переквалифицировали в бомбоубежище, для чего там поставили скамейки. Во время стрельбы при начале первой оккупации там в темноте сидело много народу, в том числе и мы.

Говорили, что дом, где мы снимали квартиру, принадлежал дрогалю (ломовому извозчику) по фамилии Ященко. Но его я видел всего один раз, ночью с лошадьми. Он мелькнул и исчез, а хозяйкой была прямая сухая недружелюбная старуха с той же фамилией. Только однажды я помню в её глазах проблеск человеческого сочувствия: меня распирало от желания поделиться чудом смешного слова, искал людей, никого не оказалось, и я предложил ей послушать "Войну с велосипедом" Марка Твена. Но чтения не получилось, поскольку я не мог связать двух слов, так как с каждой фразой корчился от приступов неудержимого хохота, а она старалась понять, что со мной происходит. В порядке благодетельства при ней жили бедные родственники, ребята Вовка, Шурка и Тамарка. Их мать, фабричная работница и, как все знали, безнадежно больная, вскоре исчезла без следа.



<sup>4</sup> Глубокое воздействие этого эталона мечты на умы простых людей привело к тому, что после войны все окраины Ростова и новые районы покрылись тысячами клонов этого дома, которые столпились на крошечных участках (иногда по два при росте семьи). Эту убогую по нынешним временам застройку трудно облагородить. Появились телевизионные антенны, газовые разводки, разнообразно в зависимости от состоятельности и фантазии хозяев замощенные (или не замощенные) тротуары, которые сочетаются с утопающими в сезон в грязи сравнительно широкими улицами.



Как мне тогда казалось совершенно естественным и с чем я и сейчас готов согласиться, на Олимпиадовке было много всего, и главное – в самой близкой, как теперь говорят, шаговой доступности. Важно понимать, что все объекты, которые опишу далее, включая почти весь "Степок" (о нём речь ниже), трамвай и почту, уместаются внутри круга радиусом менее 200 метров от нашего дома<sup>5</sup>. Чуть левее напротив дома находилась моя первая 64-я начальная школа с обширным двором, вытянутым вдоль наполовину нашего Бурного спуска и огороженным забором (с нормальной калиткой повыше нас и с удобными дырками напротив и ниже). В школьном дворе росли, конечно, вездесущие акации, но специфику создавали бледнолистные кусты маслины вдоль забора. Плоды не вызревали, маслинки были маленькие твердые и серебристые. Ещё там подальше от всего находился довольно большой коллективный дощатый туалет, ветхий и запущенный, с одной стороны М, а с другой Ж. Внизу двора – площадка, на которой играли в волейбол, но редко (не было ни мяча, ни тем более сетки, да и подходящих достаточно взрослых людей).

Во время войны именно на этом месте выкопали простейшее убежище – так называемую щель. В неё во время отступления ноября 1941 года, мало известного по сравнению с печально знаменитым "драпом" горячего лета сорок второго года, красноармейцы еще с полным снаряжением кадровой армии набросали винтовок, гранат, кожаных подсумков и пулемётных лент с патронами (мы выковыривали из них пули разной формы и с соответствующей окраской наконечников: простые, зажигательные, бронебойные, трассирующие), не говоря уже о штыках, касках, и даже противогазах. "Даже", потому что их, как правило, выбрасывали раньше. Народ сразу сообразил, что при такой быстроманёвренной войне дело до газа вряд ли дойдёт. Здесь я подобрал для себя пару штык-ножей от самозарядной винтовки СВТ (в нашем обы-



ходе "полуавтомат", она парадна, но, как говорили, ненадёжна, впоследствии все видели её на вооружении у мавзольных часовых). Холодное оружие прятал в нашем умывальнике. К сожалению, кинжалы сразу же исчезли. Уверен, что это мама тайно утопила их от греха подальше в уборной, может в нашей, а скорее всего на школьном дворе. Это тогда было общепринято.

Если идти из дома прямо через улицу и дырку в заборе из штакетника, как говорилось "через школу", то выходишь на свободное пространство, которое можно было бы назвать площадью, если бы не её совершенно неблагоустроенный не замощенный, неровный и полузросший дикой травой-лебедой вид. Но в центре были расположены два первичных источника жизнеобеспечения всех нас: первый – водопроводная колонка с прекрасным шипящим напором, открывавшаяся специальным железным накидным ключом с квадратным отверстием в круглой головке. Второй – зеленая будка из листов железа с такою же зеленой небольшой цистерной рядом – это керосинная лавка, в которой можно было также приобрести бутылку денатурата, применявшегося для первичного разжигания примусов<sup>6</sup>. Конечно, несмотря на наличие электричества, во

<sup>5</sup> Это не только соответствует моим впечатлениям, но и проверено. Все отмеченные здесь и далее места (включая Жуковку) сейчас имеются в Google Earth с достаточным разрешением (эти спутниковые снимки, размещённые в конце Мемуара, в печати гораздо менее информативны, чем на цветном экране).

<sup>6</sup> Этот компактный (меньше большой кастрюли, которую можно было на него поставить) разжигаемый и накачиваемый желто-латунный аппарат с энергично-шумным пламенем типа форсунки был распространён повсеместно, а "булгаковская" вывеска "Починию примуса" встречалась, говоря фигу-

всех домах в полной готовности сохранялись керосиновые лампы, которые затемгодились во время военных передраг (до тех пор, пока был керосин). Лампы имелись разных форм и размеров, так же как и фитили и стёкла для них, которые время от времени появлялись в магазинах.

Если посмотреть от колонки назад, открывался вид на продовольственный магазин с угловой дверью на площадь, а хозяйственной стороной выходящий на школьный двор. В магазине продавались продукты и хлеб – большие светло-серые овальные караваи. Их резали вмонтированным в прилавок острейшим ножом, а в процессе взвешивания, как правило, прилагался теплый и хрустящий довесок. Здесь в 1941 году я впервые, на очень короткое время, с перерывом до самого 46-го года столкнулся с хлебными карточками (других в наших краях при мне никогда не было).

На углу напротив продмага была дверь в специальное "водяное" заведение, где продавали (не обязательно весь ассортимент, а когда что было) пиво, квас, сидро в бутылках, газированную воду с сиропом и "без" (соответственно 3 и 1 копейка) и даже, кажется, мороженое (не уверен, скорей всего нет). Левее, ближе к началу Бурного спуска была библиотека (!), небольшая и довольно бедная, но со взрослым и детским отделениями и крохотным читальным залом. Там я читал журналы "Пионер", "Костер" и "Мурзилку", мелодраматическую "Марку (пиратской) страны Гонделупа" (как я сейчас понимаю, это фантазия на тему Гондураса и Гваделупы), книгу "Артиллерия" с жуткими картинками первой мировой войны. Оттуда же во время первой "грабильки" я унёс книгу об истории Москвы и "Фрегат Палладу" Гончарова.



Именно эти две книги и читались постоянно в течение последующих лет вплоть до февраля 1943 года. Как видно, наша библиотека была несравненно беднее, чем послевоенная городская детская (расположенная далеко в центре, около городского сада), где даже можно было взять (если никто не опередил) "Трех мушкетеров" (в читальном зале, конечно, не на дом). В подвале под библиотекой жила большая семья армянина-сапожника. Грязи в центре Олимпиадовки, так же как и в центре Ленгородка, не было, везде бульжник, а на одной-двух улицах были даже каменные бордюры, на ходу по которым можно было балансировать.

Именно эти две книги и читались постоянно в течение последующих лет вплоть до февраля 1943 года. Как видно, наша библиотека была несравненно беднее, чем послевоенная городская детская (расположенная далеко в центре, около городского сада), где даже можно было взять (если никто не опередил) "Трех мушкетеров" (в читальном зале, конечно, не на дом). В подвале под библиотекой жила большая семья армянина-сапожника. Грязи в центре Олимпиадовки, так же как и в центре Ленгородка, не было, везде бульжник, а на одной-двух улицах были даже каменные бордюры, на ходу по которым можно было балансировать.

На третьем углу располагался промтоварный магазин, из которого я помню только великолепное школьно-конторское отделение, где были карандаши, в том числе и цветные в пачках по 6, 12 и 24(!) штуки, приспособления для чинки карандашей, ручки-вставочки, для которых предлагались разнообразные и разной цены штампованные из белого и жёлто-коричневого металла перья, краски, дешёвые аква-

---

рально, на каждом шагу. Непременную и всегда дефицитную примусную деталь составляла часто ломавшаяся игла для прочистки керосинного отверстия. Именно по поводу рекламы инновационного продукта тех лет – "вечной" примусной иглы – Ильф написал: зачем она мне, я не собираюсь жить вечно.

рельные на картонных палитрах и в коробочках, дорогие масляные в тюбиках, кисточки (в том числе и для жидкого клея Синдетикон в пузырьках), маленькие и более роскошные готовальни, и отдельно рейсфедеры, циркули, измерители, тушь и чернила в пузырьках и таблетках, а также транспортиры, линейки, угольники, лекала, резинки, чернильницы непроливайки, пресс-папье, блокноты и специальные нелинованные широкоформатные "Тетради для рисования" (обычные тетради распределялись централизованно, по школам), рассыпные и скрученные в рулончик пистоны для игрушечных револьверов и еще кое-что, а может быть и всё перечислил.

На четвертом углу помещалась аптека, где помимо лекарств продавали мятные лепешки и "сен-сен" против дурного запаха изо рта. Лекарства изготовлялись по рецептам и отпускались в баночках, коробочках и, на худой конец, в кулёчках, а главное, в разнообразных пузырьках, заклеенных вокруг великолепными длинными сигнатурками и указаниями на бумажках (пузырьки, кстати, принимались назад за плату). Подробность описания этих двух торговых заведений характеризует мой раздвоенный интерес в выборе жизненного пути – идти либо по медицинской, либо по гуманитарно-учёной части.

Кроме этого, уже на большем, но вполне пешеходном расстоянии, располагались поликлиника и баня, а дальше и больница, в которой я лежал с воспалением лёгких после того, как вместе с отцом участвовал в бурной встрече какого-то праздника ночью у него на работе – помню только восхитительную рыбу в томате из консервной банки (!) и как он нёс меня на холодном ветру по открытой железной лестнице, когда спускалась вся весёлая компания. В поликлинике была специальная детская палата, в которой я однажды оказался в заключении на два, кажется, дня для изгнания глистов. А после того, как наш прекрасный рыжий мохнатый дворовый пёс Маркиз взбесился, и еще раз из-за кота, меня бесконечно водили туда на 20 (или 25) ежедневных уколов в живот.

Баня была как у Зоценко, со шкафчиками и висячими замочками, железными номерками на руку, дефицитом шаек, очередью и рассказами о хищениях одежды. Парная в Ростове везде была низкопробная с мокрым паром, который поступал из трубы с краном. Но всё равно мы очень огорчились, когда она не работала. Признаю, что к Москве, помимо прочего, меня влекло желание увидеть настоящую зиму и настоящую парную (да еще посмотреть на город со старинными домами без варварского ремонта фасадов после бомбёжек).

Возвращаясь к описанию двора, нужно упомянуть справа в глубине деревянную уборную. При этом пацаны совершенно официально ходили в зависимости от типа надобности либо в уборную, либо за уборную, в узкий промежуток между ней и забором. Вместе с тем двор был засажен цветами, фиалками и вьющимися граммофончиками, бархотками, которые почему-то назывались гвоздиками, порхали бабочки и летали стрекозы, из-под ног в траве разлетались кузнечики с цветными крыльями.

С левой стороны в углу находилась дверь в иной мир – на просторы Степка. Это покатоое, зеленое от дикой травы (но, как ни удивительно сейчас, не замусоренное) пространство, с глинистыми обрывами внизу, где можно было копать различные пещеры, уступы, дорожки и т.п.<sup>7</sup> Там можно было бегать, а главное – запускать змеев. А перед этим надо было их изготовить. Для этого нужен был вполне созревший лёгкий гибкий камыш для каркаса (использование более доступной тяжелой дранки было заведомо обречённой халтурой и вело только к расстройству), клей, хороший лист бумаги, тряпичный материал для ленты хвоста.

<sup>7</sup> Сейчас, судя по Гуглу, Степок полностью застроен домиками, а 64я школа расширена почти в три раза, в том числе и за счёт спортивного зала.

Критическими элементами конструкции, кроме центральной задачи минимизации общего веса, были натяжка изгиба верхней планки корпуса для генерирования подъёмной силы и "пуция" – конусная система из трёх ниток, регулировка которой обеспечивала высоту полёта, а также длина хвоста: при тяжёлом змей не взлетал, а при лёгком был неустойчив, "kozyрял", утыкался в землю. Всегда в дефиците были прочные нитки, десятый номер. До сих пор чувствую, как эта нитка дрожит в руке, а далеко-далеко вверх по ней ползет так называемое "письмо". Оно могло быть различного вида ("простое" или "заказное"). В подходящую погоду иногда до десятка таких аппаратов летало, причем не только с нашего Степка, но и с других сторон.



Общество во дворе составляли упомянутые выше Вовка, Шурка и Тамарка Яценки, а также Валька (Валентина) Будрик. Отношения были очень дружественные, можно даже сказать безоблачные, никаких притеснений и грубостей. Сквернословия вокруг вообще не помню. Было довольно большое число игр. Первая – в чилий ку. Это заострённая с двух сторон деревяшка. Она подбивалась вверх за носик с помощью лапты (планки с выструганной на конце ручкой), а затем на лету отбрасывалась богатырским ударом подальше. Второй игрок должен был ее оттуда бросать, чтобы попасть в четырехугольный квадрат – "кон". Не попал – тогда по чилике, не поправляя её, били столько раз, сколько у четырехугольной было вырезано на верхнем боку (от 1 до 4 римскими цифрами), а если круглая, то два раза. Хорошие игроки могли загонять до расстройства.

Вторая игра – стуколка, разбивалка металлических денег. У каждого был более или менее ма́стерский биток, которым, ударив по краю, нужно было перевернуть монету "на орла". Монеты скоро теряли форму, оказывались все выгнутые. Но денежного интереса почти не было, главным образом спортивный. Далее идут классики и игра в мяч об стенку. Здесь имелись весьма длинные и изощренные правила позирования, верчения, подпрыгивания, усложняющие процесс по мере успешного продвижения, как в компьютерных играх. Играли в ловитки и особенно в жмурки. Среди пацанов процветало изготовление рогаток, поиск для них раздвоенных сучков, резинок и кожи. Ребята, которые поменьше, выстругивали самолётики (на фото Герман с игрушкой моего производства), выдалбливали кораблики, делали разные фигурки из бумаги (прекрасно летающих "голубей", лодки, двухтрубные пароходы), все изготовляли ёлочные украшения и тому подобное.<sup>8</sup>

На особом месте были занятия эстетические. Очень ценилось рисование. Вовка (на фото среди нас он в центре, его забрали впоследствии в армию, и он погиб в Крыму) был предметом всеобщего уважения за умение рисовать, в том числе и масляными красками и почему-то на стекле. (Краски продавались и к ним относились с волнением). Одно время всех захватило вышивание. Было множество цветных ярких

<sup>8</sup> Недавно попробовал, но какой-то непропорциональный, тяжёлый голубь не полетел, а из остального ассортимента не смог сделать даже газетного малярного колпака. Видимо бумага формата А4 не поддерживает старые программы.

ниток. Их откуда-то с производства носила больная мать Шурки-Вовки-Тамарки (Тамарку отправили в Германию в 42-м). Я долго работал над пузатым турком с кривой саблей, который впоследствии сохранялся, потом пропал. Коллекционировались за красоту конфетные обертки. (Мой друг Никифоров, генетический коллекционер, вспоминал, что у него их были сотни). Во всех этих занятиях, по-видимому, выражалась какая-то внутренняя тяга внести в повседневную, бедную добротными вещами жизнь какую-то внешнюю яркость, Это относится и к вышиванию разноцветными нитками, и к увлечению рисованием.

Наличие этого значительного и в тоже время бедного эстетического компонента, возможно, объясняет сильное впечатление, которое я испытал впоследствии при виде



эффектного внешнего образа немецкой армии и её "евромусора" – тогда, конечно, это было только непосредственным ощущением, а не предметом для концептуальных обобщений. Например, немцы разбрасывали небрежно массу пустых папиросных (так они тогда назывались по причине нашего незнакомства с сигаретами как классом) коробок. Они поражали своим (теперь я бы сказал гламурным) разнообразием: яркие, с золотой и серебряной фольгой внутри, самых разных форм, цветов, шрифтов и размеров, но с неизменной надписью "Сигареттен фабрик Мюнхен". Да, собирал эти коробки, любовался, признаюсь, собирал...

Однако главный кайф был летом, когда все ложились спать во дворе. Звезды как у пасечника Панька на хуторе близ Диканьки – с кулак величиной, падушие метеориты, со всех сторон запахи цветов, какие-то кузнечики стрекочут, темнота, светлячки прилетают, жары нет, разговоры, рассказы – хорошо было. А с раннего утра в небе начинали летать-тарахтеть самолёты. Медленно, не высоко, солидно, по кругу, серебряные в солнечных лучах дву(х)крылые учебные У-2, их тогда ещё не называли кукурузниками. Это на степном взлётном поле аэроклуба на Гниловской готовили лётчиков для будущей войны, но об этом мы не знали...

Хотя некое, как бы атмосферическое, присутствие обязательности войны постоянно чувствовалось, материализуясь, к примеру, в квази-детской, фольклорно-политической форме: "Товарищи, внимание, на нас идёт Германия. Япошка ни при чём, дерётся кирпичом!" Или в том, что я хорошо помню вид и запах противогаса, брошюрки с описанием свойств отравляющих веществ – хлора, хлорпикрина, фосгена, иприта и люизита. Или знакомые на зубок песни по радио: "гремя огнём, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход, когда нас в бой пошлёт товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведёт!" Или, как вскоре оказалось, бесстыдно-никчёмные фантастические картинки будущей нашей разыгранной как по нотам, технически оснащённой, лихо-молниеносной победы над врагом в кино "Если завтра война". Или стихи: "А если брат мой милый погибнет на войне, товарищ Ворошилов, пиши скорее мне. Товарищ Ворошилов, я быстро подрасту и стану вместо брата с винтовкой на посту!"...

На Олимпиадовке у тех, у кого дом выходил на улицу, а не стоял за забором в глубине двора, иногда имелись парадные крылечки со ступенями, были резные двери у некоторых, а в Ленгородке – у многих, как и во всём Ростове. И у всех они были заколочены (по случаю Советской власти, по-видимому?). И в "нашем" доме №5 по Бурному спуску, хотя он и был вполне рядовым, имелось у ворот и калитки скром-

ное, заколоченное, деревянное, резное, крылечко. Это было любимое место посиделок, смеха, семечек, наблюдений и просто мимолётной остановки.

А вот в нашем по-настоящему доме №16 по Церковной (теперь Собино – по кличке боевика 1905 года) была на месте теперешнего окна рядом с коваными на заказ железными воротами высокая деревянная резная дверь с каменной площадкой и ступенями перед ней, а далеко над тротуаром выходил большой почти квадратный балкон на втором этаже с фигурными коваными выгнутыми боками и высокими стеклянными дверями. (Там в моё время уже жили чужие люди, и я в этих комнатах никогда не был, хотя очень хотелось посмотреть с балкона, настоящего, которого, так же как крыльца, парадной лестницы и других излишеств, теперь нет).



Из нашей "бабушкиной" комнаты постепенно исчезали сиротливые остатки прежней жизни: массивная белая керамическая подвесная люстра для лампы на роликах с противовесом для перемещения вверх-вниз, под ней деревянный обеденный стол на толстых фигурных ножках, резной застеклённый киот, полный больших красно-чёрно-серебряно-золотых икон, несколько разрозненных лёгких гнутых деревянных стульев фасона серебряного века, настенные часы тёмного дерева с римскими цифрами. От всего этого после войны и до самого конца осталась только укреплённая на потолке металлическая лампадка перед несколькими простейшими иконами в голом углу.

До гнусного послевоенного жэковского ремонта этого дома у нас оставалась часть большого коридора от естественно заколоченного парадного входа, вместе с упирающейся в потолок внушительной деревянной, достаточно широкой лестницей на второй этаж. После перепланировки парадный вход ликвидировали как класс, а теткам Зине и Оле оставили бессовестно узкий (метр не больше) проход из подворотни. На этом метре они постоянно держали керосинку, чтобы готовить летом не в комнате. Входить со всем, что в руках (в том числе с углем и дровами зимой из сарайчика во дворе) приходилось боком. Но ничего более мерзкого и унижительного я не знал, чем загаженная и всегда полная, иногда без крючка, уборная во дворе – на пятачке пространства рядом с водопроводной колонкой и прямо перед окнами флигеля, в котором обычно жила какая-нибудь многолюдная и неприятная семья.

До революции тротуары на Церковной улице (она стала тесной только после "уплотнения" хотя и многосемейных, но не маргинальных жильцов и прокладки двух рядов по-российски широких трамвайных путей) были замощены широкими светло-жёлтыми плитами песчаника. Впоследствии их многократно асфальтировали. Однако до сих пор, хотя прошло уже более столетия, вопиют эти изломанные, скособооченные, но благородные камни, упорно проступающие среди ошмётков очередного асфальта и как бы передают послание о былом устройстве и представлениях о нормальной жизни.

Где-то за половину тридцатых годов вдруг стали заново мостить наш Бурный спуск. Навезли песку и гранита, пригнали каких-то мужичков с ломками и молотками, а мы выбирали самые "сверкальные" камни из куч разнообразных кусков, предвосхищая невольную практику добычи огня на долгие беспичечные военные годы вперёд. Почему его заново мостили, почему выбрали? Могу засвидетельствовать, что никакого движения по переулку не было. Машин на Олимпиадовке не водилось как

класса. Лошади были, но очень мало. И вообще он шёл как-то поперёк магистральной линии запад-восток без видимых выходов куда-либо. Результатом нового замощения стало то, что он превратился в главное место зимнего катания ребят со всей Олимпиадовки. До сих пор я не могу увязать воспоминание о многолюдстве, разнообразии санок, гомоне, грохоте на "гопалках" и о бешеной скорости пролёта со скорым видом и малым уклоном спуска. Но как я воспринимал, так и пишу.

Однако в первых числах августа 1942 года именно по Бурному спуску снизу вверх прошла значительная часть наступавшей на Кавказ немецкой армии (только танков почему-то не было). Не было и никаких регулировщиков, войска просто ехали, да и всё, как у себя дома. Несколько дней наш дом гудел и трясся, ночами по толку бегали световые пятна от фар вездеходов, грузовых машин с марками всех стран Европы, самых разных легковушек и мотоциклов с солдатами. В школьном дворе отдыхали, перекусывали и курили немцы в самом разнообразном виде, в том числе в шортах (!) и с заграничными велосипедами, говорили диковинные батарейные радиоприёмники в штабных машинах, пиликали губные гармошки невиданной трехэтажной сложности. Это был единственный случай транспортного оживления на Бурном спуске за всю его историю, кроме упомянутых зимних саночных катаний. Неужто немецкие предусмотрительность, планирование и шпионаж дошли до такой детализации?

Повседневная жизнь на Олимпиадовке и в Ленгородке была устоявшейся. Пищу готовили летом на примусе, а зимой на печке. Каждое лето привозили уголь, как правило, тонну, иногда полторы (последнее вызывало уважение к хозяину такого богатства или чувство глубокого удовлетворения, когда для себя), а также на растопку кубометр или полкубометра дров. Многие из экономии, а чаще потому что на угольном складе другого не было, брали штыб, или ещё более низкую категорию – "мусор", из которого для того, чтобы заставить гореть лепили, замешивая водой, круглые "катушки". Конечно, они только по массе напоминали куски, которые получались в результате битья железом по глыбам угля. Таким битъём мои тетки – Оля и Зина занимались в Ленгородке до конца жизни далеко уже на закате прошлого века.

Воду брали из колонки – наполняли два ведра, несли на коромысле. В качестве резервуара служил большой тонкостенный (думаю, ведра на два) глиняный кувшин – макитра. Я стал носить воду позже, в Жуковке, где источником был колодец на параллельной улице (расстояние вдоль двух огородов, поскольку дома на улицах смотрят в разные стороны). До сих пор помню чувство равновесия вёдер, и как не расплескать, как переводить коромысло с плеча на плечо и как неудобно нести "побабы" на шее животом вперед. После войны, когда мы жили на Андреевской улице, доставка воды также была исключительно моим делом. Здесь я носил два ведра в руках (метров 150 до колонки), стараясь не намочить штаны по бокам. На Лензаводской колонка была прямо перед воротами, но это уже был бонус для Германа.

В таких условиях стирка и мойка становилась непростым делом. Но было два облегчения. Во-первых, одежды, белья и посуды было до смешного мало, во вторых, была прачка – старая сморщенная женщина тётя Груша, которая иногда приходила и стирала. До войны у нас не всегда, а некоторое время была домработница Мотя (есть на фотографии, где я, патефон, и лошадь) до тех пор, пока не умерла. Упомянутый выше умывальник был похож на "Мойдодыр", как его изображали в старых детских книгах, с мраморной, подобной Бахчисарайскому фонтану, резной стенкой. Он имел сверху тусклое овальное зеркало, затем особый кран, как маленький душ на никелированном кронштейне, а ниже был вертящийся краник. С одной стороны он давал фонтанчик вверх, с другой – стандартную струйку вниз. Вода заливалась ковшиком сзади в плоский, но прожорливый резервуар из оцинкованного железа, а внизу за дверцей было ведро с помоями.

Питание было здоровым в том смысле, что все продукты – натуральные, без химии. В сезон помидоры, огурцы, масса великолепной редиски, "синенькие" (баклажаны), кабачки, гарбузы (тыквы), фрукты (свой виноград в изобилии появился в Ростове только после войны), много зелени, картошки меньше. Капусту, огурцы, помидоры солили в бочках, которые содержались в погребе. Вакханалия массового закатывания в банки различных комбинаций этих и других стерилизованных овощей вспоминается мне уже как элемент послевоенной жизни. Борщ, в том числе зелёный из щавеля, иногда с мясом, более точно сказать с костями<sup>9</sup>, гороховый, фасоловый или чечевичный суп.

Крупы и прочая бакалея перед варкой тщательно "перебирались" с целью отбросить ближайшим пальцем всяческий мусор и шелуху, которые могли быть в результате патриархального характера производства или несовершенства техники. Куринный бульон наряду с манной кашей считался изысканной лечебной пищей для больных. Бройлеров тогда не было, и редкие в меню куры были довольно жёсткие. Отрада вкуса и атмосфера праздника – из дрожжевого теста, которое неудержимо вылезало из утеплённых кастрюль, пеклись грандиозные пироги – с повидлом и с ка-



пустой, жарились на постном масле пирожки и пышки, делались вареники с творогом и вишнями. Это было, я бы сказал сейчас, добротно, по отработанной веками южной (да ещё в нашем случае – поповской) практике. Непередаваемым вкусом, которого я нигде больше не встречал, отличались пасхи (так у нас называется то, что в Москве идет как куличи). У тёток был какой-то старый рукописный список рецептов. Один начинался так: взять 100 желтков...

Молоко приносила молочница, его также продавали в магазине из бидона или большой кастрюли, отмеряя высокой поллитровой алюминиевой кружкой на длинной ручке. В магазине продавали кефир в заклеенных бумагой стаканях, а на базаре великолепное "кислое молоко" с оригинальной толстой запечённой бордовой корочкой сверху<sup>10</sup>. Всякую зелень приносили с базара, который был тесный, но всё же довольно приличный ("наш", или "базарчик", в отличие от могучего "старого" в городе), но чуть-чуть далеко – на полдороге "до бабушки". (Теперь там продают с рук старое, кустарно сделанное или ворованное радиобарахло).

Арбузы и дыни в сезон закупались за бесценок отборные и мешками, катались по полу и лежали рядами в погребе, откуда я еле доставал эти часто огромные произведения природы. Такая ситуация продолжалась до конца 50-х, а затем наступило движение к стремительному краху. Сейчас мне представляется, что цены и качество арбузов в Ростове такие же скверные, как в Москве. Мне даже кажется, что пропала культура поедания арбузов, отношения к ним как к особому доступно-рос-

<sup>9</sup> Всплывает картинка мясного отдела в нашем магазине: на пустых эмалированных подносах кроме жутковатых белых костей и кучек "требухи" ничего нет.

<sup>10</sup> Этого приготовленного в русской печи, индивидуального для каждой коровы и для каждой хозяйки поистине уникального продукта, который невозможно воспроизвести в промышленном масштабе, мы с Германом много перепробовали впоследствии в Жуковке, где Вера Ивановна получала его в глиняных кринках в оплату нашей фотографической деятельности. Из других таких же уникальных продуктов могу назвать молочную пшённую кашу в Жуковке, которая была почему-то сладкой, хотя сахара и даже сахарина там не было как класса, или как железной дороги.



кошному, универсальному благу, которое можно было есть в любое время дня и ночи, но обязательно когда жарко или хотя бы тепло, лучше из погреба, просто и с хлебом, вместо воды, резать вдоль или поперёк, даже в хамском случае разбивать о коленку. Примерно то же самое происходит с другим общедоступным чудом ростовской природы и образа жизни – помидорами; я уже молчу о раках и хорошей рыбе.

В качестве лакомства был напиток, который назывался какао – плотный, сладкий с молоком. Вполне возможно, что это было действительно какао. Были и разные конфеты – больше помню по собиранию обёрток, чем вкус (кроме карамели и "подушечек"). Не доходя почты, в маленькой лавочке "у инвалида" (он действительно торговал там) продавались плоские треугольные вафли, пропитанные каким – то специфическим тягучим повидло. Они почему-то назывались "Микадо". Всё это было местное производство – московские конфеты воспринимались как нечто более высокое, специальное.

Большое впечатление (но без реального ознакомления с предметом; как бы само собой подразумевалось, что это не для нас) производила печатная реклама типа "Вкусные, сочные, сосиски молочные". То ли в газетах то ли в "Огоньке" (у нас эти издания часто были, а иногда даже "Новый мир" и "Роман-газета") настойчиво сообщали о новом изделии под названием "шоколадные фигурки" (разные животные и звери), которые, как подчёркивалось, выделялись из особо чистого шоколада. Я однажды даже видел этот верх роскоши в витрине магазина "*Гастроном*". Над входом в его торговый зал это огненное название как знак полуреальной цивилизации и технического чуда светилось небольшими, но трепетно красивыми письменными буквами, изогнутыми из неоновых трубок на первом полуподвальном этаже Лендворца с правой стороны, если смотреть от нашего дома на Собино-Церковной. Там же дальше, на другом углу Дворца, был промтоварный магазин, но ничего не припоминается из ассортимента – только какие-то одинокие носки.

Относительно пьянства вокруг – никаких содержательных воспоминаний. Отец до войны не употреблял спиртного сколько-нибудь заметно, но зато курил до тех пор, пока не заболел нашей наследственной подагрой, съездил на курорт в Ейск и врач ему запретил. Но было время, посылал меня за папиросами в ЕПО. Когда стоишь в очереди в кассу, впереди всё время раздавалось "три пятнадцать" – так стояла затерявшаяся ныне в массовом ассортименте "четвертинка" водки. Не знаю, куда приткнуть картинку выходного дня: мирно спящих днем на солнышке мужиков, по двое, по трое черными кучками на травке в школьном дворе и в канавах по его краям – то, о чем Райкин впоследствии говорил – люди уже празднуют. Может, это были мостильщики улицы, о которых говорилось выше.

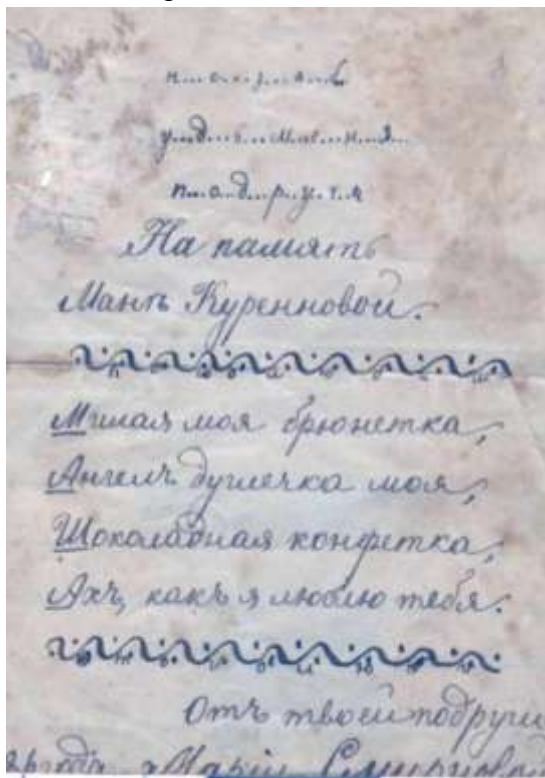
Поскольку я происходил из "интеллигентной семьи", то подвергался большому воспитательным ограничениям по сравнению с окружающими детьми и вполне возможно выглядел на их фоне маменькиным сынком. Тем не менее, степень свободы по нынешним временам кажется огромной. Я помню себя и на "Темерничке" в попытках ловить рыбу при помощи разных самодельных приспособлений (за всю жизнь на Темернике, Дону и Егорлыке я, в отличие от Германа, не поймал ни одной рыбы, только раков), и совершенно бесконтрольно на Степке, и в Садике, и у родника в начале Ботанического сада, и на школьном дворе, и у разных приятелей поблизости.

А вместе с чуть более взрослыми пацанами мы иногда ходили купаться "на канал" – пригодное для этого место вверху Темернички около железнодорожного моста, где к тому же были заросли камыша с длинными коричневыми наконечниками. Один раз был даже поход в "Яхтклуб" – это далеко на Дону ниже города. На обратном пути со мной единственный раз в жизни случился не то тепловой, не то сол-

нечный удар. Прекрасно помню, как очнулся под мощной струёй холодной воды из какой-то попутной водоразборной колонки. После чего пришёл домой нормально.

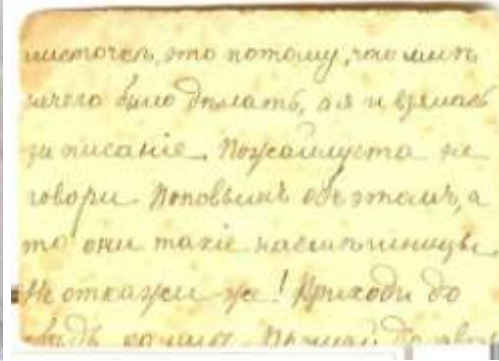
Однажды, уже при немцах осенью, когда я шнырял без всякой определённой цели по путям между стоящими вплитык составами, наткнулся на одинокого германца, не часового – обе руки у него были свободны (вообще ни разу не видел в нашем районе и вокруг вокзала какой-либо охраны; то же удостоверяет мой друг Никифоров). Этот самодеятельный солдат меня так долбанул по шее и такого страху нагнал, что я очухался только уже наверху возле трамвайной остановки.

Возможно, что меня дома иногда чему-то учили, но так, походя, без специальных мер. Однажды мама читала мне перед сном Робинзона Крузо (откуда-то достала эту бережно обёрнутую в газетную бумагу невиданную в наших краях книгу!) несколько вечеров с продолжением. Как это ни банально звучит, уникальную роль сыграл Пушкин А.С. У бабушки, помимо нескольких разрозненных потрёпанных молитвенников, сохранилась толстенная увесистая книга в тяжёлой обложке с тиснением, на пожелтевших тонких листах которой уместилось полное собрание его сочинений вплоть до истории Пугачева и Петра и до коротеньких заметок и "анекдотов" – словом всё, что я потом видел в различных изданиях, кроме личной переписки. Очень многое прочитал. Даже переводил на немецкий Самозванца из "Бориса" – Ди штунден ляуфен, унд тоер ист мир цайт. ("Часы бегут и дорого мне время"). Дальше, правда, не хватило слов. А с монологом Пимена ("Ещё одно последнее сказанье") страшно хотелось, но ничего не получалось после нох айн летзе...



Эти записочки от подружки, написанные

в 1886  
году у  
бабушки  
как-то  
сохрани-  
лись



У нас всегда были патефон и радиоприёмники. Я любил крутить настройку (это осталось до сих пор, до эпохи цифрового и интернет-радио, отменивших романтическую подсвеченную шкалу). Один из первых аппаратов с рядом красивых стеклянных, оранжево светящихся допотопных ламп на верхней панели виден на фотографии, он стоит на столе в глубине комнаты. Затем был Си-235, после него 6Н1. Несбывшейся довоенной мечтой был аристократический Эс-Ве-Де, а после войны – (до сих пор жалко) великолепный, уникального дизайна остродефицитный рижский

"Мир", который я помог купить в ЦУМе двоюродному брату Юре Добротину, а для себя не случилось, хотя деньги на это дело были всегда наготове).

Не могу упустить постоянного как радиация воздействия журнала "Советское Фото" – мы его получали регулярно, накапливались стопы и мне никогда не надоедало снова рассматривать великолепные снимки, на которых фигурировали в неожиданных ракурсах выразительнейшие портреты необычных людей (вроде демонического, как я бы сказал сейчас, профиля и имени Алисы Коонен), индустриальные и сельские композиции, паровозы, трубы и провода электропередач, корабли и танки, звери и домашние животные, лошади, верблюды, аэропланы и облака, и чего только там не было. Соответствовали и нетривиальные фамилии мастеров – Альперт, Родченко, Оцуп, Шайхет, Наппельбаум, Халип...

Решающую воспитательную роль играл, конечно, пример окружающих. Все учились, сама атмосфера сохраняла некую невидимую, тонкую, но реальную связь с гимназией (тётя Оля показывала какие-то старые тетрадки), университетом, медицинским институтом. Можно добавить фортепьянные упражнения мамы Веры Ивановны, письма и приезды из Москвы тёти Клары и дяди Толи, плюс, конечно, правильный и образный русский язык общения. Бабушка, особа с гимназическим (или институтским) воспитанием позапрошлого века, меня поправляла, например: не чиво, а что! (Или потом "старорежимная" учительница литературы – надо говорить полячка, а польку – танцуют!)

Как научился читать, не помню, говорят, лет в пять. Вывески читал, все умилялись. Но в школе, где был отличником, никогда не было такого чувства, что скучно из-за опережения программы. (первоклассниковый Букварь для восьмилетних оболтусов начинался с АУ - УА!) Наверное, удовольствие от лёгкого получения отличных отметок в стабильном окраинном мире пересиливало жажду новых знаний. (Что-то вроде того, как "первый ученик" Беляев, о котором рассказывала дочка Оксана. Он с интересом читал в их классе по слогам, хотя умел бегло).

В школу, естественно, в начальную, четырехклассную 64-ю напротив, я пошёл по тогдашним правилам с 8 лет, в 1939 году. Моим соседом по парте был высокий, светловолосый, тихий, аккуратный и способный мальчик, сирота и бедный родственник по фамилии Бель, с одним "л" и не Генрих, как ныне знаменитый германский писатель, а Яков. Впрочем, это ему не помогло. С начала войны он бесследно исчез – в качестве немца был выслан вместе со своей бабкой. За первый класс я получил похвальную грамоту, далее был перерыв на войну и послевоенное восстановление до медали в 49м. Первая учительница – Анастасия Ивановна жила недалеко от школы в зеленом бревенчатом (уникальная редкость для Ростова) доме у крутого, скрипучего поворота "пятерки" на стыке Садика и кладбища. Все её искренне уважали, нам она казалась очень пожилой, поэтому несколько учеников часто выходили ей навстречу, чтобы помочь нести вещи – портфель, тетради, кошёлку или ещё что.

В школе был порядок, чёрные просмоленные (чтобы скрыть трещины, вырезанные ножами памятные надписи и иные изъяды), старорежимные парты, без откидных крышек, регулярные дежурства с тряпкой, расстановкой по партам чернилниц и уборкой их в специальный ящик. Из содержания обучения отчётливо помнится "письмо" и отдельно – чистописание: палочки, крючочки, толстые и волосные штрихи, в тетрадах специально для первоклассников, в клеточку и в косую линию. Далее, изготовление ста палочек для счёта (это собственноручно), разрезная азбука, размещённая на специально сшитом куске материи с карманчиками (тут – родители на машинке). На большой перемене полагалось всем наваливаться в очередь в буфет, где были коржики, пирожки с капустой и какой-то белесый горячий напиток – "кофе".

В этом месте я, сознательно отвлекаясь и не совсем впопад, но *не могу молчать* о большой общенародной потере – в нашей стране до сих пор не восстановлена продажа незабвенных стандартных коричневых горячих жареных пирожков с повидлом, капустой, картошкой, мясом, печенью, рисом и яйцами. Они были опорой и украшением моей (и всех нормальных людей) жизни. В университетские времена их продавали повсеместно, в том числе и на улицах в специальных термических коробах, и стоили они везде 5 (пять) копеек. На тридцать копеек можно было в буфете "аудиторного корпуса" на Моховой, справа по коридору на первом этаже, купить *четыре* штуки, например с повидлом, два стакана чаю (без сахара) и наслаждаться. Так же памятен и буфет в Новом здании МГУ, которое наш выпуск обживал первый, новеньким с иголки. Там продавались многие подлинные образцы полуфабрикатов из знаменитой книги "О вкусной и здоровой пище" (точно такие как те, что были там изображены на иллюстрациях и цветных вкладках): пельмени в пачках, синих (обычные) и красных (экстра), прекрасные обсыпные котлеты по 90 копеек штука, шашлыки в целлофане и на палочках (!), ромштексы и эскалопы, разная вполне качественная выпечка, а также неправдоподобно дешёвое яблочное пюре в полулитровых банках... Однако, вернёмся к делу.

Для полноты описания жизненной ситуации я должен рассказать о характере менталитета олимпиадовского и ленгородского населения, а также о дополнительных особенностях нашей семьи в этом плане. Вокруг нас никто из знакомых или соседей, или даже на соседних улицах, не принадлежал к руководящим или партийным



семействам, соответственно во время войны никто не эвакуировался (в ходу было словечко "*выковыриваться*"), весь этот мир был вне нашего опыта. Школа мало и с минимально прикрытым формализмом досаждала официозом, "октябратством" и "пионерством". Празднично-лозунговое оформление ограничивалось обязанностью каждого домовладельца вывешивать собственный немудрящий красный флаг. Бабушка и тётки думали только о том, чтобы какой-нибудь неосторожностью не привлечь внимания власть предержащих к своей преступной социальной принадлежности. Они полагали, что это язву происхождения можно компенсировать только крайней непритязательностью в и без того непритязательном окружении.

Весь Ленгородок, конечно, прекрасно знал, что Мария Петровна – "матушка", так в глаза и за глаза её уважительно называли всю жизнь, а дети соответственно поповские, но, как показали все перипетии судьбы,

простой ростовский народ вовсе не считал такие и подобные вещи криминалом.

Мама Вера Ивановна за всю жизнь никогда не сказала ни одного слова на политические темы. Это несмотря на то, что, бесспорно, была полностью связана с ок-

ружающей жизнью. Однажды в наш двор вернулся из заключения на костыле, одноногий и больной инвалид – отец Вальки Будрик, которая со своей матерью снимала жалкий сарайчик с дощатыми стенами и земляным полом (его окошко видно на одной из фотографий). Я тогда спросил свою мать, за что он сидел в тюрьме. И она ответила интересно: он, де, рисовал фашистские знаки.

Как и все сёстры, мама была врождённо грамотной, писала великолепным беглым почерком, в 1926 году окончила среднюю школу. Учёба на конторских и медицинских курсах дала ей возможность профессионально работать лаборанткой (анализ крови, мочи и прочего). Я прекрасно помню антураж этого скоромного, но неотъемлемого медицинского подразделения (микроскопы, предметные и покровные стёкла с размазанной кровью, центрифугу, автоклав, чашки Петри и т.п.) по своим посещениям курортной поликлиники в Кабардинке и в другом специфическом месте во время войны, о чём ниже. В двадцатых годах она занималась в музыкальной школе, перед войной изучала где-то немецкий язык. Я до сих пор не забыл куски текстов, которые она повторяла вслух поздно вечером при свете настольной лампы с зелёным абажуром. Например, "о эрде, о зонне, о глюк, о люст!" Или: "Эс клингельт. Элли, шлисс ди тюр ауф, эмант ист цу унс гекоммен!" И другие.

Эти детские впечатления, оккупация, а также довольно поверхностное знакомство с учебником для 5 класса (Анна унд Марта баден, Франц фарен нах Москау), как-то сформировали моё фамильярное отношение к немецкому языку, как к чему-то свойскому и доступному с понятными легко различимыми длинными словами в отличие от совершенно чуждого мне английского. К сожалению, именно его пришлось осваивать всю жизнь. Этот обманчивый своей первоначальной лёгкостью, для обычных людей недоразвитый, а по Набокову, наоборот, "перезрелый" (ripe) язык трудно воспринять на слух и понимать смысл примитивных словесных обрубков, наспигованных разветвлёнными неуловимыми и многозначными смысловыми оттенками. Зато при каждой из моих двух скромных туристических поездок в Германию я, лёжа в поезде, освежал в памяти список немецких глаголов во всех трёх формах (он даётся в любом словаре или разговорнике, потому что они почти все неправильные), а также вспоминал батарею связок - местоимения, предлоги, частицы; числительные и без того намертво впечатаны в память. Подкреплённый этим лингвистическим запасом, чувствовал себя вполне комфортно, когда надо было что-нибудь спросить или даже выразить.

Здесь не могу удержаться, не отвлечься ещё немного, не сказать о нашем, российском. Конечно, надо говорить правильно, кто отрицает! Кроме Пушкина, конечно: "Без грамматической ошибки я русской речи не люблю" (из "Евгения Онегина"). Но так же важно и грех нам, носителям этого языка, не говорить образно. Иногда пуристическая погоня за многословарно проверенной по-немецки педантической, принудительной правильностью засушивает русский язык, и речь, и письмо, то есть бьет по его самой сильной, уникальной характеристике – способности не только передать массу оттенков смысла, но также и чувства, настроения, характера и ухватки, наконец, даже подсознательного ассоциативного прозрения говорящего и пишущего. Это достигается именно свободным, интуитивным и неожиданным использованием воистину сокрушительных возможностей нашего непревзойдённого арсенала словообразования, словоприспособления, а также авторского синтаксиса. Пример? – восторженное чичиковское о купленных крестьянах – В Херсонскую их!



В *хер-сонскую*! Для русского уха это звучит богаче и мощнее, чем "эврика!" Слово красивое, конечно, но стало известным из-за Архимеда, а не благодаря греческому языку. Всё подобное бывает выше планки понимания многих редакторов, хотя, конечно, и авторы часто не достигают высот...

Отец, несмотря на свое пролетарское происхождение, говорил как все коренные питерские правильно, имел красивый беглый почерк, писал в пределах своей тематики грамотно и свободно, хотя, как уточняет Гала, знаки препинания ставил произвольно. Работая фоторепортером в областном "Молоте" и даже достигнув уровня внештатника в ТАСС, естественно, держался установленной линии, но постепенно оттеснился в демократическую заводскую "ростсельмашевскую" газету, которая публиковала большое количество фотографий тружеников, но где я не могу припомнить других снимков (кроме Хрущёва в один из его памятных приездов, Рауля Кастро и сентиментальных фотоэтюдов, на которых фигурировали главным образом его внуки – Ира и Оксана, а также раз и мы с Никифоровым, у рояля как золотые медалисты перед уходом на выпускной вечер в школе).

Целыми днями отец ходил по бесконечным цехам завода-гиганта, фотографировал направо и налево, но всегда с толком, главным образом, новаторов, передовиков или успешно выполнивших план, о чём свидетельствовали подробные "текстовки" на обороте отпечатков, которых каждый день утром набиралось до двух десятков. За это он пользовался большой популярностью среди всего многотысячного коллектива завода. О нём писали стихи заводские поэты, он фигурировал в цеховых стенгазетах в качестве народного обличителя на рисунках клеймящих всяческую бесхозяйственность и халтуру. Когда он появлялся с фотоаппаратом на футболе, который после войны в Ростове переживал золотую пору, сельмашевский стадион, бывало, громко и дружелюбно-непосредственно комментировал эксцентричные манёвры "нашего Марцинкевича" на поле перед матчем и во время игры. Об этой своеобразной ростовской ауре тех лет можно судить по сохранившимся фотографиям на футбольные темы. В них хорошо передана и мощь людской массы, спрессованной на трибунах, кажется уходящих в небо, и эйфорическая взволнованность немногих, допущенных на пока что контрастно пустынное предигровое поле.

Как выяснилось уже в безопасное время, у отца тоже были веские основания скрывать до поры до времени некоторые элементы своего прошлого. 1 октября 1917



года, меньше чем за месяц до переворота, покончившего с офицерством, молодой Юзик закончил военную школу Западного фронта в чине прапорщика пехоты республиканской армии России. (Смотри групповой снимок этого выпуска в Фотоприложении, где на он сидит в четвёртом полувзводе справа, руки в карманах).

После октябрьского переворота он сбросил свои новоиспечённые офицерские погоны и вернулся на стезю пролетария, труженика табачной фабрики и даже стал небольшим партийным функционером. Оформляя документы для номинации на персональную пенсию местного значения, он представил "мандат" – невзрачную бумажку, свидетельствующую о том, что И.Марцинкевич является "уполномоченным" и с требованием к властям оказывать ему всяческую поддержку. Затем его направили в провинцию. У меня есть фо-

тографии, сделанные в фотоателье Саранска, на которых он фигурирует в обществе лиц, сильно смахивающих на хорошо "упакованных" местных руководящих деятелей.

Однако с этим эпизодом его жизни так же быстро произошло нечто весьма похожее на судьбу офицерских погон. Он снова пошёл на полный разрыв постепенности развития. Бесследно оставив Саранск, отец оказался к концу гражданской войны на юге, в Донбассе, Ростове, Сочи – в чисто зощенковской роли самого обычного персонажа – фотографа - "пятиминутчика", из тех которые делают снимки разного рода желающих обывателей на фоне нарисованных роскошных пальм и колонн.

Уже по прошествии очень долгого времени, будучи давно на пенсии, отец мне рассказал, что из Питера его направили в ЧК. Там за короткое время он навидался такого, что ему было дико и неприемлемо. И когда дело дошло до раскрытия "контрреволюционного кружка" гимназистов, он сгинул, рванул с Поволжья куда глаза глядят, чему способствовало смутное время. После этого он естественно ни во что карьерное не ввязывался, в партию не вступил и во время войны, будучи в действующей армии, а фотокорреспондентом был сбалансировано патриотичным, лояльным и акцентировано близким к рабочему классу. Это у него получалось абсолютно органично, легко и всегда встречало ответное неподдельное дружелюбие.



Единственное политическое проявление, которое я увидел дома, связано с бабушкой Марией Петровной где-то в начале войны. Кроме меня в комнате на Собино никого не было. Она перебирала вещи в комод, я тихо занимался своими делами, солнце мирно светило в окно через акации, а в это время "тарелка" передавала сводку типа "наши войска оставили"... А потом пошло сообщение, что Сталина кем-то назначили, или ещё что про него. Так она в сердцах бросила в ящик какую-то тряпку и

высказалась глухо, исключительно для себя с непередаваемой досадой: **что же это у нас генералов нет, что ли?**

Памятник советским военнопленным в Свентошуве (Нойхаммер), где похоронен дядя Толя.

Здесь у Марии Петровны тот же самый ход мысли, то же отношение к начальственной верхушке страны как у солдата, доцента-литературоведа и писателя Виктора Астафьева: "мудрые вожди и полководцы, спасающие свои шкуры, когда они за одно лето провоевали половину страны и сдали в плен регулярную, на горе, бесхлебье и бесправье возвращенную армию" ("Многообразие войны"); как у экономиста и общественного деятеля, моего земляка из Персиановки (под Ростовом) Гавриила Харитоновича Попова, как у сегодняшних думающих ребят-школьников многострадального Матвеева Кургана, оказавшегося в центре Миус-фронта (смотри Фотоприложение). Это люди



единого воннегутовского "караса", с природным здравым смыслом и естественным иммунитетом против рабски дебильной и жульнически-своекорыстной псевдо патриотической версии событий нашей истории. Все они в разных местах незримо присутствуют в этом тексте...

Наиболее значимой чертой для характеристики эпохи и искривлённого образа жизни всех Алексеевых была какая-то непонятная, неестественная сдержанность. Не только никаких политических или общественных разговоров и тем более действий или инициатив. Главное заключалось в том, что никто из них, никогда не говорил о прошлом, никогда не назывались никакие имена родственников, отца, дедов, бабок, своих братьев и сестёр, включая даже дядю Толю, которого я видел и прекрасно помнил, как он мне, совсем маленькому, говорил провокационно: а теперь, Виктор, бери мочалку-мыло, пойдём в баню! Я от этой шутки почему-то пугался. А позже с волнением входа в неведомый мир перелистывал его книжки (типа того, как самому сделать детекторный радиоприёмник, или про электрические правила Фарадея) и стопку тяжёлых глянцевых американских (!) машиностроительных журналов с рекламой роликовых подшипников, металлообрабатывающих станков и потрясающе мощных гусеничных тракторов "Катерпиллер".

Когда мы вернулись в Ленгородок с Олимпиадовки в 1942 году, этих вещей уже не было. Какие-то сведения просочились. Было какое-то письмо, но я его никогда не видел. Считалось, что дядя Толя ушел в армию и всё. Не знаю никаких попыток выяснить его судьбу... Теперь-то мне документально известно, что он попал в плен 8 августа и умер "от сердечной недостаточности" 4 ноября 1941 года в Шталаге 308, филиале Аушвица (Освенцима) в посёлке Нойхаммер, где он числился под номером 31828 (смотри в фотоприложении документы и свидетельства). Он пропал как песчинка среди тех **трёх с половиной миллионов** наших пленных *первой волны*, которые погибли ни за понюшку табаку в немецких лагерях бесполезной и страшной массовой смертью от голода, холода и болезней *только* в 1941 и зимой 1942 года по вине Джугашвили-Сталина, погубленные созданной им государственной системой.

Как надо было испоганить государство и деградировать народ, чтобы для российской армии от начала и до конца стала императивной невиданная суперпиррова модель войны!<sup>11</sup> Немецкий плен, – специфический, потрясающий исторический тип геноцида обычных людей нашей многонациональной страны, долгие годы в официальной подаче выглядел в качестве преходящей незначущей данности, подлежащей забвению. Эта inferнальная логика реализовалась в чудовищной юридической квалификации. По ней *миллионы* людей не только официально стали *изменниками*, поскольку не совершили над собой самурайский обряд самоубийства. Это моральное клеймо ложилось и на семьи погибших в плену, которые лишались положенных по закону прав.

Беспрецедентный системный ужас данного преступления этого человека проявляется в том, что в его составе отказ от Женевской конвенции о военнопленных выглядит мелочью. Никакие юридические формальности не смогли бы спасти огромных обречённых толп из *миллионов и миллионов* живых российских солдат, офицеров и генералов кадровой армии, сданных его примитивным людоедским **режи-**

<sup>11</sup> Нужно в этой связи упомянуть и поддержать сокрушительную в отношении к прошлым и нынешним властям оценку войны и победы, сделанную Г. Поповым в книге "1941-1045. Заметки о войне", М., 2005. Давая свой жёсткий ответ на коренные вопросы, он не мог не упомянуть о забытой трагедии кровавых и безнадежных, *бессмысленных и беспощадных* таганрогских атак и о сдаче там в плен 18 тысяч человек летом *уже 1943 года*. Этих пленных немцы гнали на глазах жителей через Матвеево-Курганский район, а наши выбитые, измученные подразделения брели к себе в тыл по Андреевской улице, их видел Никифоров.



мом врагу за три-четыре месяца на пороге зимы. Эти люди были такими же самыми, а скорее более сильными и здоровыми чем те, которые потом дошли до Берлина.

Дядя Толя стал последним мужчиной из Алексеевых-Куренновых. Уже никто не узнает теперь, какой ужасной была судьба сгинувших в гражданскую войну трех сыновей и одной дочери из девяти *ещё живых летом 1919 года* детей, от которых остались только имена – **Дмитрий, София, Александр, Павел**. Они перечислены в документах о наследстве после смерти деда Ивана Алексеева и *начисто, навечно стёрты из памяти к началу двадцатых годов*. А где другие дети и внуки Петра и Анны Куренновых, сёстры и братья бабушки Марии Петровны? *Судьбы их всех без следа провалилась в пропасть* между "Великой Россией" государственного деятеля Столыпина и "великими потрясениями" Ульянова-Ленина<sup>12</sup>.

Кроме выжившего, тогда восьмилетнего, дяди Толи единственным живым исключением из *пропасти тотального забвения прошлого* была двоюродная сестра мамы и других Алексеевых, "тётя Варюша" Куреннова, интеллигентнейшая (по воспитанию и по правилам жизни) дочь просто, под горячую руку, расстрелянного в гражданку священника, брата моей бабушки Марии Петровны, прирожденная педаггичная учительница и воспитательница старого закала. Она работала в детском саду и была замужем за дядей Петей (Кроликовым), скромнейшим и добрейшим инженером Водоканалпроекта. Наверное он был очень хорошим инженером, поскольку у них была отдельная квартира (!) в центре, хотя и крохотная, и в полуподвальном этаже, и вход со двора фабрики "Чай-Кофе" (парадный вход, как везде, тоже был заколочен и запаутинен). У них в гостях я впервые в жизни увидел защёлкивающийся "английский" замок, батареи центрального отопления, унитаза (ванны или душа не было) и члена семьи – необыкновенную комнатную весом с килограмм, невероятно злобную собачку Джекку на высоких тонких ножках.

Герман несколько раз ездил с ними на дяди-петиной моторке в станицу Богаевскую, где они жили в палатке на безлюдном острове посреди Дона, ловили разнообразную рыбу, купались, доставали в станице помидоры и арбузы. Их садовый участок на Западном за Олимпиадовкой представлял собой подобие райских кущ, где на безукоризненно обработанной земле стояли развесистые деревья и кусты, обсыпанные крупными сладчайшими абрикосами, сливами, яблоками, грушами и виноградными гроздьями. А домика не было – только строение вроде вагончика для инвентаря. Как говорится, от трудов праведных не наживёшь палат каменных.

Объяснение описанного выше заторможенного духовного состояния и образа жизни дала тётя Зина, которая как-то уже в перестройку за столом на семейном сборе (день рождения или ещё по какому-то поводу), когда я стал говорить что-то славословящее её или их, сказала глухо-сдавлено: ***мы всю жизнь прожили в страхе, всё время дрожали и тряслись.***

Приходится признать, что может быть благодаря именно этой тактике полного общественно-политического разоружения, мамина сестра тётя Клава окончила ростовский "физмат", стала ядерным физиком- экспериментатором, работала в легендарном коллективе знаменитого академика Иоффе (помните, это тот, который у Высоцкого рифмуется с "коньяк и кофе") в Ленинградском технологическом институте, исследовала космические лучи в ФИАНе, публиковала статьи в "Докладах академии наук", училась при московской консерватории игре на рояле, вышла замуж за одного из первых тогда ещё максимально престижных лауреатов сталинской премии

<sup>12</sup> Моё понимание его роли в трагедии нашей семьи дано в двух заключительных главах Мемуара. Может быть в малой капле судеб моих родных содержится микро-часть ответа на вопрос, почему не сбылся уверенный прогноз Дмитрия Менделеева о том, что население Российской империи вырастет к концу XX века до 600 млн. человек.

первой степени, впоследствии академика Николая Алексеевича Добротина. В её коммунальной московской квартире на 2й Тверской-Ямской мне приходилось мельком видеть другого жильца, их соседа – физика Черенкова, будущего лауреата Нобелевской премии.

Тётя Оля, летом в 41 году окончила мединститут, работала по распределению в Зимовниковском районе, откуда прибежала в уже оккупированный Ростов. Её муж, однокурсник (я помню его, когда несколько человек работали с принесённым скелетом, готовясь, по-видимому, к госэкзаменам) такой же новоиспечённый врач Лев Израйлевич Осовцев, был мобилизован в 1941 году и погиб на Северо-Западном фронте у безвестной деревни Находка в феврале 1942 года, о чём имеется запись в Объединённой базе данных. Впоследствии тётя Оля на многие годы стала Главным санитарным врачом Ростовской области. Постоянно ездила по районам, болела бруцеллёзом (тяжёлая специфически деревенская инфекционная болезнь коров и доярок), всю жизнь прожила в Ленгородке, в тех кошмарных условиях, которые я описал. Телефон ей поставили только на месяц по случаю эпидемии холеры и по окончании сняли.

Тётя Зина и без высшего образования долгие годы занимала должность начальника "Конторы начальника станции Ростов", и была уважаема в железнодорожных кругах вокзала (в частности, билеты на поезда мы всегда имели в обход перманентного дефицита и очереди). Дядя Голя перед войной окончил московский институт лёгкой промышленности (около нас, рядом с Устьинским мостом), квартировал на Котельнической набережной, постоянно подрабатывал и регулярно посылал посылки деньги Марии Петровне, о чём имеются почтовые квитанции. У тёти Клары остались его коньки "гаги" с ботинками, которыми пользовались Николай Алексеевич, а затем я.

Ещё одна родственница, сестра тёти Варюши – Юлия, ещё до моего рождения переехала в Москву, вышла замуж за какого-то работника то ли Госплана, то ли наркомата-министерства. Но с ней, по той же причине, все связи были обоюдно и полностью оборваны, даже со стороны москвички тёти Клары. Дожила свой век тётя Юлия одна в московской "сталинской" квартире. При ней обретался некий непонятный монашек Брат Митрофан. У него в поминальнике была записана вся наша семья Куренных-Алексеевых, а также были некоторые фотографии наших предков, которые он мне не дал, а сканеров тогда не было. Тётка имела экономическое образование, но с большим юмором говорила, что экономист из неё, как из теста пуля. К сожалению, я эту связь с Митрофаном не развил, что случилось теперь с ним, не знаю.

Должен сказать, что я полной мере являюсь глупым, недостойным персонажем в сетях этого мистического заговора или соглашения о молчании и забвении родства. В отличие от сестёр-тёток я ведь "как бы" и не должен был ощущать той угрозы, которая довлела над ними. У меня всегда была наготове спасительная анкетная формулировка о социальном происхождении – "из служащих". Тем не менее, я за микроскопическими и запоздалыми исключениями никогда ни о чем, ни у кого не спрашивал, находился в состоянии какой-то странной ат-



Н. А. Добротин, доктор физико-математических наук, член-корреспондент АН УССР, участник в открытии и изучении элементарных ядерных явлений и ядерно-последовательных процессов в космических лучах

Г. Т. Зацепин, кандидат физико-математических наук, участник в открытии и изучении элементарных ядерных явлений и ядерно-последовательных процессов в космических лучах



рофии даже обычно присущего мне любопытства. Как, когда и почему это произошло, не знаю. Это что-то вроде превентивно-подсознательной духовной патологии, вроде дурного заболевания, воздушно-капельной инфекции или какой-то страусизм ... А сколько было возможностей! Даже сейчас я уловил себя на том, что когда горько вспоминаю, когда и кого не расспросил, сразу приходит на ум, как бы для того, чтобы заслонить других, только тётка Зина. Этаким чичиковоподобный Аким-простота! Ищет рукавицы, а они обе за поясом. Ведь до самого 1986 года чего проще было обратиться к маме, Вере Ивановне, которой в 1918 году было уже 10 лет, столько же, как мне во время оккупации.

Бесспорно, могила деда-священника теперь под асфальтом у Лендворца. Но где остальные? Было определённое упоминание, что какие-то родственники похоронены у входа на наше бывшее кладбище. Это значит, что теперь в расширенном увеселительном Садики как раз на них падала тень воздвигнутого на этом месте (ныне ликвидированного и пока вроде бы не восстановленного) нелепого памятника Ульянову-Ленину<sup>13</sup>. Знаменательно то, что тетки Зина и Оля в христианском смирении и, находясь без надежды в потоке этой казалось всесильной традиции надругательства над прошлым, противились какому либо уходу за могилой Марии Петровны (у входа на Армянское кладбище сразу за церковью). Обе они (в отличие от Веры и Клавдии) в полной мере восстановили очень органичную, врожденную веру, пока могли регулярно ездили на трамвае в Собор, неукоснительно и легко соблюдали все положенные правила и посты, паломничали.

Что-то мистическое я начинаю чувствовать в том, что куда-то, как сквозь землю провалилась коробка с уцелевшими фотографиями и документами семьи Куренных, которые оказались у меня после смерти тёток. Внезапно нашлись только несколько разрозненных снимков моих прапрапредков – протоиерея Иакова (фото справа) и его жены Марии. Отлично сохранились фотографии происходящей от этой церковной семьи моей прабабки *Анны Яковлевны* и её мужа – нашего казацкого предка – моего прадеда Петра Куренного, родителей бабушки Марии Петровны (они на семейной фотографии). Пётр служил дьяконом в знаменитом Новочеркасском Вознесенском кафедральном войсковом соборе<sup>14</sup> и по преданию говаривал, что *ежели бы не бас, я бы до сих пор свиней пас.*



С Петром связана ещё одна занятная история. Как-то к нему по знакомству заехал выпускник духовной семинарии Иван Алексеев – на пути в Малороссию, куда он ехал, чтобы жениться на какой-то тамошней девице. Это было важно не просто так, а потому что было обязательно для получения места священника в приходе. А тут весна, *Дон-Батюшка* разлился широко, куда хватал глаз, надолго, ни пройти, ни проехать. И в этот вот момент Пётр и говорит Ивану – что тебе, парень, ждать у моря погоды, ехать за семь

<sup>13</sup> Гала посоветовала смягчить "неполиткорректности" характеристики Ульянова. Однако в данном случае моё отношение не является политическим. Оно также не касается научной экономической, философской и другой деятельности этой исторической личности и содержит только моральную и человеческую оценку. Может быть, моё повествование объяснит то, почему я со временем всё больше ощущаю и этого человека, и его наследника как своих личных врагов. И я ведь сдерживаюсь, выбираю слова, вспомним Виктора Астафьева, который видел, знал и понимал больше меня: **"Юродивый, кровавый сатана-вождь"...**

<sup>14</sup> После Исаакиевского собора в Петербурге и храма Христа Спасителя в Москве он был в России третьим по величине православным храмом, смотри фотографию интерьеря.

вёрст киселя хлебать, когда, посмотри – Мария вот она! Так и сладили свадьбу. Возможно, и с местом в Ростове поспособствовали по-родственному.

На следующей фотографии, изображающей в соответствующем облачении одного из моих прадедов родных братьев Анны, подписано: Назарий, Митрополит Одесский. Братья бабушки Марии Петровны Михаил и Александр – оба были священниками. Александр, как и его отец Пётр, тоже служил в Новочеркасском соборе (это я установил уже по материалам Интернета). Он был за просто так расстрелян красными на станции Котельниково в 1918 году и, по свидетельству упомянутого выше брата Митрофана, *причислен* зарубежной православной церковью к *лику святых-мучеников*, погибших от руки большевиков. У него было трое известных мне детей – Варвара, Юлия (обе упоминаются в этом повествовании) и Виктор, мой двоюродный дядя. Он погиб вместе с другими гимназистами-добровольцами, защищая столицу "Всевеликого Войска Донского" – Новочеркасск, зимой в самом начале гражданской войны, обернувшейся геноцидом для настоящего российского казачества. Об этом малом эпизоде есть упоминания в мемуарной литературе.

Подводя некий наследственный итог, я должен признаться, что далеко не сразу, но чем дальше, тем больше осознаю свою принадлежность как минимум к трем поколениям православных священников. Я, можно сказать, де-юре представляю собой поповского внука, правнука и праправнука известных мне предков - Иакова, Петра и Ивана. Судя по их вполне достойной церковной карьере, очень возможно, что этот профессиональный корень уходит в прошлое ещё глубже. Всё-таки прапрапрадед был протоиереем. Наверно, для меня это происхождение должно что-то значить. А может быть и нет?



Чтобы закольцевать повествование, можно подняться по спиральной лестнице времени к сегодняшнему положению в описанных выше местах. Как бы ни была на современный взгляд бедна и проста описанная выше жизнь Олимпиадовки и Ленгородка, там никак не бросались в глаза признаки запущенности или тем более деградации. И вот 199.. год, я в Ростове, на Собино 16, у тёток. Приехал как важная персона – приглашённый московский оппонент на защиту диссертации в университете. Живу не в гостинице, а принципиально как абориген у своих. Время – март, всё течёт, на тротуаре во всей красе обнажаются небывалые кучи запросто выброшенного зимой мусора. На одной прямо перед воротами – распластанная, давно дохлая собака. (На следующий день она исчезла: после того, как я поделился впечатлением, племянник Сергей *согласно законам гостеприимства* перебросил её немного ниже, к четырнадцатому номеру)<sup>15</sup>.



Ранним утром вышел на улицу, еле рассветает, туман, вода журчит, воздух скверноватый. Пошел, спотыкаясь о колдобины вверх, на первом перекрёстке рельсы висят над промытой ямой, на машине не проедешь. Направо, тёмный переулок

<sup>15</sup> Сергей Хоренков, правнук Конкордии, по занятию шофёр (права получил в армии), в то время ("лихие девяностые") зарабатывал тем, что вахтовым методом продавал с хозяйского бензовоза левое горючее проезжающим водителям. Стоял круглыми сутками, днём и ночью в чистом поле на участке шоссе Ростов-Баку за Батайском до тех пор, пока цистерна не опустеет.

немного дальше обрывается в чёрную пустоту. Полное впечатление мрачного, безысходного запустения. Кажется, сейчас выползут монстры и вурдалаки, какие-нибудь гербертуэлсовские мёрлоки, но, чу! Проходит, тихо разговаривая, прилично одетая парочка; оборачиваюсь – к остановке подъехал трамвай, чешский, ярко освещённые окна, подбегают и входят вполне цивилизные люди... нет сомнения, что дома у них уют, чистота, телевизоры...

Словом, диагноз для нашего населения (надеюсь, что в промежуточном итоге его исторического развития): при сохранении индивидуально-собственнических интересов обывателя – полная атрофия общественных инстинктов и подобных качеств. Кроме того, сказывается неудобное для многих частей этих поселений местоположение в транспортном и в экологическом плане. Результат – большое число обветшалых, брошенных, заколоченных и вандализированных домов, многие из них ещё дореволюционной постройки. Новых зданий практически нет.

В этом окружении всё более по кафкиански символическим предстаёт *Дворец*. С самого начала это огромное здание поражало не только кричащей отторженностью от своего окружения, но и чудовищной нефункциональностью. Внутри простирались нелепые пространства пустых однообразных фойе на двух или трёх верхних этажах, я всегда даже затруднялся сосчитать их. Упомянутый выше настоящий громоздкий самолёт-биплан выглядел там так же естественно и скромно как рояль в просторном гостинном зале.



До войны в цоколе были две узкие двери в магазины, а повыше – кинотеатр со стиснутыми рядами скрипящих и хлопающих откидных сидений в тесном узком зальчике с высоким потолком и задранном кверху экраном. Сейчас этих дверей, равно как и бывших магазинов нет, то ли заколочены, то ли без следа замурованы. Здание как огромная зачем-то воздвигнутая декорация для непонятого, несостоявшегося представления, лежит поперёк дороги "в город", люди обтекают его по выщербленному асфальту не замечая, не поднимая головы, карабкаются вверх по крутым изуродованным ступенькам. (Недавно Никифоров сообщил, что Дворец вдобавок обнесли железным забором, перекрыв прямой путь к трамвайной остановке).

Недавно в Интернете появилась серия безрадостных фотографий – нечто вроде путеводителя по трущобам Ростова. Там есть угнетающий по впечатлению раздел, который, точно так же как и в данном тексте, называется **Олимпиадовка и Ленгородок**. Оттуда я и взял фотографию Дворца, которую поместил на первых страницах мемуара и повторяю здесь.

**Замок** у Кафки, который обладал непонятной гипнотической силой, парализующей у живущих вокруг людей волю, надежды, способность к развитию и даже к полезной деятельности, стоял на горе. **Дворец** тяжёлым утюгом лежит внизу, упёршись передом в железнодорожные пути, как изба Бабы-Яги в лес, и повернувшись задом к амфитеатру обветшалых ленгородских домиков. Возможно, это соседство представляет собой и символ судьбы данной небольшой своеобразной части советско-российской действительности, и отражение того, что натворили революционеры-ленинцы во всей нашей стране.

О начале войны я узнал, находясь вместе с родителями "в городе", в вестибюле гостиницы "Ростов" (здание после ремонтов теперь уже в стиле квази-конструктивизма на Буденовском проспекте). Здесь собирали детей для отправки вверх по Дону в пионерлагерь в станице Кочетовка (теперь -ская). Отметились только необычное волнение и атмосфера нервной суеты взрослых. Мысли были заняты этим первым для меня самостоятельным путешествием. (Поездку в Анапу с детским садом я не помню почти абсолютно, кроме контраста чёрной пальмы и сверкающего на солнце моря. Лишь испуганное лицо на фотографии отъезда зафиксировано).

Пароход "Молотов", на котором мы шли вверх по реке в лагерь (я его, колёсного старичка<sup>16</sup>, сразу после войны часто видел), простоял без огней всю ночь где-то в кромешно тёмной степи посередине Дона, так как по случаю войны не зажгли лампы на бакенах, чтобы не рассекретить Батюшку, а заодно не вывести по ним на город Ростов, а также, чтобы и нас сходу не разбомбили бы немецкие самолёты.

В лагере за высоким забором я пробыл месяц, ничего особенного, была военная игра по типовому сценарию мирного времени, купались в Дону (там был прекрасный чистейший песок), хотелось домой, никакой войны...

А в городе тем временем повсеместно, в частности напротив нас в школьном дворе, вырыли щели – такие окопы чуть выше роста, изломанной конфигурации (это, как объясняли, чтобы задавило не всех сразу при попадании бомбы) накрытые досками и извлеченной из них же землей. При первой тревоге (их некоторое время объявляли, как положено жуткими прерывистыми гудками заводов, но вскоре бросили) мы, было, дернулись как культурное семейство туда прятаться, но с первых же шагов убедились, что выступаем в полном одиночестве, и вернулись назад на волю богию. Приказали клеивать окна лентами марли от разлетания стёкол. Причем в Ростове их лепили не крест-накрест, как это обычно показывают в кино, а более надёжно – внахлест горизонтально и вертикально в виде тюремной решётки.

Первые летние бомбежки дали повод для различных легенд. Рассказывали, что во время лекции в аудитории финансового института на Ворошиловском проспекте, когда забухало, кто-то закричал – лезьте под столы! И тут попала небольшая бомба, посыпался потолок, спаслись, якобы. А вот реальный случай из 1943 года, когда бомбили уже не немцы, а наши. Забегал частенько к нам один знакомый по имени Иван Игнатьевич, который жил немного повыше на параллельной Колодезной улице в собственном доме. Он чуть ли не на следующий день после события рассказывал, что вечером как усилилась немецкая зенитная стрельба, приказал домашним лезть под кровати. И вскоре очнулся под открытым небом в звёздах и отблесках наверху обломков от дома и рядом с изогнутой кроватью. Жену и родственницу откопал сам, помятыми, но и только.

---

<sup>16</sup> Долгое время на всём нижнем Дону было два пассажирских парохода, колёсных, жалких по современным меркам, а тогда опозитизированных. "Заря" – огромный пароход. Он возит почту и народ. Из Константиновской в Ростов идет четырнадцать часов". И ещё из того же опуса: "Там за островом Зелёным блещет окнами домов самый главный город Дона – называется РОСТОВ!"

Даже в мои студенческие годы пассажирских судов было мало. Однажды, возвращаясь из "лекционного турне" по колхозам с путёвкой общества "Знание", я сел в Багаевской (66 км, часа три до Ростова по воде) уже на новый, "роскошный" рейсовый теплоход "Маяковский", кстати почти пустой, выпил там в безлюдном ресторане пива, съел шницель с яйцом. Вышел на палубу и вдруг встретил там одинокую американскую туристку. Это было равносильно тому, как наткнуться на жирафа или крокодила. Обозревая пустынный берег и воды, она всё спрашивала, зачем построили Волго-Дон, когда на нём никого и ничего не везут, а я апологетически всё объяснял. Вот за эту полуторачасовую тусовку, когда я уходил на пристань, уборщица, или ещё какая-то баба из команды, злобно крыла меня визгливым криком и всеми словами как продавшего Родину презренного проститута. Таковы были нравы в эпоху железного занавеса в народном исполнении.

Самым примечательным событием первой оккупации (с 21 по 29 ноября 1941 года) была *грабилька*. Наши ушли, немцев почти не было видно, народ вышел на улицу и пошёл по магазинам, конторам, фабрикам, складам, клубам, словом, по всему и везде. А всё это было, хотя скудное и примитивно-бедное, но еще не тронутое, начиная от товаров и запасов и кончая мебелью, инвентарём и занавесками. Был исключительный азарт, все стремительно ходили и несли (примерно, как недавно показывали по телевизору, в Багдаде "при американцах"). Улицы были в необыкновенном броуновском движении. Отец принес, кажется с хлебозавода несколько ёмкостей (ведра, большие кастрюли) паточки двух сортов – чёрную и жёлтую, в первую ходку чистую, потом с разными щепками. Говорил, что она была там в каких-то чанах и лилась на пол. Так что брали и ту и другую и отовсюду. Люди скользили и падали, нагребали кто во что, вместе с мусором.

Я не мог уходить далеко, к тому же малость запоздал, сразу не сообразил, да и страшновато было. Так что подобно мародёрствующему булгаковскому Бегемоту притащил из школы глобус, из библиотеки несколько книг, с кожгалантерейной фабрики новое кожанно-войлочное кавалерийское седло и расписные глиняные свистульки. С подшипникового завода – новенькие шарикоподшипники в промасленной бумаге. Бродил по пуговичной фабрике, но там уже брать было нечего.

Мой друг Игорь Никифоров живописно рассказывал, что они с матерью наткнулись в горящем потихоньку Дворце на бочку с развесным мылом. Как муравьи, из последних сил катили они эту непослушную тяжесть вверх по Собино, а соседи подбегали и предлагали помочь, войдя в долю. В конце концов, так и вышло. Бочку закатали во двор, разбили, а мыло разрезали на три части.

Дворец и другие выдающиеся здания (Дом Советов в центре) поджигали и взрывали специальные люди. По свидетельству Никифорова (к сожалению, я не могу передать его интонаций, полных искреннего и только чуть-чуть иронического соучастия), сначала *возмущённые женщины* поджигателей из Дворца прогнали, потому что они *мешали грабить*, но потом те всё же добились своего. Конечно, выполняли расстрельный приказ, но только в данном случае непонятно зачем, поскольку через неделю немцы, опасаясь окружения с севера, ушли, а головешки остались нам.<sup>17</sup> Должен отметить, что мои наблюдения и впечатления от атмосферы грабильки во многом, но не во всём совпадают с описанием аналогичных харьковских событий актрисой Людмилой Гурченко в её автобиографической книге "Аплодисменты". Она пишет, что там грабить жёстко не давали немцы, а у нас, по моему опыту, процесс шёл в чистом виде, в это время было полное безвластие.

Оценивая грабильку как социальное явление, должен засвидетельствовать, что среди участников не было сомнения, или какого-либо шевеления совести, или даже просто мысли по поводу нарушения прав собственности. Её приватизация совершалась полностью естественно как нечто само собой разумеющееся, и единственной заботой было во время успеть, опередить других, и благополучно донести, или довести обрётённые ценности до дома. Это относится и ко мне, когда я грабил собственную школу и библиотеку. Помню чувство досады за свою нерешительность, что не смог сравняться со взрослыми в расторопности, упустил шансы быть в первых

<sup>17</sup> Здесь мы который раз снова натываемся на классику по Высоцкому: "Ратный подвиг совершил, дом спалил". Поистине у этого человека налицо признак гения – ни одной незначущей фразы во всех стихах. "Его рукой водил Бог", как сказал о нём актёр Высоковский. Приведённая странная на первый взгляд строфа, по содержанию вскрывает мазохистский компонент российской военной практики, постоянно присутствующий, к сожалению, прежде и ярче всего – в отечественных войнах. Что же касается формы, словесности, то любопытно, что между двумя предложениями в строфе можно поставить любой из знаков препинания, кроме дефиса.

рядах, даже в библиотеку явился, когда там почти всё расшматовали. Что уж говорить о продуктовом магазине, где мне осталось только разбирать деревянную стенку забора. Правда, доски были ровные, толстые, хорошогодились на дрова.

Могу также сказать, что в это время какой-то вседозволенности я соорудил стационарную рогатку больших размеров, закреплённую на чурбане и стреляющую угольниками из очень толстой медной проволоки. Стрельба производилась со двора по гаубичному принципу поражения невидимой цели – в данном случае своей школы, через крышу дома. Испытания прекратились только тогда, когда там в окне посыпались стёкла.

Я не знаю, насколько сохранился этот инстинкт готовности к грабильке у коренных жителей западной Европы, но в нашем населении он в обычное время скрыт, но не глубоко, и неизбежно устойчив. Зимой 2005 года, я оказался в подмосковном санатории-усадьбе Михайловское. Там каждый день проходил мимо главного дома, выходящего фасадом на великолепный амфитеатральный белоснежный простор реки и леса. Дом был полностью, до перекрытий и кафеля старинных печей вандализирован, с выломанными окнами, разрушенными чугунными перилами триумфальной балюстрады и балконов. Находясь в послеинфарктном расстройстве мыслей, я удивлялся, почему этот дворец до сих пор не восстановлен – ведь после сорок пятого года прошло уже полвека! До меня не сразу дошло, что эта разруха – не грозная реплика из времён отечественной войны, а свежий результат самодельности окрестного поселкового населения в начале "лихих девяностых".

Это – о потомках крестьян, наперегонки растаскивавших имущество помещиков в восемнадцатом году. (Незамутнённую естественность того процесса грабильки удостоверяют колоритные рассказы незаслуженно забытого тонкого бытописателя 20-30 годов Пантелеймона Романова). А вот и моя собственная зарисовка о чиновниках и "обслуге" высших сфер власти. Через короткое время после разгона ЦК КПСС, попав по делу в пустынные коридоры одного из зданий этого органа на бывшей улице Куйбышева, я остановился от необычного ощущения простора. И не только из-за отсутствия секретарш и конторской техники, скудости мебелировки. Главное – были сняты и унесены все добротные внутренние двери! Пустой проём – вход в приёмную – направо и налево – так же пусто, полная свобода доступа...

После первой оккупации, зимой 1941 года немцы отошли по направлению к Таганрогу, и с этого времени Ростов стал прифронтовым городом. У нас, на западной окраине, иногда слышался отдалённый гул канонады. С военного аэродрома на горизонте уже не взлетали как раньше тихоходные бомбардировщики ТБ-3, но часто были видны истребители. Вокруг всегда были красноармейцы, в школе напротив обычно стояла какая-нибудь часть, то пехота, то сапёры, то миномётчики, то кто-то ещё. Но госпиталей поблизости не было, так что выступать там с самостоятельностью не случилось. К тому же организующая и учебная роль школы в это время уже отдышала на ладан. Мы жили рядом с войсками и скорей солдаты (большой частью это были, на наш взгляд, взрослые и пожилые люди) нас опекали и развлекали, чем мы их.

Об атмосфере этого симбиоза можно судить по тому, как я *взволновался* (наконец, нашёл случай употребить это булгаковское словечко), прочитав в "Правде" развёрнутый на всю полосу исповедальный очерк Виктора Астафьева, о направленности которого против "патриотической" военной литературы можно судить по классическому названию "Я был на другой войне". Конечно, угол зрения солдата-фронтовика и безответственного пацана сравнению не подлежит, однако каждая деталь не только военного существования, но и восприятия окружающего оказалась звеняще созвучной с тем, что я тогда ежедневно видел вокруг себя и чувствовал по этому поводу.



Массированных бомбежек зимой и весной 42 года не помню, но ожидание постоянно висело даже на Олимпиадовке. Немецкие самолеты характерно прерывисто гудели, бомбы рвались, но далеко. Тем не менее, страх присутствовал. Как показывает мировая практика, в такие периоды все вспоминают о Боге. Именно тогда я выучил (естественно, от бабушки Марии Петровны) Отче Наш, а собственная молитва звучала примерно так: боже, сделай, чтобы сегодня не было налёта.

У нас дома был добротный хорошо изданный альбом "Типы немецких самолетов" (отец купил где-то в городе) с фотографиями, силуэтами и техническими данными. Так что не было случая, чтобы я неправильно опознал тот или иной Мессершмит, Юнкерс или даже там маленький действительно похожий на птицу Физилер Шторх. Немецкие бомбардировщики, тогда Юнкерсы-88 и Дорнье-217<sup>18</sup> летали без сопровождения истребителей и днем, и ночью на средней высоте, с запада, то есть через нас. По ним стреляли зенитки, вокруг самолетов вскакивали белые круглые разрывы похожие на зефирины, во дворе падали редкие осколки, но ни я, ни все вокруг ни разу не видели сбитого или повреждённого, или хотя бы нарушившего строй немецкого самолета. Говорили, что одного нашего несчастного "ишака", тупоносого истребителя И-16 сбили, якобы, эти зенитки. Он упал в наших краях, но далеко, кто-то туда бегал и рассказал, что в кабине был неживой летчик в кожаных до локтя коричневых перчатках. Эти И-16 базировались на так называемом Военведе. Он помещался на самом горизонте от нас. Если влезть куда-нибудь повыше (на крышу сарая, дома, даже на ворота), можно было видеть как они взлетают и садятся.

С начала 1942 года на многие бесконечные месяцы над нами повисла мрачная тень "Миус-фронта", каких-то тупых и безнадежных лобовых атак на Таганрог. На немецкие пулемёты наваливались точно по Высоцкому, "как на буфет вокзальный". Ранней весной у нас в 64й школе стояло подразделение моряков. Они были в корабельной форме – бескозырках с ленточками, с синими отложными воротниками, в черных брюках, всё как полагается. Молодые, высокие, культурные. Один из тех, которые заходили к нам, говорил, что из Ленинграда, показывал домашние фотографии – рояль, на стене картины. Постояли неделю, ночью исчезли. Погибли все, ни за что ни про что<sup>19</sup>. Такая же фантазмагория продолжалась и в 1943 году до самой осени. Все линейные, заведомо обречённые, похоронные атаки 1942-43 годов оказались зультатными и бессмысленными, они продолжались до тех пор, пока немцы сами не ушли со своих удобных высоток под угрозой окружения с других сторон...



Что касается историков войны, то они, самые разные, обычно описывают таганрогскую эпопею несколькими предложениями как эпизод. А все мы, обыватели,

<sup>18</sup> Пикировщики Ю-87 появились вместе с летним немецким наступлением 1942 года.

<sup>19</sup> Всё это десятилетиями было известно только по глухим слухам из того времени. Много позже на конференции в Новосибирске моим соседом по гостиничному номеру оказался москвич, геолог, инвалид войны, герой Советского Союза, который, будучи подростком, привязался к этому морскому подразделению, под Таганрогом уцелел только по удаче, а впоследствии прошёл почти всю войну. Потом я узнал, что эта часть формировалась в Пятигорске, в здании пединститута, в том числе из слушателей *Севастопольской высшей школы военно-морского флота*, то есть военной элиты молодого поколения страны. А теперь в Интернете имеются потрясающие свидетельства очевидцев, записанные школьниками из Матвеева Кургана и приведённые ниже в Приложении к первой части Мемуара. На фотографии – памятник о гибели "*лучших войск*" – этой самой атаке моряков 8 марта 1942 года на Волковой горе у реки Миус.

независимо от возраста, от старух до детей, инстинктом, здравым смыслом Иванушки-дурачка, кожей, чувствовали, что это нельзя, неправильно так упорно и нелепо гнать людей на убой. Здесь было то же чувство, которое я, как рассказано выше, подсмотрел у бабушки Марии Петровны, когда у неё из глубины души вырвалось ЭТО – *что же, у нас генералов нет?*

К сожалению, дело не ограничилось квалификацией генералов. Потом её добрали. Но нравственная недоразвитость выдвиженцев вместе с неистребимым ползучим страхом перед безжалостной партийно-государственной системой и её "органами" витали не только под Харьковом в 1943м, но и в 1944м, и до самого конца войны над Берлинским "соревнованием" маршалов и над Кенигсбергским штурмом плотно окруженной группировки в Восточной Пруссии накануне общей капитуляции Германии...

Ситуация взорвалась в третьей декаде июля 42 года. Летнее немецкое наступление на Сталинград и Кавказ для нас началось с недели непрерывных дневных и ночных массированных бомбежек города. Олимпиадовки это непосредственно мало касалось, так как зона поражения начиналась от вокзала и далее в город, включая переправы через Дон. Мост тогда был не на Ворошиловском проспекте как сейчас, а ближе к нам, на Буденновском. Но грохот и свист стоял ужасный, и мы все эти несколько дней сидели в своём погребе под домом, хотя сверху никакой защиты кроме деревянного пола, оштукатуренного потолка и жестяной крыши, не было. Вообще в подвале сидеть было несравненно страшнее, чем просто во дворе, поскольку оттуда кажется, что каждая свистящая бомба летит в тебя и давит полная атмосфера неизвестности, а во дворе местоположение самолетов и отделяющихся от них бомб видно широко и во всех деталях, и когда, как было в нашем варианте, они падают не на тебя, (в худшем случае в подвале мусор осыпается с земляных стен), то чувствуешь себя вполне комфортно.

Так мы сидели в подвале с неделю, в перерывах наблюдая пожары и вдыхая дым и пепел из города. И вдруг 29 июля наступила тишина, кроме какого-то необычного самолетного гудения. Я высунулся из подвала и увидел потрясающее воздушное представление. Всё небо над нами было полно разнообразных самолётов, включая знаменитый дикосвистящий, разлапистый пикировщик Ю-87, экзотический двухфюзеляжник "раму", прочую мелкоту и, конечно, мессершмиты 109 и 110 (тяжёлый двухмоторный истребитель с двумя летчиками), причем в нижних точках беспорядочной карусели были отчетливо видны плечи и головы пилотов. Что это было? Похоже на праздник взятия "ворот Кавказа", впрочем, не знаю.

Вскоре началась какая-то странная стрельба – к выстрелам мы давно прислушались, а тут вроде короткие очереди, а для настоящего пулемёта слабовато. То ближе, то дальше, кружит с разных сторон. Любопытство одолело, я обошёл дом, влез на высокую завалинку и высунулся в отверстие между воротами и домом. А там буквально в трёх шагах вниз бесшумно катится мотоцикл с коляской и ручным пулеметом, в нём два немца. Который с пулеметом, дёрнул ствол, но, по-видимому, понял кто я, да уже и чуть проехали. Конечно, я мгновенно слетел с забора<sup>20</sup>.

Вслед за этим повалила немецкая армия, к нам солдаты заходили, смотрели. Один затрапезный немец даже пошупал покрывало и простыни на кровати, как в магазине. Но, по-видимому, не понравилось. Зашёл застенчивый высоченный румын,

<sup>20</sup> А теперь представим себе, что на моём месте оказалась бы какая-нибудь отчаянная голова. Было бы вполне возможно и даже как-бы в порядке боевых действий застрелить по крайней мере одного немца, а то и обоих, если бы первым оказался водитель мотоцикла. Через пару часов Бурный спуск обезлюдел бы, включая упомянутых выше шестерых ребят из нашего двора, в результате немецкой карательной операции. Такова была эта война и её сравнительная цена для России и Германии.

крестьянин с огромными руками. Посмотрел, увидел такой солидный грубый железный ключ от водяной колонки, лежит себе на подоконнике около двери. Смотрит, а взять (зачем – водопровод не работает) стесняется. Тогда он так спиной подвернулся, руку запустил и тихонько, как бы незаметно, сграбастал – и в карман. А я сбоку стоял и все отлично видел. Потом молодой немецкий солдатик зашел с автоматом, сел, а тут я из-под стола вылезая – так он аж подпрыгнул от неожиданности.

Как я уже упоминал, по нашему Бурному спуску несколько дней ехала немецкая мотопехота. Для моего врождённого и не избалованного впечатлениями любопытства это неожиданное, несообразное со всеми прошлыми представлениями вторжение стопроцентно чужеродной, организованной и механизированной Европы в наш простецкий мир вызывало естественное чувство опасности и одновременно было фантазмагорическим, почти ирреальным. Огромное разнообразие транспортных средств не могло не поразить жителя Олимпиадовки, для которого до этого явление одиночного большого отечественного грузовика - "пятитонки" было воспоминанием о выдающейся демонстрации технической мощи. Немцы были заняты своим, одни на мотоциклах, на лицах пыль *в палец толщины*, или группами в невиданных полугусеничных высоких вездеходах, другие загорелые в шортах и на велосипедах, третьи в полной амуниции с ранцами отделанными коричневой коровьей шкурой и с рифлеными цилиндрическими противогазными коробками – коротко отдыхающие на траве школьного двора, четвертые в легковых автомобилях с разнообразными радиоаппаратами, вливающимися в непривычно-чужеродный звуковой фон. Все они не обращали внимания на местных, на нас, которые шастали везде без всякой мысли уничтожить или взорвать<sup>21</sup>.

Более того, когда я однажды ковырялся возле школы, мимо наперекрест целеустремлённым шагом прошла группа неизвестных мне пацанов, впереди один решительный, за ним клином человек пять, и прямо к группе отдохавших на траве немцев. Глянул вслед, а вожак держит в руке за спиной немецкую гранату на длинной деревянной ручке. (Наших кругом валялось много без запалов, я снимал с них осколочные "шубы" и зачем-то откручивал короткие металлические ручки, может потому, что они были уж совершенно безопасны). Так вот, подходит он стремительно к старшему из немцев и протягивает ему гранату – смотрите, Пан, – это ваша!

Как-то в нашем, оставленном на произвол судьбы детском умишке не связывалась мысль, что это именно те же враги-оккупанты, та же мощная машина, которая давила массы бегущих во время "драпа" летом сорок второго года по бесконечной спалённой солнцем степи лишённых командования и всей военной системы обеспе-

---

<sup>21</sup> Впечатление, аналогичное столкновению с транспортным потоком из Европы летом 1942 года я могу получить в любой момент. Для этого достаточно выйти вечером в наш двор на Покровском бульваре. Иностранные машины располагаются здесь по всему пространству. Все разные, но одна другой роскошнее. Не просто чисто вымытые, а новые, последних моделей, никакого секонд-хенда. В основном японки и немцы. Быстро вымываются малолитражки, нет корейцев, нет Шевроле, нет даже Опеля, рядового Рено или Нисана (кроме Патрола). Популярны Тоёта, Ауди и БМВ, присутствует Инфинити. Каждая третья-четвертая машина – повышенной проходимости. Сегодня, например, царит огромный сверкающий чёрным лаком Лендкрузер, дизель с изящной чёрной трубой над крышей. Сзади в специальном контейнере пристёгнуты стальными шлейками две трогательно лакированные канистры, по-видимому, на случай застрять при охоте на львов где-нибудь вроде пустыни Калахари. Раньше я видел здесь и столь же новенький Хаммер. Постоянно живет под окном сундукообразный соседский, стилизованный под ретро, полноразмерный чёрный Джип, особенно внушительный рядом с моей, тоже старомодной, но по-настоящему, одинокой, зелёной жигулёвской семёркой. Любопытно, что ни одного Мерседеса, не говоря уже о машинах ещё более высокого класса. Объясняю это тем, что в нашем старом доме, замечательном, прежде всего, своим местоположением, отсортировались лица второго ряда. Мерседесы стоят в других более роскошных местах.

чения красноармейцев, те же солдаты, которые, как передавали ползучие слухи, говорили, что они не успевают смывать русскую кровь со своих танков.

При немцах летом к нам иногда попадала газетка "Голос Ростова" в четверть листа, как многотиражка. Из первого номера врезалась в память передовица: "Скоро в нашем богатом, торговом южном городе начнётся такая жизнь, о которой можно было только мечтать". Потом некоторое время держалась коротенькая однообразно немногословная рубрика "В развалинах Сталинграда". Потом все ушло.

Что касается торговли, то это как-то своеобразно сбилось. Был даже анекдот, что, якобы, захватившие Ростов немцы удивлялись – что это за город, вокруг стрельба, а базар торгует. Мне до сих пор гиперболизированно кажется, что в августе-сентябре 1942 года торговали четверть Олимпиадовки и пол - Ленгородка. Это значит, что, сидя на крылечках, продавали "награбленное", в частности табак ростовской фабрики ДГТФ в пачках, добытый из горящего эшелона на путях напротив нас за Темерником, мыло, варёную кукурузу, помидоры, семечки, разную выпекаемую снедь. Возникло эмбриональное частное предпринимательство: на Собино появились вывески – напротив чуть выше от нас "Зубной врач Аким Львович Балакша", немного ниже – "ФотоГраф Мерников"<sup>22</sup>...

У этого "графа", нашего хорошего знакомого, доброго и чудаковатого обломка старого режима Якова Мерникова я начал свою трудовую деятельность в качестве ученика фотографа. Проявлял, закреплял, промывал, глянцевавал, чертил на закопчённых краях негативов романтические завитушки, ретушировал морщины и царапины – и карандашами разной твёрдости с тончайше заточенным длинным грифелем, и кисточкой, и негативы, и позитивы. Благо всё это кроме, пожалуй, ретуширования, которым фоторепортёры мало занимаются, было мне, естественно, знакомо. Зарплаты не было, но помню как Мерников и его интеллигентная старушка-мать кормили меня оладьями, поджаренными на "Оружейном масле" – так было написано на пузырьках с тёмно-сизой жидкостью, целый ящик которых он добыл где-то во время грабильки. Бизнес не процветал, но кое-кто приходил, даже раз немец с какой-то дамочкой – их фото затем вывесили на витрине у входа для рекламы заведения.

На правом углу против Дворца открылась парикмахерская. Рядом был магазин, в котором продавали хлеб тем, кто работал при немцах, главным образом лезаводским рабочим и железнодорожникам. Хлеб этот был абсолютно чёрный, как квадрат Малевича, потому что выпекался из горелого зерна. В лавочке дальше продавали в бутылках самодельный "морс". Как упоминалось выше, сам Дворец был "вандализирован" (в современных терминах), то есть полувыгорел и был полностью разграблен, чтобы не сказать ободран, вплоть до оконных рам и обшивки самолета У-2, который стоял там на втором или третьем этаже в качестве экспоната или учебного пособия.

В золотую ростовскую осень по Собино проходили аккуратные немцы, у которых пацаны, обращаясь "пан зольдат" или "пан офицер" (откуда что взялось?), спрашивали показать время – которые попроще – "вифиль ур?", более продвинутые

<sup>22</sup> Это было худосочное, но тем не менее совершенно очевидное проявление того полузадушенного народного свойства, которое проявилось в НЭПе, а потом в челночничестве. У меня был колоритный знакомый, университетский преподаватель латинского языка Сергей Фёдорович Ширяев, в бытность цирковой борец, руководитель бригады (любил в компании, как бы невзначай, например, из-за носового платка, переложить из кармана в карман пистолет), известный ростовский парильщик. Мы с отцом и Германом имели честь бывать с ним в бане на Портовой улице. Так вот он принципиально не читал газет и не слушал радио. Если что-нибудь по настоящему важное произойдет, говорил он, то я и так увижу, когда на улице изменится, и по людям узнаю. А всякой ерундой забивать голову недостойно. Между прочим, и я отчасти принял этот критерий, например, поверил в социальный переворот не раньше, чем Москва явно покрылась частными лавочками.

– "ви шпет ист эс?" Немецкие слова схватывались на лету, даже такие тонкости, как отличие простонародного *никс* от "культурного" *нихт* и какие-то грязные ругательства, которые я помню, но не решаюсь привести, опасаясь что-нибудь перепутать и попасть в неловкое положение. Прогуливались, глядя поверх всего, необыкновенно зрелищные румынские офицеры в форме цвета свежего конского навоза и в фуражках с такими же дурацки высокими тульями, как сейчас у наших родных офицеров сообразно вкусу "лучшего военного министра России" Грачева. (Но даже румынские офицеры не освоили щегольской уровень таких чудовищных полосатых декольте до пупка, которые показали недавно на параде наши десантники, одетые в новую форму попавшим в фавор Генштабу дамским кутюрье Юдашкиным). На Олимпиадовке по ходу "пятерки", просто на видных местах было, по меньшей мере, два немецких военных захоронения из 10 - 15 одинаковых крестов с фамилиями. Впоследствии они исчезли без всякого известного мне следа.

Забегая вперёд скажу, что ближе к зиме, в обстановке растущего напряжения и дыхания приближающегося фронта, особо заметного по активности на путях и вокзале, деловые предприятия и променады как-то угасали, но когда выпал снег бурно расцвёл оригинальный извозный промысел. Множество пацанов пролетарского вида (они были мне незнакомы – откуда пришли – с окраин нашей окраины?) появились на улице с санками, приспособленными для того, чтобы перевозить на вокзал и с вокзала вещи немецких солдат, которые ночевали по окрестным домам Ленгородка.

Должен сказать, что я, будучи все же каким-никаким интеллигентом, долго боролся с застенчивостью, но в конце концов тоже вышел на эту стезю. Нерасчетливо подцепил сразу трех немцев и повез, и когда дошли до обледелого "мостика" по дороге к вокзалу (прямой проход через рельсы оказался загроможден составами), я не смог, и им пришлось самим перенести вещи, но затем я, несмотря на этот профессиональный провал, все же востребовал оплату услуг и получил купюру, 10 оккупационных марок (одна ОМ=10 рублям). На эти первые заработанные мною деньги я купил морс в упомянутой выше частной лавке. Он оказался скверным, малосладким, только то, что красноватым. И поделом.

Во время оккупации я несколько раз ходил в две школы. Обучение в них не развернулось. На уроке русского языка известный в районе своей дисциплинной жесткостью учитель из 58 школы по прозвищу "Усач" экспрессивно декламировал перед полным классом самые патриотические места "Руслана и Людмилы" – "смирись, покорствуй Русской силе" – говорит Руслан и повергает в прах злобного Карлу. (Ответственно заявляю, что это был единственный политизированный урок, который я могу вспомнить за всю мою школьную жизнь). В другой школе застенчивая учительница объясняла, что покуда ничего определённого нет, будем учить географию (физическую) по старому учебнику. Но всё это скоропостижно закончилось.

С едой летом было ещё сносно. У нас был огородный участок на Западном, там выросло немного кукурузы. Кое-что продавали и меняли. Настоящий хлеб как институт исчез. Для того чтобы печь пышки из подручного зерна, появился большой ассортимент ручных мельниц различной кустарной конструкции. У нас была сделанная из двух тяжелых зазубренных горизонтальных дисков, в регулируемое пространство между которыми сыпалось через жестяной конус то или иное зерно. Крутить было очень тяжело, процесс шел исключительно медленно, помол был грубейший, кукуруза годилась больше всего на популярную жидкую кашу, которую называли мамалыгой.

Откуда брали воду, я ума не приложу. Пока были на Олимпиадовке точно помню, что в пойме Темерника торчала из земли железная труба, из которой можно было наполнить эмалированным ковшиком (такие употребляются до сих пор) ведро, но не два (очередь!). Дело доходило до того, что рассматривался вариант ходить на

ключ, водопадик в начале Ботанического сада. Но там вода была какая-то солоноватая и с привкусом. Как было в Ленггородке – никакой идеи. Помню только, как меня послали стричься в парикмахерскую, и там обнаружилось на голове повыше лба хорошо видимое в зеркале грязное пятно, за что меня там стыдили, что, мол, твоя мать смотрит. В результате к зиме вши одержали полную победу и процветали, равно как и интенсивная борьба с ними посредством прямого механического уничтожения.

По ключевому вопросу относительно зверств оккупантов я, вследствие ограниченности своего опыта и узкого одиннадцатилетнего кругозора, ничего сказать не могу. Первая оккупация была скоротечной, чуть более недели, немцев в нашей округе почти не было. Я специально бегал мимо аптеки на край Дальневосточной улицы (практически за город), чтобы посмотреть на несколько солдат, стоявших возле двух огромных (на мой взгляд) крытых грузовиков. Отец, который по делам грабилки бывал далеко, говорил, что читал немецкое объявление "всем жидам": носить жёлтые звезды, зарегистрироваться ...

Дело еще и в том, что в национальном плане Ростов не Одесса. (Я думаю, что именно поэтому он гораздо менее оригинален и легендарен, плюс, конечно, ещё и потому, что в нём нет моря). А на Темернике вроде бы и вообще не было евреев. Летом в сорок первом, когда я болтался у откоса железнодорожного пути за речкой, там остановился эшелон "выковыриваемых". Около пассажирского вагона гуляла с прутиком маленькая чёрненькая кучерявая девочка, и кто-то сказал, смотри – еврейка. До этого я с таким типом детей не встречался. Я могу вспомнить уже после войны Вилю Айзенберга, пришлого мужа Люси Соколовой – одной из четырёх красавиц нашей части Андреевской улицы<sup>23</sup>. Добавим ещё Игоря Швейцера в нашем классе, Иду Друкер (мою партнёршу на уроках бальных танцев, организованных в женской школе) – вот и весь список, да и то послевоенный.

Должен прибавить, что, несмотря на размытость объекта, генетический пролетарски-маргинальный антисемитизм и в "простом народе", и в его выдвигенцах никогда не потухал, как Олимпийский огонь, а горел всегда. Я это прекрасно могу засвидетельствовать, потому что испытывал его на собственной шкуре. Случалось (этого не было в Жуковке – наверно из-за Веры Ивановны)<sup>24</sup>, что в новых местах меня автоматически, как будто кого-то ждали, зачисляли в евреи, а это скверная ситуация. Например, на углу Андреевской улицы было гнездо молодых пролетариев, которые часто, когда отдыхали, сопровождали мой проход соответствующими выкриками, а иногда и камнями. Когда в 1955 году военный друг отца, инструктор ростовского обкома партии Жора Шевляков водил меня там по кабинетам, вплоть до небезызвестного, опального Юрия Андреевича Жданова<sup>25</sup>, заведовавшего тогда Отделом науки, на предмет утверждения комсомольца на партийную должность ассистента кафедры политической экономии пединститута, он везде представлял меня одинаково: это Марцинкевич, но он не еврей.

Однако к рассказу. Первая оккупация длилась дней десять. Был расстрел заложников за убитого немца, но очень далеко от нашего маленького мира и по диагонали от нас, "в городе", где-то на границе с районом Нахичевани. Об этом я узнал по памятной доске уже после войны. Сейчас есть построенный сравнительно недавно и

<sup>23</sup> Остальные три – её сестра Лина, затем первая жена Никифорова Ира Соборникова, а также менее известная, тоже пришедшая Нина Святковская, гостеприимная мать которой виртуозно играла с нами в подкидного дурака.

<sup>24</sup> Зато в эту категорию моментально попал Петрушевич, беженец из Ленинграда, но он скоро уехал.

<sup>25</sup> На излёте нашего с Галой житья в Ростове в 1960 году Жданов, будучи ректором университета, сделал очень большое, особенно по тем временам, дело, предоставив нам 22-х метровую комнату с двумя большими окнами, центральным отоплением, водопроводом и канализацией на втором этаже освободившегося аспирантского общежития в центре Ростова на ул. Журавлёва.

уже полностью заброшенный мемориал расстрелянным людям. Это уже в нашем направлении на краю моего тогдашнего жизненного пространства, в районе Змеёвской балки (Змеёвки) за Ботаническим садом. Но в моем, повторяю, ограниченном представлении (однако, то же самое говорят все *знакомые мне* прошедшие оккупацию ростовчане) он не ассоциируется ни с чем конкретным: ни со слухом, ни с впечатлением. Номер "Голоса Ростова" от 8 августа 1942 года, в котором, как сейчас пишут в Интернете, было предписание о регистрации и сборе расстрелянных там 12 августа 30 000 евреев, (а также ещё 5 000 пленных, которые копали рвы) в наш двор не попал. Всю эту огромную массу людей надо было откуда-то взять, затем сразу расстрелять или как-то содержать. Какую-то часть должны были бы гнать в данное труднодоступное место по самому прямому пути около нас по Андреевской, или на вокзал к железной дороге, или, возможно, через Нахаловку, с которой у нас, как я отмечал, связи никогда не было, и далее через зоопарк и вброд по топким берегам через Термерничку. Всё это трудно сделать незаметно, тем более не возбудив народной молвы.

Ввиду чувствительности вопроса я ни на чём не настаиваю, просто говорю о своём личном опыте малолетки и о собственных более поздних *не репрезентативных*, случайных расспросах окружающих меня людей. Когда в феврале сорок третьего немцы ушли, то в школьном здании рядом с нашим тогдашним местопребыванием у тётки Зины нашли десять человек наших расстрелянных пленных. Это факт. Войти туда смотреть я побоялся.

Как только началась вторая оккупация, кончилась наша олимпиадовская жизнь. Перешли к бабушке на Собино. Отец был уже в армии, деньги перестали функционировать, да их и не было, так что для домовладелицы держать нас потеряло смысл, а нам, наверное, тоже казалось безопаснее сбиться в кучу, тем более что народу было не много, поскольку тётка Зина малолетним с сыном Вовкой жили у своей свекрови Конкордии, тётки Оли пока не было.

Пока шла тёплая тихая солнечная ростовская осень, непосредственные военные действия отделились на Кавказ, жизнь была как бы по инерции неопределённо выжидательной. В это время объявили приказ о мобилизации лиц такого-то возраста (какого, не помню) на работы в Германию. Сборный пункт был почти напротив нас, у пятого отделения милиции, в котором разместились, естественно, полиция. С утра погода была прекрасная, набралась полная улица народу, все одетые для дальней дороги в самое надёжное из того, что имели. Настроение было взволнованное, но охраны, признаков насилия, даже слёз я не видел. То же самое, только с гармошкой, по свидетельству Никифорова, было и на вокзальной площади.

Здесь уместно вспомнить особенности ростовского словоупотребления того времени: людей, народ, или там солдат – "гонют", "пригнали". Зато в Германию "отправляют". Из знакомых мне людей, помимо Тamarки, забрали Галю – симпатичную, пухленькую, но немного глуховатую родственницу Конкордии. Обе не вернулись. Однако от Гали через месяц пришло письмо с качественной немецкой фотографией (бумага матовая, полукартон, вокруг штриховые завитушки) и сообщением о том, что она живет благополучно, где-то, кажется, на ферме. После войны она подалась во Францию, вышла там замуж, народила очень много детей. Кто-то из Хоренковых туда даже ездил в гости, потом передавали его рассказы об изобилии каких-то необыкновенных колбас и разных других деликатесов у неё в погребе.

Лензавод и железная дорога работали, все станционные пути были забиты разнокалиберными немецкими вагонами, в том числе экзотическими, когда каждое из купе имеет собственную дверь на перрон. Как они справились с разницей в ширине колеи, я не знаю до сих пор. В то же время ни вокзальная площадь, ни станционные пути специально (часовые, заграждения, вышки и т.п.) не охранялись, проход в

город по путям и над путями по обоим мостам через железную дорогу и по вокзальной площади был открыт беспрепятственно.

Через некоторое время мама тоже устроилась на работу в немецкий госпиталь в своём профессиональном качестве лаборанта (фамилия не помешала). Как это произошло, я не знаю, скорее всего, с помощью тёти Оли, у которой были медицинские и другие связи. Госпиталь помещался, по моей теперешней реконструкции, в зданиях областной больницы. Как-то раз я был у неё на работе. Немцы и немки приходили на меня смотреть, слышно было, как в коридоре раздавалось: фрау Вера, фрау Вера! В этом качестве мы получили хлебные карточки, на которые я некоторое время забирал в упомянутом магазине около Дворца хлеб угольно чёрного цвета из зерна сгоревшего элеватора, другого не было. Понятно, что этот эпизод жизни был впоследствии скрываем, и хотя, конечно, соседи знали, никто из людей не сообщил "куда следует". Я же в своих анкетах писал, что находился в немецкой оккупации, но в этот период не работал и не учился, то есть, как вы видели, практически правду.

Когда началось отступление с Кавказа, каждый день к вечеру по Собино от вокзала поднимались немцы в поисках, где бы приткнуться на ночь. У нас были не часто, но случалось. Винтовки сложат и спят на полу. Один раз завалилась группа. Сели за стол посередине комнаты, зажгли картонные плашки с парафином, достали выпивку и закуску. Мы тихо жмёмся по углам в этой жутковатой колеблющейся чёрно-жёлтой фактически тьме. Они поднимают железные кружки и что-то говорят, естественно, по немецки, только запомнил как провозглашают: "шискаена капут!". "Капут" понятно, но что это за "шискаена"? Только через много лет, когда стал интересоваться польским языком, понял – это "вшистка едно" – то есть всё равно капут! Это напоминает эпизод с Гурченко, которую пожилой немец-солдат гладил по голове и называл "шаушпиллер" за её пение. Только потом, уже в ГДР на кинофестивале, она услышала это слово и спросила. Оказалось – артистка.

Однажды были красномордые наглые русские в немецкой форме. Один прибежал, локтем прижимает огромный батон варёной колбасы (как была потом знаменитая по 2-20). Немцы иногда что-то давали символически – кусок хлеба, пару леденцов. А эти как будто бы подчёркнуто презрительно не видели окружающих. Думал впоследствии, что это власовцы, но оказалось, что их тогда ещё не было. Это вспомогательные войска "хиви", набранные из военнопленных, обиженных крестьян и тому подобных людей. Такой же тип представлял высокий мрачный вооружённый казак в старорежимной форме, который стоял зачем-то с осёдланными верховыми лошадьми около Дворца. Там был асфальт, мы вокруг катались на самодельных подшипниковых самокатах<sup>26</sup>, лошади пугались, он угрожал стегануть нас нагайкой.

Эти понятные разновидности ненависти к дармоедам-городским в то время встречались часто. Ещё были комично высокомерные калмыки, на своих плюющихся высокомерных верблюдах, отступавшие вместе с немцами. А в эшелоне, когда мы без паровоза и связи с остальным миром в пронизывающе ветреном, холодно-солнечном марте 1943го стояли целый день посреди голой степи между Тихорецкой и Сальском по пути в Песчанокоскую, в углу одной из теплушек криком ругалась баба, что всех городских надо уморить как захребетников, а мы, то есть крестьяне деревенские, всё, что надо для себя можем сделать сами – и хлеб, и одежду, и обувь...

Для приготовления пищи и обогрева собирали на путях паровозный уголь, добывали доски, изредка топили печь, которая располагалась в темном закутке за

<sup>26</sup> Самокатостроительство как эпидемия распространилась среди пацанов в Ленгородке. Материалами служили шариковые подшипники разных размеров, добытые в ассортименте на заводе во время грабильки, доски, гвозди и толстая железная проволока. Я собственными руками сделал очень неплохой экземпляр с поворотным рулём, могу воспроизвести чертёж.



комнатой. Раньше это была часть большой кухни, окнами выходящей во двор. К тому времени основная часть её отошла к соседям, от которых отделяла тонкая перегородка. Но в комнате была кафельная стена, которая успевала немного нагреться. Я садился на свой сундук спиной к кафелю и блаженствовал. Однако вскоре понял, что этого нельзя делать, поскольку происходило своеобразное привыкание (сейчас напращивается как к наркотику), после чего холод в комнате становился невыносимым, настолько невыносимым, что нашлись силы перебороть соблазн и отказаться от кайфа.

Зимой было много свободного времени. Холодно, слякоть, идти некуда и не в чем. Темнеет быстро, электричества нет, керосина почти нет. Освещение (на многие годы вперёд) – коптилка – пузырёк с фитильком, продетым сквозь жестяной кружок. Есть хочется невыносимо. Везде чешется. Днём было интересно просто смотреть в окно. Там всё время было движение – солдаты, пацаны, люди знакомые, кто-то едет, что-то несут. Ходил к соседу Виталию Яшину, у него научился самодельной стратегической настольной игре с вырезанными из бумаги танками, пушками и т.п. Читал "Фрегат Палладу", причём выборочно. Книга скучная, но своеобразная, там в деталях перечисляются разные деликатесы, которые они ели в портовых ресторанах разных городов мира – в том числе Кейптауне, Сингапуре, Гонконге и других. Интерес к этим пассажирам в тех условиях был жгучий, конечно, совсем иной, чем мог бы представить себе Гончаров.

Именно в это холодное тягучее время в первый раз дало о себе знать одно мне до сих пор интересное, загадочное, несомненно врождённое и несомненно индивидуалистическое свойство – ни на что вокруг не похожее чувство наивной, и (можно смеяться), как бы личной исторической ответственности. Я понял, что немцы очень скоро уйдут, а вместе с ними перевернётся важная, редчайшая, исключительная страница жизни здешних мест. И меня возникло беспокойство, потребность что-то делать, чтобы эти картины не пропали, не стёрлись навсегда. Как бы отгородившись от существования других людей, я начал поспешно зарисовывать на обрывках бумаги, пустых страницах старых тетрадей "скалозубовские" *форменные отлички* и различные атрибуты немецкого воинства. Не важно, что эти артефакты пропали, важно, что они были. Второй раз я почувствовал аналогичное беспокойство уже через много лет, на излёте оттепели шестидесятых годов, в период ретроградного курса на выхолащивание и забвение хрущёвских обличений преступлений периода культа личности. Стало наивным, конечно, но подлинным облегчением увидеть в американских библиотеках шеренги книг, надёжно хранящих эти исторические сведения...

В январе сорок третьего поехали мимо окон вниз на вокзал румынские части. Лошадёнки, повозки цыганские, до половины с брезентовыми будками, бараньи шапки, кнутом погоняют. Деревня деревней. Пошёл слух, что у ихнего, де, короля был договор с немцами, воевать до сорок третьего года, и теперь они домой едут. От румын была одна вполне конкретная польза. У них имелись большие чёрные четырёхугольные прессованные плиты из макухи, которой они кормили лошадей. Макуха – это, кто не знает, жмых от семечек после приготовления постного масла. Иногда она бывает желтоватой и съедобной, но не у тех румын. Там было, казалось, половина земли. Так эту макуху жители выменивали и питались. В частности, у нас (когда уже после разбомбления жили у Хоренковых) пекли из неё в печном коробе такие небольшие типа булочки, чёрненькие с зеленовато-коричневым оттенком, для красоты с гребешком. На железном листе их много помещалось. Протискиваешься так небрежно мимо того места, где они остывают, незаметно подцепишь один, тайно съешь...

Примерно с начала января 1943 года начались регулярные воздушные налёты наших самолётов на Ростов. Тогда никому и в голову не приходило считать это странным, диким, тем более неприемлемым: авиация или артиллерия попадают по мирному населению, да ещё по своему собственному. Другого не представляли. А что ещё прикажете делать? Война. Прилетали вечером затемно, развешивали осветительные ракеты на парашютах с мертвенно жёлтым светом и начинали бросать бомбы в район вокзала. Немецкие скорострельные зенитные пушки неистовствовали, казалось они бьют со всех сторон. Тем не менее, ни один наш самолёт над Ленгородком, включая вокзал, не был сбит за почти месяц таких интенсивных налётов и, насколько я знаю, то же было во время немецких налётов в 1943 году.

Наш дом расположен не более чем в 200 метрах (по перпендикуляру) от станционных железнодорожных путей, а чуть дальше вправо – от самого здания вокзала. Поэтому мы очень удивлялись в глубине души (чтоб не сглазить), что бомбы аккуратно ложатся по ту сторону от нас. Были, правда, отдельные промашки, в частности, какие-то особо мощные, их уважительно называли "торпедные", бомбы ударили в дома на границе Красного города сада, упало на Колодезной, Минераловодской и на Андреевской, но это были далеко не ковровые бомбардировки Темерника.

Однако, в один прекрасный вечер, когда я как всегда сидел, сжавшись и переживая грохот, на своём сундуке против окон (печь не топилась) большая бомба упала метрах в шестидесяти, через дом во двор 12 номера. Там плотная застройка, номер 14й стоит к нам впритык. Так тряхнуло, что выбило закрытые внутренние ставни, уши заложило. Я выскочил в дверь и на улицу, там в этом красно-жёлтом свете пылица, на мостовой поперёк рельсов кто-то валяется безжизненно. Рванул назад в ворота и присоединился ко всем, которые, как бывало часто, столпились в глубине двора у флигеля. Почему-то считалось, что там безопаснее всего.

Утром после этой встряски и разрушений мы срочно и без оглядки перебежали на Гниловскую к Хоренковым, где уже жили в двух узеньких проходных комнатах (под углом вокруг закрытого на зиму для теплоты "зала") тётя Зина с Вовкой и другой народ. Через малое время это место стало чем-то вроде прифронтовой полосы. Наши подошли к Дону, началась канонада, снаряды летели туда-сюда через нас, шум был по временам такой, что когда ночью небольшой снаряд (скорей всего это была мина) упал во дворе, я даже не проснулся. Утром смотрели воронку и отбитый глиняный угол дома.

Настроение наше было подавленное, поскольку в такой боевой обстановке было совсем непонятно, как жить, что есть и пить, кроме заканчивающегося снега. Базара нет, выходить опасно. А вдруг такая ситуация затянется на месяцы? Нам крупно повезло, что, несмотря на две оккупации Ростова, сильные бомбардировки и обстрелы обеих воюющих сторон, длительное прифронтовое существование, город избежал масштабных уличных боёв, ситуаций ожесточённой и тем более, продолжительной обороны или штурмов, связанных с наличием мощной водной преграды в виде Дона. Оба раза немцы уходили из города сами, по приказу и под внешней угрозой стратегического окружения. Гораздо хуже дело было в Таганроге, где оккупация продлилась не семь месяцев, а почти два года. Немцы удерживали укреплённые возвышенности Миус-фронта до последнего и ушли из-за отступления на других участках.

Был проблеск, когда наши 7 февраля эскападой перебежали через нерастаивший ещё Дон и захватили вокзал (батальон капитана Мадояна, армянина, которому за это дело дали Героя). Но они попали в окружение и держались, как нам казалось, без шансов. К тому же стали доходить мрачные слухи, что немцы начали подряд жечь в городе дома, называли конкретные места. Вот в такой обстановке и по нашей улице из дома в дом стала ходить команда немцев; зашли к нам, посмотрели –

полно народу, женщины, дети. Молча вышли и на входной двери нарисовали мелом крест. А в соседних домах по-разному – где крест, где нет. И вот мы все вылезли во двор и смотрим на этот крест – что означает, стереть, нет? Может это капут, а может – охранный христианский знак? Так и не помню, что решили, обошлось без последствий, кроме переживаний<sup>27</sup>...

Такая жизнь продолжалась до 13 февраля. В этот день утром к нам зашёл немецкий солдат. Без оружия, только штык в ножнах. Посмотрел, повернулся и вышел в коридор. Все вздохнули облегчённо, но только не Конкордия. Она что-то почувствовала и бросилась за ним. Распахнула дверь, а он там как раз напротив, снимает со стены наш уникальный ресурс – связку больших замороженных рыб – плоских толстых чебаков и длинных круглых сул. Незадолго до этого тётя Зина и мама Вера Ивановна под водительством Конкордии ходили по льду вниз по Дону (думаю, что в её родную станицу Елизаветинскую в самом устье у Азовского моря) и там как-то на что-то выменяли этих рыб и привезли на санках<sup>28</sup>. Немец двинулся вон, Конкордия с полновзвучными возгласами вцепилась в него мёртвой хваткой, и так парочкой они поволоклись вдоль по улице, причем немец крепко держал рыбу, лягался и, как мне показалось, размахивал своим кинжалом. На крик кто-то выбежал из соседнего дома и вынес ей какое-то пальтецо, и с тем они скрылись из вида... Время идёт, ни слуху, ни духу...

Вернулась Конкордия часа в три, без рыбы, но весёлая. Она дошла до какого-то немецкого штаба, и там ей сказали – иди тётка домой, пока цела, у нас приказ – сегодня в пять часов отступаем, уходим<sup>29</sup>. И действительно, ровно в пять потянулись обозы – верховые и повозки – крупные немецкие кони, битюги, плотная укладка, резиновые колёса, пошли солдаты. На следующее утро 14 февраля 1943 года я проснулся от крика "Наши, Наши!" и выскочил за ворота. Там посреди улицы на разбитом тающем снегу в размокших валенках, обвисших шинелях и ушанках, с неповторимыми грязными сидорами и длинными винтовками-трёхлинейками за плечами стояли два наших солдатика. Вся остальная армия прошла в другом месте, и я её не увидел.

### **Жуковка – "две зимы и три лета"**

В конце февраля 1943 года мы оказались в положении, когда жить было негде и есть было нечего. В этих обстоятельствах мама с помощью тётки Оли выхлопотала направление Облздравотдела в качестве медработника в относительно благополучный Песчанокопский район Ростовской области. Там нас переправили в Жуковку. Это обычное село, без электричества и радио, хаты под соломой или крыши черепичные, полы земляные, русские печи, нет садов, мало деревьев. Но две школы (начальная и семилетк), медпункт и важная врачиха, у которой для выезда к больным имелась лошадь и двухколёсная тележка - бидарка. Лекарств и прочего, естественно,

<sup>27</sup> ...Это был очень важный для меня и соответственно для звучания этого мемуара момент возможного раздвоения судьбы. Нетрудно представить, что если бы нас сожгли, даже для оставшегося бы в живых пацана вся трактовка событий стала бы гораздо более мрачной и зловещей. Но повезло.

<sup>28</sup> Это был поистине ледовый поход. Места в устье Дона были почти первобытные, протоки, заросли камыша, топи, нерестилища, край рыбаков и непуганых птиц – непроходимые малонаселённые "донские гирла". А для рождённой там цепкой скопидомной Конкордии рыба, наверно, значила больше, чем просто рыба для других людей, что-то вроде естественной опоры выживания.

<sup>29</sup> Фельдмаршал Манштейн в своих воспоминаниях пишет, что только 7 февраля при личной встрече ему удалось убедить Гитлера о целесообразности отхода из Ростова на более выгодные позиции. Это было трудно, поскольку тот всегда болезненно агрессивно реагировал на уступку захваченных территорий и к тому же сильно надеялся на оттепель, которая разморозила бы Дон, превратив его высокий берег у города в естественную линию обороны.

не было. До железной дороги 25 километров. Тогда в селе было целых пять колхозов: "Победа пятилетки", "15 лет Октября", "Заветы Ильича", "Имени Крупской" и "Красный партизан" (этот последний, где на отшибе жили староверы, был самой богатой частью, только там сохранились сады с крупными прекрасными яблоками).

Местность сама по себе – далеко не худший образец бедной степной русской природы (написал – красоты, потом исправил – не было у меня такого впечатления). Река Егорлык изгибается, берега топкие, мелкая, купаться поблизости негде, пойма широченная, кочковатая, оба берега с выраженными пологими буграми. По ним вверх вниз вьется тропинка, по которой мы ходили в школу. Вокруг села (как и везде по области) сохранялись то там, то здесь заросшие места вырубленных в коллективизацию садов. Впоследствии, при Хрущёве все жуковские колхозы объединили в один. Я там был дважды в середине и в конце 50х, когда проводил районную экономическую конференцию в качестве "уполномоченного" обкома партии.

Жуковка была на оккупированной территории, но не пострадала во время войны. Я помню потрясение, когда мы слезли с подводы и вошли в один дом, куда нас временно поставили переночевать, и хозяйка запросто достала большой круглый высоченный каравай белого пшеничного хлеба своей выпечки и стала без всякой помпы резать нам куски с молоком. Никаких рассказов или даже упоминаний о событиях оккупации я не слышал. Кроме того, что муж нашей соседки Ганнўшки был полицаем. Вся его команда убегала на подводе, но в соседнем селе Летник их перехватили и постреляли. Видимых последствий для неё как со стороны власти, так и соседского отношения не было.

Летом каждое утро она уходила в общей группе с чьим стиком на плече в поле на прополку, носила молоко в поставку, просиживала вместе с другими бабами по ночам в комитете содействия подписке на госзайм, словом, всё как у всех. Всё было мне понятно, кроме одного: что там в этом "Комсоде" происходит, каков процесс, если он идёт всю ночь? Любопытство одолевало, спросил. Сидим на лавках, она говорит, дремлем. Он (представитель власти) впереди за столом. Время от времени просыпается, ударяет кулаком по столу и говорит: Давай деньги! И так периодически до утра. А откуда деньги взять, когда их нет и быть не может. В колхозе трудодни - "палочки" или иногда немного зерна, базара в селе нет, нет и покупателей как класса, (начальство и служащие "за так" в колхозе "выпишут"), а до железной дороги, как говорилось, 25 километров. Представим себе: ночь, пыльная ободранная комната, разбитые немые стёкла, кое-как сколоченные скамьи. Коптилка чадит. Дома корова, дети, огород. Утром после дойки и сдачи молока – на работу в поле... получается что-то вроде чевенгуровщины на излёте и в тупике.

Корова была в каждом дворе, естественно, телёнок, куры. Когда летом по вечерам возвращались стада (их в разных концах села было три или четыре) и коровы шли вереницей, уверенно каждая к себе, это представляло солидное зрелище. Однажды коровы нашего стада "обдулись": пастух заснул, они вошли в поле зелёной сочной люцерны, и их стало разносить бочкообразно. Как оказалось, путь к спасению – гонять их беспощадно, чтобы бегали. Это было жуткое дело. Все люди выскочили, мечутся, гоняют хлыстами по буграм над рекой, крик, коровы обезумели, режут, скачут с поднятыми хвостами, из них вырываются газы и прочее. Спасли, однако.

Владение коровой для колхозника влекло за собой государственную обязанность сдавать так называемые поставки – молоко, мясо, яйца, шерсть. Откуда бралась последняя, не знаю, так как овец, как и свиней и даже гусей вроде бы никто не имел. Помню, что соседки каждый день носили молоко на молокозавод в не ближний свет. Телята во дворе не задерживались – все шли в поставку. Но петухи, среди них впоследствии и наш, по утрам пели бесподобно, полнозвучно и на разные голо-

са, со всех сторон, в том числе из-за реки, считаю, что не хуже, чем у Шолохова в "Поднятой целине".

Мать работала в медпункте и даже была на должности фельдшера, но потом всё более стала отвлекаться на фотографическое обслуживание населения. Это, по моему, было гораздо более востребовано, чем врачевание. То ли мало кто болел, то ли быстро выздоравливали, то ли всё равно медицинских средств не было. При всём том мой дружок, сосед и одноклассник Ванька Щербинин, по прозвищу "Пузюта" летом в одночасье умер, сгорел от воспаления лёгких, простудившись во время купания в ледяной воде в каменной ёмкости около артезианского источника<sup>30</sup>. Я переболел малярией. Колотило сильно, бился барабаном о топчан. Принимал недолго жёлтый порошок акрихин. Его передала тётя Оля, которая тогда уже работала в Облздравотделе, вылечился очень скоро. Затем уже на вторую зиму был затяжной плеврит, долго привычно ныло сзади в боку, его как-то перенёс на ногах.

Как я ни стараюсь, очень мало всплывает в памяти, так сказать, сельских картин, бытовых сцен и событий. Как будто вся жизнь состояла из хозяйственной суеты и школы, а вокруг пустынной природы и животных было больше, чем людей. Ни посиделок, ни содержательных разговоров. Была на слуху только одна сиротливая частушка, которую воспроизвожу, потому что она, по-видимому, малоизвестна (не удалось обнаружить в интернете, хотя разнообразные тексты там всплывают легко). Итак: "Девок много, девок много, девок некуда девать. / Скоро лошади подохнут, девок будем запрягать!"

Однажды две необычно нарядные девки демонстративно-прогулочно шли (мы тогда ещё жили в центре) посередине пустой улицы, а бабы из дворов крайне неодобрительно наблюдали, причём, как мне показалось, главный ропот был по поводу того, что шли они именно вызывающе посреди улицы, а не скромно по тропке вдоль дворов. Другой раз в подобию общественного садика напротив магазина Сельпо занимались строевой подготовкой ребята чуть старше нас, но вообще-то далеко ещё не парни. Уже не как мы в школе, а по допризывной линии военкомата. Мы, совсем мелкота, наблюдали за ними через остатки забора, а проходящие мимо взрослые девки подкалывали – эй, а вы, почему вы не в строю?

Брат Герман в Жуковке (как, впрочем, и до этого) не болел и вообще не создавал никаких проблем. Учитывая возраст, это, по-моему, является максимально высокой оценкой его поведения. Я понятия не имею, что он делал, когда я был, например, в школе, а мама на работе. И даже когда я был дома, ничего не помню. Ну, присутствовал он, когда ходили купаться за село "на греблю" или ловить раков. А под конец он пошёл в школу. Я думал, что может быть он и сам расскажет, каково ему было.

Моё участие в его воспитании выразилось с ранних пор в том, что я кричал "опять дудолит", когда он сосал два средние пальца, или ощупывал сзади его штаны, чтобы при необходимости дать соответствующий сигнал маме. Потом мы всё время таскались вместе (есть типичные довоенные фотографии). Когда были с мамой в Кабардинке, где она весной сорокового года работала лаборантом в санатории, мы целыми днями бродили по парку, приносили в судках с кухни суп и котлеты (в том числе манные с киселём). По берегу моря заходили далеко, куда хватал глаз – купаться было холодно. Свою самостоятельность он начал проявлять позже, после войны в Ростове, были даже драки, в которых у него обнаруживался свирепый нрав, но эта полоска быстро и бесследно прошла.

<sup>30</sup> В центре села рядом со скелетом неизвестно когда разрушенной высокой кирпичной мельницы был "Артезан" – скважина, из которой холоднейшая, чистейшая (анализа, естественно, никто не делал) вода постоянно била ключом в длинные почерневшие деревянные корыта для поения скота. Но до неё было далеко. Так, по случаю, проходя мимо, обязательно пили "артезаночку".

*Герман умер 2 мая 2009 года. Я могу сказать, что горе усилилось и тем, что и я, и Гала не так планировали (конечно, подсознательно) будущие годы. Возникла ситуация пустоты, полной и необратимой неожиданности. Герман был неотъемлемой частью нашей жизни. Она была более надёжной и устойчивей уже просто от его существования. Да и чем дальше, тем больше становилось обстоятельств, когда он мог конкретно, быстро, безусловно и безотказно прийти на помощь. Посмотришь вокруг: полки висят – Герман, сетка вокруг балкона – Герман, стенка – с Германом покупали и двигали, печка, забор на даче – Герман, возьмешь инструмент – Герман принёс, ресивер японский починен – Герман...*

*У нас никогда не было конфликтов или обид. Я абсолютно безболезненно признавал справедливость того, что мама Вера Ивановна его отличала за простой и доброжелательный характер и отзывчивость. Тем более что это выразалось в исключительно приемлемой, почти незаметной форме. Всё покоилось на том, что она чувствовала и интуитивно учитывала разность наших характеров. Иногда мама называла его Бедный Герака, чего по отношению ко мне почти не было, но по моей более чёрствоватой и замкнутой натуре мне и не надо было. Единственное, что я нервно переносил, было то, как он всегда бойко и безошибочно угадывал первым самую большую пайку, когда в голодное время какая-нибудь еда строго делилась на части. Наверняка это мне только с голоду казалось, но он весьма гордился этим своим качеством, которое называлось у нас "глазомером".*

*Во взрослом состоянии это сохранилось в том, что когда надо было точно установить какую-нибудь конструкцию, прибить или приклеить что-нибудь, он редко пользовался измерительными инструментами. Вспоминал в таких случаях ответ лесковского героя удивленным англичанам – у нас глаз такой – пристрелявши...*

*Много энергично-безмятежного времени мы провели с ним в одной лодке между небом и волной на просторах Дона, гонялись и с пароходами, гребя нахально впереди у них перед носом под гудки и мегафонные вопли, и на городских соревнованиях в команде спортобщества "Наука". Эти лодки были и длинная академическая парная двойка из красного дерева, которую мы сами отремонтировали, настроили и написали масляной краской название "Виктория", и парная спортивная байдарка, и каноэ, и конечно, остроносая надувная резиновая польская байдарка с великолепными лёгкими вёслами, на которой мы несколько дней шлёпали по пустынной реке вниз до Ростова, ночуя у костра под деревьями между безлюдных берегов. В те времена нам для того, чтобы напиться, достаточно было, даже не наклоняясь просто зачерпнуть прохладную донскую воду рукой.*

*На тренировках заходили далеко за островок Быстрый к Аксаю. Не прочь были элегантно прошивырнуться под тогда свободной стенкой вдоль набережной, как бы не обращая внимания на публику, гуляющую вверх. Повёрнутые вверх неуловимым движением кисти лопасти вёсел пролетают назад в сантиметре от воды, лодка катится, как сама собой или на буксире, тележки сидений ритмично ходят взад-вперёд, подобно маятнику настенных часов. В этой системе Герман неизменно был загребным, то есть человеком, на котором лежала обязанность и ответст-*



венность задавать темп и силу. А я уж синхронизировался и посматривал назад, чтобы не напороться на что-нибудь.

Потом в Москве также вместе ходили осенью-зимой каждую субботу в Сандуны, попеременно занимая затемно по утрам очередь в кассу отделения "первого класса", где не было бассейна, но парная была просторнее и лучше, чем в "высшем".

Он отличался органичной скромностью, никогда не гнался ни за чем, что почитал за излишества (не только в одежде, но и в технических приспособлениях). Это проявлялось совершенно естественно, без жертвенности или надрыва. Он был подобен мигуель-сервантесовскому солдату, постель которого никогда не была тесной, так как только от него самого зависело, сколько отмерить на земле места для ночлега. Я кое-что из этого расценивал как консерватизм, например, требовал, чтоб он купил себе быстрый компьютер. Герман это хладнокровно выслушивал – и не делал. Был человеком бесхитростным в карьерном отношении, за что подвергался критике родственников.

В нем полностью воспроизвелась алексеевско-куренновская педагогическая и воспитательская склонность, которая реализовалась не только с дочерью Леной, но и когда на него в последние годы легла львиная доля забот по воспитанию двоих внуков. Он сам построил дом на даче (при помощи соседей и коллег-инженеров, в принципе по той же схеме, как люди строили дома на окраинах Ростова) и сложил в нём печь.

И на работе, и в садовом сообществе он всегда был в центре доброжелательного взаимодействия и с технарями-работягами, и с "многопатентными" докторами, и с мастерами-умельцами на все руки. Работая в Институте Горного



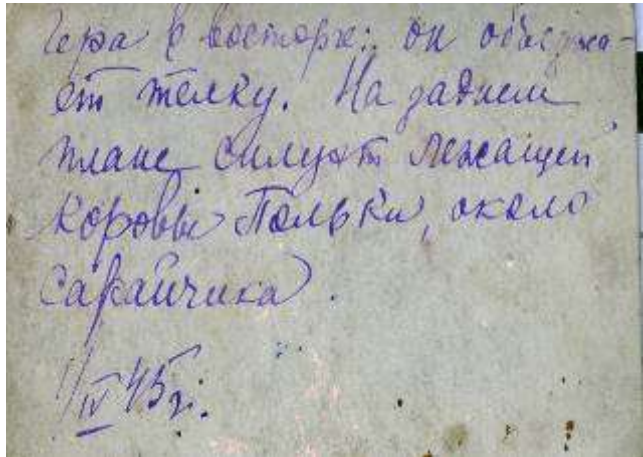
дела, спускался в шахты, был причастен к подготовке секретного подземного атомного взрыва посреди Донбасса. При этом я совершенно уверен, что случись не получить дипломов, он (в отличие от меня) устроился бы в жизни никак не хуже, а скорее лучше, чем произошло фактически.

Мы никогда не обсуждали с ним политические вопросы – абсолютно не было потребности, потому что чувствовали совершенную схожесть в главном. От него я рано услышал великолепное слово "скомуниздить" (такое неподсильно другому языку в мире) и это всё сделало ясным. Теперь всё это прошло...

А задолго до этого была наша адаптация в Жуковке. Несмотря на кардинальную новизну окружающей среды, она заняла на удивление мало времени. Решающую роль сыграли, конечно, поведение и роль мамы Веры Ивановны. В отношении неё я не могу вспомнить ни одного проявления уныния, пессимизма, тем более безнадёжности или паники. Мы с Германом полагались на неё как на каменную гору, хотя ничего экстраординарного, тем более похожего на камень в ней не появилось. Не было ни грана грубости, невежливости, низкопробности, словом, отступления от своего обычного, как всегда, интеллигентного и мягкого стиля поведения. В ней совершенно естественно, без всякого надрыва, как бы неизвестно откуда, проявились резервы приспособляемости, удивительно соразмерные возникающим задачам. Она в той полной мере, как требовала чрезвычайная необходимость, обнаружила и свои деловые способности, и профессиональные качества как медика и как фотографа,

несмотря на то, что я не припомню, чтобы до войны она как-нибудь специально интересовалась тонкостями фото процесса.

Возможно, и с нашей с Германом стороны голод, холод и военные передрыги умерили потребности, подвели к пониманию того, что не время выкобениваться, нужно самим барахтаться в меру сил. До сих пор предметом моей скромной гордости является то, что во время войны и я, и всё семейство только несколько первых месяцев получали хлеб по карточкам, а всё остальное тяжёлое время не висели на шее у государства, жили на собственном обеспечении.



В деревне мне пришлось работать, и работать производительно<sup>31</sup>. Во-первых, это участие в фотографическом процессе. Я помню, как хотелось мучительно выть волком во время, казалось, бесконечного сидения в душной комнате с завешанными окнами и с коптящим красным фонарём, проявляя карточки, которые по одной экспонировала мама, выходя за дверь к свету, через негатив, зажатый в специальном приспособлении – рамке. Теперь-то я понимаю, что это была самая важная моя работа во время войны. И не только потому, что она была источником пропитания нас троих и даже хозяйственного обзаведения (корову-первотёлку купили)<sup>32</sup>. А потому, что наши маленькие (6 на 9) фотографии баб и ребятишек регулярно в течение этих деревенских "двух зим и трех лет" шли в письмах на все фронты отечественной войны. Наверное, эта продукция, несущая несомненный моральный компонент, была общественно необходимой и, может быть, особенно ценной. Бременем для населения мы не были. О том, чтобы брать деньги, вопроса не возникало, их ни у кого всё равно не было, а натура – молоко в разных видах, а также яйца, крупа, картошка и т.п. – была у всех.

Во-вторых, огород. В первый год мы потерпели на этом фронте полное фиаско, потому что подходили к делу ещё по-городски. Почти не было опыта, да и времени на разбег. Первый, "казённый", дом в центре, где мы жили, имел деревянный пол и такую колхозную роскошь, как низенький штакетниковый палисадник, но был с проходным двором и неудобным участком<sup>33</sup>. Но уже осенью нас переселили в другую, почему-то пустовавшую, бедноватую и запущенную хату (коридорчик с ямой-погребом, насестом для кур и открытым доступом на чердак, "кухня" с русской печью слева, плитой прямо и хлипко вмазанным в глиняную стену окошком без ставень справа; далее – "зал" с двумя такими же окошками на улицу (на зиму закрывается для теплоты). Пол, естественно, земляной, как у всех, крыша – "под соломой". За домом маленький сарайчик впоследствии для коровы, но сначала также доступный и для кур. Зато я получил громадный, длинный и широкий участок, разделённый вдоль дорожкой посередине (его можно посмотреть в Фотоприложении на

<sup>31</sup> И это притом, что в Жуковке не практиковалось привлекать школьников на колхозные работы, тем более "собирать колоски". Бабы как-то сами в поле и на фермах справлялись, а мои сверстники (5-6 класс) работали дома по хозяйству, и учёба в школе зимой и летом шла непрерывно.

<sup>32</sup> Наш статус служащих освобождал от госпоставок. Зарплата (250 рублей, есть справка), какой бы малой она ни была (буханка чёрного хлеба стоила на базаре 400), давала ощутимое преимущество.

<sup>33</sup> В конце 50х, будучи в командировке, я ночевал в этом доме в гостях у бывшей одноклассницы Моти, жены какого-то там должностного лица. Рассматривал Егорлык, полноводный после прорытия канала, но почему-то мало что осталось в памяти от этой поездки, всё время был занят.



снимке из Гугл-планеты; там ничего не изменилось кроме самого дома и сарая). Причём землю можно было просто глубоко взрыхлить тяпкой, а не вскапывать лопатой (этого я бы не потянул). Она была окультуренная, чёрная, жирная и отдохнувшая за период отсутствия хозяев.

Пожалуй, самое главное было в том, что кругом на своих огородах были бабы, которые всегда могли помочь, показать и рассказать. Можно было просто копировать все приёмы и операции, среди которых на первом месте была виртуозная работа с тяпкой, прополка, прорывка<sup>34</sup>, прополка, подпушка после каждого дождя для сохранения драгоценной влаги, прополка и прополка.

Скоро и властно пришли крестьянские инстинкты и смешались с городскими. Наполнились смыслом поговорки (типа *май холодный – год хлебородный*), узналось жгучее ожидание дождя или лучше немое прошение о нём у безжалостно безоблачного неба. Было острое ощущение стопроцентной зависимости от этого проявления сил природы. Вот не будет дождя, выгорят огороды, трава и поля – и ни мама, ни соседи не смогут что-либо изменить. Всем нам вокруг, включая скот, будет одинаковый капут или "кранты", голодная смерть. По своей эмоциональной окраске это состояние похоже на безнадежную атмосферу платоновского Ювенильного моря, за вычетом обречённых фантазий по поводу технического прогресса. О том, что есть государство, власть, начальство, даже и мысли не было, как на паруснике или острове посреди непригодной для питья океанской воды. Отголоском городской неуверенности из-за первопрородческой новизны ситуации были переживания за корову – не мокро ей там лежать, не холодно ли, сколько корму дать, хватит ли его до весны...

А наряду с этим накатывались и становились обыденными невообразимые совсем недавно площади весенней сельскохозяйственной экспансии. Сажал кукурузу, картошку, гарбузы (тыквы), подсолнухи, горох, фасоль (квасолю), меньше арбузы, дыни. Для бахчи нам, как и всем колхозникам, выделили участок земли за селом в поле. Всё шло прекрасно, мы тяпали и не нарадовались на обилие растущих как на дрожжах плодов... Но не учли одну деталь – наша полоска оказалась крайней у дороги. В итоге проезжающие снесли всё. У всех было, а у нас – шиш.

Кукуруза вымахивала как тропический лес далеко выше моего роста. С картошкой было похуже (климат у нас не тот, жарко и главное сухо для неё), но все же кое-что было. Сорок третий год, как я говорил, был провальным, сорок четвёртый – нормальным, а сорок пятый – исключительно благоприятным. Когда в августе демобилизовали отца и мы собрались назад в Ростов, пришлось договариваться о грузовике, чтобы довести до Сальска к поезду мою сельскохозяйственную продукцию.

В-третьих, корова и куры. В нашем разделении труда мама была дояркой, а я – скотником. Это должность для того, кто заготавливает корма, поит и кормит коров, отводит жижу, меняет подстилку, выгребаёт навоз и складывает его в кучу для дальнейшего использования либо в качестве удобрения, либо на переработку в смеси с порубленной соломой на топливо в виде формованных кирпичей-кизексов. С определённой гордостью должен сказать, что мама этими делами специально не занималась. Только иногда попутно и, конечно, она обеспечивала организацию и внешнюю помощь. Сено я косил, благо просторы были обширные и свободные, научился быстро, складывал в копны, а потом с помощью соседей в стог позади хаты, солому, тоже

<sup>34</sup> Это делается для того, чтобы оставить в каждой лунке одно-два растения, иначе они заглушат друг друга. Когда в конце сороковых мошенник Лысенко выступил со своей теорией отсутствия внутривидовой борьбы и даже наличия взаимопомощи, меня распирало от возмущения, это не укладывалось в голову. Тогда была дискуссия в "Литературной газете" по этим вопросам. И мы также организовали в третьей и первой (женская) школах совместный диспут (тогда даже был предмет и учебник "Основы дарвинизма"). Я выступил с основным докладом за Чарльза Дарвина, а хитрый Никифоров, у которого содокладчицей была Татьяна Соболева, защищали проходимца.

стог, привезли с поля, кукурузные стебли с листьями (коровы их любят), сложенные осенью в штабель, выросли в большом количестве на огороде. В результате наша сиротская хата, окружённая возделанным огородом, со всеми необходимыми хозяйственными обзаведениями и со вполне джентльменским набором живности, стала неотличимой от соседских домов.

Сейчас не помню, откуда у нас сразу образовался полный набор крестьянского инвентаря. Причём все лопаты, тяпки, вилы, коса, а также такие экзотические вещи как дергач – длинный железный стержень со стреловидным крючком для выдёргивания сена из стога (от этого стог постепенно приседает до полного исчезновения к весне) или налыгач, (веревка с аккуратной петлёй для надевания на один рог коровы, чтобы затем подвернуть её вокруг другого) – всё это было отполировано годами долгого употребления. По-видимому, работников в военном селе очень сильно побавилось, вот и образовались свободные орудия труда.

В отношении кур, конечно, с одной стороны, было легче, а с другой, – проб, ошибок и психологической возни было больше. К тому же проблемы у нас с ними были, кажется, только в первый год при запуске системы. Цыплят ведь тогда не покупали. Трудность была найти у людей квочку, посадить её на яйца и переживать, дотерпит ли она 21 день до цыплят. Парочку приносили таких, которые квохтали, ходили кругами, но добросовестно сидеть не хотели. Так как они под этим предлогом переставали нестись, для них был рецепт – по нынешнему, это стресс, а тогда называлось "купать" окунанием в ведро с холодной водой, после чего курица-симулянтка забывала свои материнские поползновения. Потом этой мелкой суеты я никак не помню. Только яйца собирали то в сарае, то на чердаке, то ещё где.

Летом сорок третьего, когда и развертывалась куриная эпопея, приехала бабушка, Мария Петровна. Как раз при ней и вывелись 9 цыплят, Для третьей попытки нам принесли специальную, заслуженную старуху-курицу, к тому же одноглазую, но она справилась. Правда, нервотрёпка была, да и яиц под неё клали не 9, а штук 20. Цыплята быстро росли и получили прозвища соответственно своему поведению. Так, пёстренькую аккуратную курочку бабушка назвала Институткой, а белую длинноногую – Побегулей.

Пробыла бабушка у нас не долго, для неё оказалось тяжело, в частности, потому, что и мы ещё не вошли в трудовой ритм, наверно плохо ей помогали. Помню, как она возилась с приготовлением обеда во дворе на печке, которая не хотела гореть, а когда горела, на ней ничего не закипало из-за того, что задувал ветер, а топливо было примитивное, прошлогодняя трава, сухие коровьи лепёшки. Что это дело жуткое, я хорошо прочувствовал очень скоро по собственному опыту. После того как граблями на буграх над Егорлыком наскребешь охапки сухого колючего курая, а потом с ведром порыскаешь там же за доброкачественными сухими, но не трухлявыми коровьими лепехами, оказывается, что всё это сгорает в плите моментально, как порох, а надо и кашу сварить, и чайник вскипятить... И главное, что остро пришло первой холодающей осенью – сознание того, что всё это не на один раз, а на весь обозримый период, как бы даже на всю оставшуюся жизнь. Потом как-то быстро приладились, кизяки пошли в ход, часто топили зимой русскую печь и блаженствовали на ней на грани страдания, отпекая бока и спину после дневного прозябания на холоде и ветре в пальтишках на рыбьем меху.

Мама Вера Ивановна весьма высоко оценивала мои сельскохозяйственные заслуги, о чём можно судить не по её письмам, я их не читал, а по ответам отца, который их комментировал и был очень доволен моим поведением. (По крайней мере одно такое письмо сохранилось). Для подведения итога я прошу вернуться немного назад и оценить настроение всех участников сюжета, представленного выше на карточке тех времён, включая фотографа и автора "текстовки" на обороте – Веру Ива-

новну. На снимке – месяц до Победы, ранняя весна 1945 года. Пасмурно, но облака греют. Уже не март, когда степь только что из-под снега, беспощадно холодна, с ледяным ветром и марсиански фиолетовым солнцем. И хотя вместо стогов сена и соломы почти голое место, вокруг ещё запустение, тем не менее, мы все, люди и животные – победители. Мы, не перестав быть городскими, полноправно и естественно вписались в это жизненное окружение.

Когда уезжали в Ростов, корову Польку и тёлку Рону (появилась на свет уже у нас и названа в честь французской реки) продали, обеих в отличном состоянии (можно судить по фотографии), за сколько, не знаю, но денег на обзаведение, несомненно, прибавилось. Может быть из них родители купили маленький кабинетный рояль Беккер, который занял львиную часть нашей первой примитивной ростовской жилплощади, а во вторую "квартиру" попросту не влез. Я к тому времени уже уехал в Москву, но бедному Герману всё же пришлось учиться на более компактной скрипке. Даже удивительно, что в таких условиях мы не стали музыкантами.

И, наконец, в-четвёртых, школа. Школа находилась в трех кирпичных домиках, стоявших в ряд высоко "на том боку" за широкой поймой Егорлыка, довольно далеко от хаты направо. Зимой переходили по льду. Я даже сделал себе коньки – деревянные чурочки с пазами для привязных верёвок и с толстой проволокой в качестве полозьев. Бегал на них по льду в школу, объезжая полыньи и просто тонкий лёд. В остальное время шли через мост – это добавочный крюк под два километра. Плохо было то, что обуви не было. Одежды, правда, тоже – что на тебе, это почти всё.

Мать ездила в Ростов, кое-что туда возила, покупала там главным образом фотоматериалы, но однажды привезла мне новенькие жёлто-коричневые, блестящие английские солдатские ботинки. Было трудно оторваться: мы любовались ими со всех сторон, как произведениями искусства. Но за пару месяцев зимой они неожиданно развалились в прах, и я перешёл назад на "бурки" (типа сапог из стёганой материи на вате). До этого были резиновые ботики на босу ногу. Всё более или менее тёплое время года ходили босиком. Подошвы и пальцы задубевали. Из всех колючек страшны были только произрастающие на огороде и вокруг него так называемые "арбузики" – круглые образования, напоминавшие рогатую морскую мину, на стелящемся растении с мелкими папоротникообразными листьями. Этого врага я выпалывал с настоящей ненавистью.

Никаких промтоваров не было как класса. Наша учительница по русскому – тихая маленькая женщина, добрая, старательная, подобрала нам для исполнения в порядке художественной самодеятельности частушку о том, как некто Машка приехала с подарками из деревни в город "на Ванятку поглядеть". И вот мы разучиваем: "привезла тебе я, Ванька, лаптёшки новые совсем". В следующих куплетах фигурируют портянки и ещё вещи в том же духе. А Ванятка в ответ поёт: "что ты, Машка, о-ду-ре-ла, лаптёшки буду я носить, когда в любом я магазине могу боти-но-чки купить!". И дальше шло носки себе могу купить, костюм могу и тому подобное. Так вот мы на каждый этот куплет про любой магазин реагировали диким ржанием как на невозможно нелепое чудо, а она с какой-то смущённой виноватой улыбкой оправдывалась, говорила – было так, правда, было...

Некоторое разнообразие наступило под конец войны, когда отец стал присылать посылки "трофеев" из завоёванных стран – Венгрии, Польши, (он закончил войну в Праге), с добытыми там невыразимыми тряпками, клетчатыми штанами нелепых фасонов и размеров, кусками симпатичной цветастой вязкой материи, карандашами и авторучками (которые не писали). За этими разрешёнными тогда солдатскими посылками Вера Ивановна не один раз рано утром отправлялась в рай-

центр "Песчанку" пешком, а вечером возвращалась. Это туда и обратно два по двадцать пять, ровно пятьдесят километров – вполне *суворовский переход*<sup>35</sup>.

Библиотеки в селе, так же как и печатной продукции у населения в хатах, и духу не было. За войну до Жуковки дошла одна новенькая книга в коричневой бумажной обложке, "Горе от ума" Грибоедова, напечатанная Ростиздатом. Несколько экземпляров попало в школу. Так мы на них вместо тетрадей чернилами делали упражнения и решали задачи. Правда, некоторое время я получал "Пионерскую правду" – на село была выделена подписка, а больше никого не нашлось. Даже в школе не было. Других газет тоже не было. Ещё помню, откуда-то попал сборник без переплёта "Русские писатели о немцах". Там был Салтыков-Щедрин о мальчишке в штанах и мальчишке без штанов, Некрасов, как крестьяне закопали бездушно-свирепого немца-управляющего, и ещё кое-что в этом духе. Запомнилась фраза теперь уже неизвестно откуда: "был у меня приятель, по имени Шварцкопф, по ремеслу барон"...

Много времени в учебном процессе занимало военное дело. Руководил демобилизованный инвалид с простреленным лёгким. Работали штыком: Длинным коли! Коротким коли! Через кочки на берегу Егорлыка ползали по-пластунски, окапывались и ходили в атаку перебежками по двое, начиная с флангов. Читали уставы. Ну и, конечно, знаменитая русская трехлинейная винтовка конструкции капитана Мосина образца 1891го дробь 30го года, сборка-разборка, затвор – стебель, гребень, рукоятка, боёк, ударник, нарезка ствола "слева – вверх – направо" и т.д. Был экзамен на серьёзе, с многовопросными билетами, причем сдавали коллективно (взаимовыручка), группами по 4 человека. Зато туалета в школе, как впрочем везде, не было. Под откосом находилась для этого заросшая травой канава. На перемене обязательно кто-нибудь из учащихся громогласно провозглашал: Денис, под низ! Или Максим, пос...ым!

И всё-таки, несмотря на оккупацию, я не потерял учебный год, как например оставшийся в Ростове Игорь Никифоров. Повезло, что в 1943м в Жуковской школе вместо каникул учительницы (спасибо им) организовали летние занятия за четвёртый класс, затем прошёл полноценно (по военно-деревенским нормам) пятый и шестой. Так что в Ростове я вполне законно явился в седьмой класс железнодорожной школы №3. (В Ленгородке многое было железнодорожным, даже административный район города называется не по имени вождей Кировским, Орджоникидзеvским, Андреевским и т.п., как другие, а просто – Железнодорожным). Естественно, в Жуковке я был отличником вне конкуренции. Но за первую же письменную работу по русскому схлопотал более чем заслуженную тройку, по математике дела были ещё хуже, а английский они "проходили" уже два года...

### **Фотоприложение к первой части**

Появление петроградца Иосифа Викентьевича Марцинкевича в Ростове и дальнейшее развитие событий, несомненно, представляет собой результат Октябрьского переворота и установления Советской власти. В условиях нормальной жизни такое бы произошло вряд ли. (Хотя чем чёрт не шутит, был же описанный выше случай в Новочеркасске с путешествующим Иваном Алексеевым!) Кроме географии здесь играет свою роль и разное социальное окружение. Разве что только чисто умозрительно мог бы помочь "социальный рывок" отца. Благодаря Февральской революции, он вышел в офицеры, закончив за три недели до 25 октября 1917 года "Школу прапорщиков пехоты Западного фронта". На выпускном снимке он сидит первый справа в четвертом полувзводе, непринужденно засунув руки в карманы.

<sup>35</sup> А.Красницкий, автор книги о "русском чудо-вожде, графе Рымникском, князе Италийском", свидетельствует, что дневной форсированный марш войск под руководством Суворова составлял 30-40 верст. Если 50 и было, то редко. При этом солдаты шли по возможности максимально налегке.

На фотографии ориентировочно 1934 - 35 года изображены погибшая в ленинградскую блокаду бабушка Марцинкевич (Пелагея Фёдоровна в российском обиходе или Апполинария Флориановна по своим польским корням) со своими взрослыми детьми и с маленьким внуком Эдуардом Робертовичем.



Её сын Станислав сидит слева, рядом его дети—Виктор, и дочь Стася (умерла только что в январе 2009 года в возрасте 85 лет). Иосиф (Юзик) сидит со мной на коленях справа, вверху Роберт. Все три брата с жёнами. Все от разных отцов. Из них предположительно наш, якобы некто высокомерный, не очень приветливый Хмызовский. К нему мать посылала маленького Юзика по праздникам, в надежде получить что-нибудь в подарок. Они жили в центре Петербурга, на улице Софийской в доме, кажется, через двое ворот от улицы (фотографии были, но пока не найдены).

На семейной фотографии из ателье самого начала века, помещённой ранее — на странице 7, запечатлены мой дед Иван Алексеев, бабушка Мария Петровна и четверо детей первого поколения. Из 11 её детей двое умерли в младенчестве. Из ребят, которые сняты на том фото, никто не пережил гражданскую войну



Седьмой класс железнодорожной школы №3. "Феодосия" сидит рядом с Директором, далее Серафима Александровна – русский язык и я. Выше меня по диагонали Коровин, Кондаков, Майоров, один из двоих в галстуках – Игорь Никифоров, второй – математик Георгий Фёдорович, в третьем ряду слева стоит Игорь Швейцер.



Отец  
и Герман,  
студентом  
физмата  
РГУ

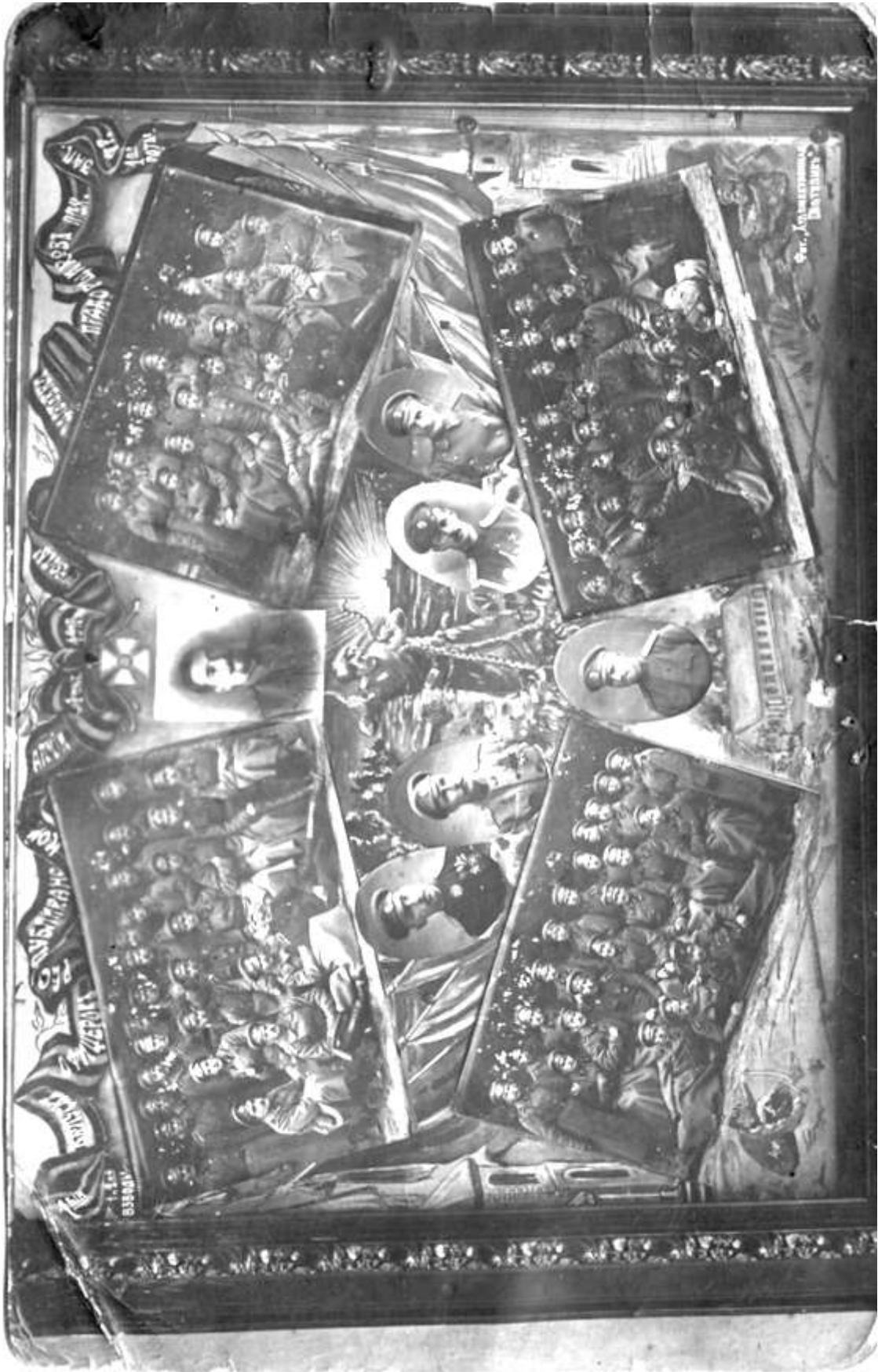


Справа – Юзик, октябрь 1917, ему 21 год, первый офицерский чин.



Вера Ивановна в 1925году,  
и сразу после войны .





Выпускная фотография офицерской школы, наверху можно прочитать надпись и дату: 1 октября 1917 года.



Дворовые жители Шурка, Тамарка, Вовка.

Вера, Юзик, Зина , Оля



Ольга, Вера, Клавдия, Зинаида Алексеевы и тётя Варюша Куреннова.



Я и Герман. За нами в углу двора – калитка на Степок.



Шурка, Вовка, Валька Будрик и я.



Здесь кроме нас жена Германа Алла со своей матерью Ольгой Андреевной.



Это Герман



Ира, Алла, Ольга Андреевна, Герман, его дочь Лена, Вера Ивановна, Оксана, тётя Клава, и дед Юзик.

Дворовый Вовка и я на границе Олимпиадовки и Ленгородка на фоне трамвая "пятёрки".



Пианино  
"Карл Мартвелл" на Бур-  
ном спуске, в доме №5.



Темерничка – наша стихия. Среди других Тамарка, Шурка и я переходим вброд...

Это на 150-200 метров выше будущего места боя взвода Павлова, директора нашей школы, в ноябре 1941 года с головорезами германского спецотряда "Бранденбург".





Дядя Толя, Алексеев Анатолий Иванович (1912-1941). Последний из Алексеевых.

Это перевод немецкой учётной карточки дяди Толи (её фотокопия помещена далее).

**Лагерь военнопленных Аушвиц  
(Kriegsgefangenlager)**

**Gef. № 3574**

*(1-я колонка)*

**Фамилия:** Алексеев (ALEKSJEJEW)

**Имя:** Анатолий

**Дата рождения:** 25.9.1912 **В:** Ростов

**Профессия:** слесарь

**Воинское звание:** солдат

**Религия:** православная

**Государство:** СССР

**Семейное положение:** холост

**Место проживания:** Ростов, Ленгородок, Собино 16

**Имена родителей:** Иван и Мария, урожденная Куреннова

**Имя ближайшего родственника:** мать

**Адрес:**

**Личное описание**

**Рост:** 169.5

**Телосложение:** худощавый

**Зубы:** двух не хватает.

**Особые приметы:** нет

**Нос:** прямой

**Рот:** нормальный

**Уши:** - прилегают

**Язык:** русский

**Волосы:** коричневые

**Борода:** нет

**Глаза:** серые

*(2я колонка)*

**Военная часть:** 666 Арт. полк, Стародуб

**Бывшая партийная принадлежность:** нет

**Судимость:** 1 раз во время Революции, 8 л.

**Взятие в плен:** где: - **Когда:** 2.8.41

**Откуда:** Шталаг 308 **Kenn-№** 31.828

**Доставлен:** 8.10.41

**Освобожден:**

**Перевезен:**

**Скончался:** 4.11.41 Сердечная недостаточность

**Отпечатки пальцев**



Портреты отца, сделанные профессионалами из Молота.



Вера Ивановна



Юзик 1944-5 год

Демонстрация 1 мая на Театральной площади. Все в головных уборах, а Соколову не теплее, чем всем, но в его гардеробе просто нет пиджака. Слева рядом со мной Снопов (Саша-дуб), справа на краю – Спасский, в середине Дименко (легкомысленный Димаца сбил шеренгу с ноги).

Обратите внимание на ширину штанов. Узкобрючных стилиг среди нас нет.







Тётя Клава и мой Беккер  
Ира Добротина, дочь тёти Кла-  
вы, моя сестра.



Бабушка Мария Петров-  
на (отметьте скверное перо и  
мерзкую бумагу, и как было  
неудобно, а может быть и хо-  
лодно подписывать это удосто-  
верение).\_





Герман



Мой двоюродный брат, москвич Юрий Добротин.





Это групповой портрет, снятый в фотоателье Саранска, о нём упомянуто в разделе Олимпиадовка и Ленгородок. Юзик Марцинкевич слева в светлом.

Мой двоюродный брат Владимир Хоренков, сын дяди Феди и тёти Зины, отец племянника Сергея.





Школьный аттестат Веры Ивановны.

Документ двадцатых годов, выданный Институтом охраны материнства и младенчества.



## ИСТОРИЯ ТАГАНРОГСКОЙ АТАКИ МОРЯКОВ 8 МАРТА 1942 ГОДА.

*Это уникальный по замыслу, информативности и достоверности документ – рассказы детей 1942 года об одном дне упомянутого в мемуаре подразделения, стоявшего в школе напротив нашего дома несколько дней до рокового отправления на Миус-фронт*

**...всё глубже окунаясь в события, происходившие там, где мы живём, мы ощутили свою сопричастность к ним.**  
*Авторы отрывка – выпускники средней школы села Матвеев Курган (на полпути между Ростовом и Таганрогом) –  
Максим Столбовский и Василий Хруцкий.  
(www.regnum.ru/mywar/victory/stolbovsky-hrucky.html).*

На той самой решающей высоте 105,7 метра, или как её зовут у нас, Волковой горе, сегодня стоит памятник. Его видят все издалека. Это якорь высотой 8 метров. Нас всегда интересовало, почему он там находится? Ведь море не близко. Став старше, мы услышали в школе о трагических событиях, произошедших 8 марта 1942 года, но больше нам рассказывали о героизме моряков, штурмовавших эту высоту, чем о подробностях, связанных с гибелью, мы считаем, напрасной, тысяч людей.

И вот мы спросили очевидцев, которые имели возможность наблюдать за атакой, изучили материалы печати, прочитали воспоминания военных. Но, как и прежде, мы смотрим на эти события глазами не военных, а мирных жителей, людей, живших здесь в это время. Может быть, взгляд немного однобокий, может, существовали какие-то оправдания массовой гибели лучших войск, может, профессиональные военные имеют другой взгляд. Но история этой атаки нас взволновала, не прошла она бесследно и для тех, кто в детстве наблюдал за гибелью моряков.

Мы приводим **свидетельства детей**, видевших эту атаку. Вспоминает Надежда Ивановна Панченко: *«У нас стоял в доме штаб, ко мне хорошо офицеры относились, даже учили стрелять из пистолета. На чердаке сделали наблюдательный пункт – далеко вато от окопов, правда? Оттуда смотрели в бинокль на атаки. Мне тоже давали в бинокль посмотреть. 8 марта было хорошо видно, как морячки в черных бушлатах по белому снегу бегут на пулемёты. Очень много их погибло. Обещанные танки не пришли. Пойма долго была нейтральной полосой, убраться оттуда всех было нельзя, а когда наши отступали к Сталинграду, те, кто косил там сено, рассказывали, что трупы лежат очень густо».*

Пётр Егорович Журенко вспоминает: *«Мы с друзьями видели, как морячки бежали в атаку. Они прорвали фронт, но не смогли до конца удержать. Всё поле было черным от погибших морячков. Мы сидели на трубах сгоревших домов и оттуда наблюдали.»*

Из записок Антонины Григорьевны Шелковниковой: *«В начале марта в посёлок прибыли моряки-черноморцы. Красивые, молодые, уверенные в себе. Мама смотрит на них и плачет. Они говорят маме:*

*– Чего вы плачете, мы же моряки, мы победим!*

*А она им говорит:*

*– Эх, детки, немец вооружён до зубов.*

*Рано утром, почти рассвело, моряки переправились через Миус и пошли пешком по снегу в атаку на Волкову гору. До горы 2 км. Я побежала к двухэтажному дому (бывшее общежитие механизаторов МТС). На втором этаже смотрел солдат в подзорную трубу, и говорит мне: Посмотри, как моряки в атаку идут! Я по-*

смотрела в трубу, шли моряки в шахматном порядке. Их отлично было видно, ведь вокруг был белый снег. Ноги увязали в снегу и в грязи под ним, идти было трудно. Смотрю я в трубу и говорю: – Ой, уже убитые лежат? – Нет, это моряки свои бушлаты поснимали и идут в тельняшках. На фоне белого снега их фигуры казались серыми. – Почему выстрелов нет, снаряды не рвутся? – спрашиваю у солдата. – А немцы утром не стреляют. Солдаты на ночь уезжают спать в село Латоново, остаются одни патрули на огневых точках. К обеду придут, и завяжется бой. Мы это проверяли. Так и получилось. К обеду прибыли не только солдаты, но и танки, и новые силы врага. К ночи бой утих. На поле боя остались лежать раненые и убитые».



Бои продолжались ещё два дня, к 10 марта они были приостановлены. « В ходе трёхдневных боёв 68-я морская стрелковая бригада потеряла убитыми и ранеными 2100 человек. После неудачного наступления командир 68-ой морской стрелковой бригады капитан 2 ранга Г.К.Иванов был отстранён от командования бригадой. Такое бессмысленное и кровавое уничтожение тысяч воинов оставило глубокий след в душах жителей. Отстранение от

должности казалось им несущественным и вовсе не наказанием за такую вину...

В захоронениях участвовал Михаил Еловенко, ему было 15 лет. Сам Еловенко с нами разговаривать не стал, сказал, что вся правда о войне нам ни к чему, будем спать лучше, и вообще, лучше читать книжки, в них власть знала, что писать!. Но, несмотря на это, мы считаем, что делаем дело очень важное: как же мы узнаем правду, если нам её не расскажут те, кто непосредственно участвовал в этих событиях? Николай Платонович Моисеенко рассказал, что на месте, где сейчас находится Мемориал, была большая воронка от авиабомбы. В ней хоронили убитых, в том числе и погибших моряков, и мирных жителей, и погибших солдат других частей. Мертвые тела кидали туда, и никто не считал, сколько их там, просто обрушивали края воронки, присыпали кое-как, и новых хоронили сверху, и опять присыпали.

Для нас это стало открытием. В районном отделе культуры мы нашли «Информационный паспорт №1 объекта историко-культурного наследия. Наименование памятника: Мемориал «Погибшим воинам». В документе сказано, что «в братской могиле похоронено офицеров 45 человек, солдат, сержантов и старшин 400 человек. Автор (скульптор) Валентин Иванович Перфилов. Дата создания 1968 год». Но мы склонны верить людям, подтверждающим слова Николая Платоновича Моисеенко о том, что никто не считал мёртвых в этой могиле. Мы имеем свидетельства, что там хоронили умерших и жители окрестных улиц во время сильных бомбёжек, и позже, когда обессиленным от голода жителям трудно было добраться до кладбища и копать там могилу. Некоторые жители говорили, что уже в 1943 году туда кидали и немцев, и умерших во время боя во дворах у жителей. Да и моряков, и солдат, похороненных там, не считали. Никаких документов мы не обнаружили, а участники захоронения говорили, что никто из начальства ничего не писал, уж очень их мало было, начальников на линии фронта, да и бомбёжки не прекращались.

*Нам понятно отношение к умершим в 1943, когда главной задачей было их всё-таки как-то похоронить и сделать землю в прямом смысле слова пригодной для обитания живых. Но сегодня, в пышности празднеств и фейерверков, мы опять забываем о мертвых, отдавших жизни за нас, за то, чтобы мы вообще жили. А между тем с высоких трибун слышим: пока не похоронен последний солдат, война продолжается. Можно ли считать, что солдат похоронен, если не известно вообще, сколько их там? Или же наспех зарытые окопы с мёртвыми тоже захоронения? Или же трупами наполненные колодцы? Или забытые могилы в огородах или под домами, построенными после войны? Или мирные жители, погибшие на линии фронта?*

\*\*\*\*\*

Таких атак и таких же потерь на том же месте в 1942 и 1943 годах было бесчётное (нигде на учтённое) количество. Для того, чтобы оценить всё безумство следует прочитать весь текст сочинения молодых авторов. Вот только ещё один малый отрывок: *"машины с убитыми... приезжали, когда темнело. Мёртвых привозили на грузовиках, накрытых брезентом. Всю ночь штабные работали, что-то писали, а рано утром их хоронили. Мы старались придти, смотрели, искали родных. Копали ямы экскаватором, огромные, как силосные. Мёртвых клали штабелями, один ряд на другой. В яму хоронили по 1000 человек. Там есть несколько таких могил, кладбище называется братское".* В архиве мы обнаружили протоколы о захоронениях воинов Красной Армии на территории М-Курганского района с №11 по №32, никем не подписанные, нет и дат их написания (других протоколов, например с №1 по 10, нет, и архивные работники не смогли их найти в других архивах). "Братское кладбище 98 могил около 5000 воинов Советской Армии, погибших в годы ВОВ, расположено на юго-восточной окраине хутора Борисовка. Воины погибшие в бою привозились с передовой линии фронта и хоронились в феврале – мае 1942 года, и в марте – июне 1943 года, среди захороненных пехотинцы, артиллеристы, моряки и кавалеристы 4-го кавалерийского корпуса. Звания и фамилии не установлены..." (Районный архив, протокол №26). Это только один из подобных документов, но это одно из самых крупных захоронений. Почему написано, что люди не известны, хотя работал штаб, для нас остаётся загадкой. Но большинство мёртвых здесь похоронено именно в 1943 году, хотя и в 1942 потерь было не меньше. Только «по данным 1947 года, не включая территорию бывшего Анастасиевского района, погибло 20718 человек».

\*\*\*\*\*

### **Где не было того же самого, что у нас! Это было ВЕЗДЕ.**

Бывший морской пехотинец, поэт **Михаил Дудин** рассказывал писателю Виктору Астафьеву, как на Пулковских высотах пришлось идти в атаку морякам, снятым с линкора. "А что у них на линкоре за личное оружие? Офицерское – кортики да маузеры иль браунинги и винтовки сэ-вэ-тэ у матросов, полуавтоматы наши, хваленые, годные для парадов, но не для боя в окопах, да еще на холоду, но и такие винтовки да пистолеты вахтового и парадного назначения были далеко не у всех моряков, патронов по обойме, а задача поставлена четко и твердо: пойти на врага, достичь его окопов и отобрать оружие.

И морячки наши, сами себя вздрючившие похвалами о бесстрашии своем и нестигаемости, в песнях воспетые, в кино заснятые, народом до небес вздетые, комиссарами и отцами командирами вдохновленные, поскидывали с себя бушлаты и в одних тельняшках, с криком "полундра", которого немцы не понимали и не боялись, бросились на врага через поля и высотки, и – самое великое и страшное – часть их достигла немецких окопов и отобрала у врага оружие. Но уже часть малая, остальная братва осталась лежать на земле, и до самых снегов пестрели поля и склоны высот тельняшками. Весной, когда морячки вытаяли, смотреть было невозможно на землю

- вся она была полосата от тельняшек, мечты и радости многих и многих советских ребятишек".

И директор нашего института ИМЭМО – ещё один, выражаясь в терминах нынешней уже почти юридической терминологии – злостный "фальсификатор истории" – одноногий инвалид войны, бывший лейтенант морской пехоты **Александр Яковлев**, ненавистный "патриотам" сподвижник Горбачёва, вживую рассказывал нам то же самое: командир в бездарной атаке погубивший половину солдат – молодец, герой! Жизни не жалеет! А другой, который сохранил людей обошёл немцев, схитрил, выполнил задачу. – Этот – трусоват! Жизнь свою бережёт...

\*\*\*\*\*

### **Stalag 308 (VIII E), Neuhammer - шталаг 308, Нейхаммер (Свентошув)**

Фотокопия "учётной карточки" дяди Толи из немецкого архива (с пометками наших "особистов"), показанная в Объединённой базе данных о военных потерях (ОБД). Перевод помещён в данном тексте ранее, рядом с портретом.

Kriegsgefangenenlager Auschwitz		Act. Nr. 3544	
Alexeev Anatolii Lvovich			
Familienname: ALEKSIEJEV		Truppenstell: an 666 Art. Reg. Flareschub	
Vorname: Anatoly		Bisherige Parteigehörigkeit: keine	
geb. am: 25.9.1912 in: Rostow Posob		Vorstrafen: 1 mal wg. Revolution, 8 J.	
Beruf: Schlosser Dienstgrad: Soldat caug.		Gefangennahme: wo: Rostow wann: 2.8.41	
Religion: orthodox Staat: U.S.S.R. Stand: led.		Von wo: Stalag 308 Kenn-Nr. 31.828	
Wohnort: Rostow, Gangorodsk. Sabinska		eingeliefert: 2.10.41	
Name der nächst. Angeh.: Mutter Julia Lvovna		verstorben: 4.11.41 Herzscheitern	
Anschrift: Mutter, in Rostow			
<b>Personenbeschreibung:</b>			
Größe: 169,5	Nase: geradl.	Haare: braun	
Gestalt: schlank	Mund: normal	Ohren: klein	
Gesicht: oval	Augen: grau		
Zunge: gut 2/3	Sprache: russ.		
Besondere Kennzeichen: keine			
		4-11-41	Fingerabdruck: AS

Согласно захваченным архивам, 11, 15, 20, 26, 27 и 28 сентября (1941) в шталаг Нейхаммер прибывали новые партии военнопленных. К концу сентября было зарегистрировано чуть больше 40 000 человек. **Ниже приведены свидетельства выживших именно в этом лагерном филиале Аушвица (Освенцима).**

"Среди густого векового леса ровная площадка песчаной земли обнесена сеткой проволочного ограждения. Деревья почти вплотную подступали к огороженному прямоугольнику. Тысячи советских военнопленных в одиночку и группами



бесцельно бродят по этому загону. Ярмарочную пестроту напоминает разнообразие форм и расцветок одежды заключенных. Летние гимнастерки, шинели, гражданские костюмы, плащи, демисезонные пальто, сорочки.

В хорошую погоду днем тепло, но ночи страшны. От холода, пронизывающего и ледящего, нет спасения. Единственное сооружение внутри загона — бетонная уборная, которая укрывает от стужи несколько десятков пленных, которые стоя спят, согревая друг друга. От невероятной тесноты упасть невозможно, но кто упал — верная смерть. Места на ночь в уборной захватываются днем.

Холод заставлял зарываться в землю. Песчаный грунт легко поддается разработке. Небольшими группами в 2-3 человека желающие роют ямки, чтобы можно было, прижавшись, сидеть в них. Кто имеет шинель или пальто, укрываются сверху. Вишей было столько, что казалось земля дышит. Так по лагерю ежедневно появлялись бугристые участки с сотнями ямок, которые зачастую превращались в могилы для тех, кто не успевал выбраться из них при стихийном наскоке обезумевшей толпы.

Почти каждый день для развлечения администрация лагеря перебрасывала через колючую проволоку в толпу руками охранников брюкву. Перебрасывали в разных местах и в разное время. Потерявшие от голода и холода разум тысячи людей набрасывались на брюкву. Они метались по лагерю от одного места переброса к другому. Десятки трупов и сотни покалеченных оставались на местах труднообходимых свалок. Ямки-укрытия затаптывались со всеми теми, кто не успевал выбраться из них, и бугристые участки превращались в ровные поля с торчавшими вверх руками, ногами, туловищами. Несмотря на постоянную опасность быть заживо погребенными, холод заставлял рыть новые укрытия, которые на следующий день или через день опять превращались в могилы.

... огромная огороженная территория и полное отсутствие каких бы то ни было жилищ. Стоял октябрь, а у нас не было ни сапог, ни шинелей, ни шапок. Мы устраивали себе жилища, кто как мог — чаще всего выкапывали ямы в песке и покрывали их корнями деревьев, попадавшимися при копке. Ночи становились все холоднее. Не выдержав голода и холода, многие военнопленные умирали. Наконец немцы решили построить для нас землянки. Наши новые жилища — бараки строились так: выкапывались ямы длиной метров 100 и шириной метров 8, сверху ямы покрывались цельными хвойными деревьями: стволами вместе с ветками."<sup>36</sup>

## О ростовском характере

*Умение играть с государством в игры... поразительное. (Историк Лев Лурье)*

В чём заключается особенность города Ростова и его жителей? Этот вопрос, который иногда задают после прочтения первой части мемуара, мне всегда был труден. Также не до конца понимаю, что ростовское есть и во мне самом. Чувствую, что-то и там, и там имеется, но не уверен, что сумею это собрать и чётко сформулировать. Во всяком случае, одно не подлежит сомнению: ни от чего не отрекаюсь. Никогда не было даже мысли как-то изменить своё произношение, более того часто с некоторым сарказмом (небольшим) подмечал утрировано твёрдое "з" у некоторых своих мимикрирующих знакомых. Сохраняется живое любопытство ко всему ростовскому, смешанное с печалью о том, что старое почти совсем ушло. От результа-

<sup>36</sup> Собрано Черноваловым Виктором Владимировичем – смотри Интернет на это имя.

тов матчей ростовской футбольной команды каждый раз соответственно меняется настроение.

Со временем всё более утверждаюсь во мнении, что характеристике "ростовства" назойливо мешает трафаретная параллель с Одессой. Она толкает на поиск общего, а *такового или нет, или не очень много*. Ну, общий южный колорит, ну, привычка к прозвищам, порой довольно острым, образность языка. Но у нас она несравненно, напрочь лишена жаргона и украинизмов, интонация совсем другая. Ростов говорит на русском языке без всякого подмеса. Обобщая отличия, устанавливаем: *нет*, как класса, ни украинского, ни еврейского, ни морского, ни связанного с ними босячко-портово-биндюжного колорита.

В Ростове нет по-одесски заметного выброса талантов на всероссийскую или московскую арену. Здесь он даже ощутимо меньше, чем, например, в некоторых волжских городах. Отметьте: ни шахматистов, ни юмористов, ни музыкантов, даже писателей почти нет. Помимо другого национального состава, это объясняется тем, что ростовчане в массе просто мало рвутся в другие места, они больше других привязаны к своему городу, им нравится его образ жизни. Мне определённо кажется, что в Ростове нет не только одесского, но и любого другого (рязанского, ярославского, воронежского) колорита, хотя ни в одном из этих мест я никогда не был. Об этом я сужу по своему московскому опыту, в своём многообразии хорошо отражающего стилистику центральной России. Как индивидуалист по характеру и опыту (здесь и питерский корень, и московское всеядное жительство, и либеральное мировоззрение с американским опытом), я могу не только понимать облик разных мест, но и принимать его, приспосабливаться, может быть, в этом тоже часть ростовской уживчивости и терпимости.

Конечно, многие из характеристик, о которых далее будет сказано, в той или иной мере присущи российскому населению в целом. Но в Ростове эти свойства объединяет, подчёркивает и выпячивает какая-то повышенная *органичность сосуществования, некоторая наивность в совмещении, казалось бы, несовместимых проявлений личности и её поведения в тех случаях, когда это оправдано естественной и разумной целью*. Или навязано *непреодолимой силой*, в качестве которой выступает структура окружающей жизни. Именно из взаимодействия между этой силой и здравым смыслом возникает *мощная мимикрия*, умение *быть* для себя нормальными обывателями и *казаться* (иногда даже самому себе, и притом весьма искренне) лояльнейшими гражданами и патриотами.

*Внешне* это двуслойность поведения скрывается за непосредственностью, приветливостью и доброжелательностью, подкрепляется мягким произношением и интонацией, округлостью жестов, иногда даже проявляется манерность как знак уважения и к себе, и к другим, например, к гостям, основанная на убеждении, что это им должно нравиться, хотя некоторых иногда немного обескураживает. На ментально-словесном уровне, в разговорах людей самой разной градации интеллигентности часто звучит спонтанная, подчёркнуто безалаберная, но почему-то "идеологически скользкая" фантазмагория на политические темы. Причём официальные мотивы могут так естественно заостриться, что выходят на грань ноздрёвщины и собственной противоположности. Но к делу такие вещи не пришьёшь: ну, не вникли ребята, что, де, взять с нас (когда лично), или с них (когда со стороны) – с лопухих, неотёсанных, но в доску своих патриотов. И сам не всегда поймешь, где наивная искренность невежества, а где зашторенный юмор или даже сарказм.

Я имел возможность наблюдать эту черту у многих, в том числе у двух выдающихся "исполнителей" – своего отца – это близкий к народному, но закрученный "под бравого солдата Швейка" вариант, и профессорский, рафинированный – моего друга Никифорова. У обоих – склонность и любовь к построению случайно-нелепых

и неожиданных политических схем выражалась с подкупающей искренностью и доверительностью к собеседнику, а сопутствующий изложению взгляд был полон желания не только поделиться, но и услышать в ответ что-нибудь в том же роде и ключе.

*Сущность*, же, и происхождение этой эклектической мимикрии лежат где-то в природной вольной донской степной вере в первичность или в приоритет здравого смысла и во врождённом отсутствии склонности к искусственному усложнению явлений окружающей действительности. Для простых и практичных людей, живших на периферии империи, отгороженной от центра вольной Областью Войска Донского и с оживлённым многонациональным торговым выходом в Азовское и Чёрное моря, а с другой стороны на Кавказ это было естественно.

Эта северокавказская часть российского юга (от Дона далее на Кубань) не просто никогда не знала крепостного права, сверх того, она была исторически подсажена на казачьи вольности, независимость, своенравие и патриархальность. Будучи к тому же более зажиточной, не оголодавшей и не вырождающейся, она больше многих других частей России была органически несовместима с большевизацией. Именно это сделало в глазах советской власти беспощадный физический, социальный и духовный геноцид казачества объективно необходимым и оправданным. Конечно, Ростов – это нормальный город, а не казачье городище, но его население всегда было в открытом контакте с окружающим его специфическим регионом.

Советская власть завоевала, подчинила этот регион, уничтожила непокорных, запугала обывателей, но не могла столь же категорически изменить сформировавшуюся исторически внутреннюю природу людей. Эта природа, пусть в сглаженном, забитом виде загнана внутрь, прикрылась манифестацией покорности и лояльности<sup>37</sup>.

Мощное первенство здравого смысла, направленного на максимизацию собственного благосостояния, опирается на трезвое понимание того, что в объективном окружении первенствующим элементом этой максимизации является соблюдение норм и правил, установленных властью, с которой, как говорят и знают люди, шутки плохи. Даже в как будто бы спокойные времена воспоминания о слепом, кровавом беспределе на юге страны как показателе того, до какой отметки в принципе способна дойти наша власть (включая реплику царского "кровавого воскресенья" в Новочеркасске 1962 года), сидят у населения в подсознании, и, может быть, уже на генном уровне. Отсюда двуслойность взаимоотношений, когда существует общественный консенсус о полном понимании инструментального характера внешних форм публичного поведения при таком же, но скрытом понимании действительных стимулов, механизмов и рычагов всех важных поступков.

В грубых случаях это можно сформулировать как полное формально-житейское подчинение властям, идеологам, уполномоченным, при таком же полном внутреннем убеждении, что всё это туфта, но туфта неизбежная, а при умелом обращении и не очень вредная, иногда даже полезная. Всё же реальное надо делать по



<sup>37</sup> На довоенной фотографии я изображен на фоне одного из главных революционных монументов Ростова. После войны он был воссоздан в несколько изменённом виде и оказался прямо напротив здания, в котором одно время располагался горком партии. В центре скульптурной группы полулежал раненый матрос с занесённой гранатой, собиравший последние силы для броска. Про него ходил рекордно краткий анекдот: "Эх, недокину!"

своему, по-умному, в рабочем, так сказать, порядке. Отсюда первостепенно большая в разной степени скрытая или явная ценность и вес всего спектра неформального, связей самого различного вида и свойства для достижения карьерных, имущественных и бытовых целей. Когда тебе удаётся попасть в эту зону взаимопонимания, чувствуешь себя в ней легко и комфортно.

Уже в последние деньки пребывания в Ростове я выступал с докладом о текущем моменте в Областном КГБ. Там сотрудники как *все* простые советские люди должны были учиться в системе партпросвещения и выбрали наиболее щадящий, лекционный вариант таких занятий. Я увлёкся, народ слушал, и тут полнозвучно прошла автоматическая фраза, что-то вроде "под руководством Никиты Сергеевича"... А Хрущёва, хотя недавно, но уже скинули. Ляп, неприятность, конечно, но надо было слышать, как единовременно скрипнули сидения, видеть, какие понимающие улыбки расцвели во всём зале над погонами! Как тепло затем мне писали положенный "отзыв на лекцию"!

Рядом с этим, на стороне тех, кто не попадает в круг "своих", стоит недоверие к правосудию и администрации вообще, естественная вера во всеобщую коррумпированность. Причём под этим явлением не всегда понимается просто взяточничество, а столь же часто – первичное свойство, императив самого внутреннего устройства системы, априори враждебного конкретным малым интересам обывателя или просто бесконечно далёкого от них. Как стихийная альтернатива, рядом с официальной системой сама собой выстраивается теневая, своеобразная народная система перераспределения благ.

Например, к остановке вместо рейсового автобуса привычно подъезжает пустой левый. Люди так же привычно входят, сразу возникает стихийный организатор – женщина предлагает быстро собрать по 10 копеек. Все спокойно платят, но как это часто бывает в транспорте, находится и внесистемный (скорее всего, он просто в хорошем настроении и любит поговорить) пассажир. Он затевает дискуссию: почему десять, ведь билет стоит 5 копеек! Женщина искренне (или *как бы* – она может подозревать игру) изумлена: неужели вы не понимаете, что водителю надо жить. Только представьте, как себя вели бы вы сами, если бы были на его месте!

Уже в 60х годах, когда мы стали обустраиваться, перегородили комнату чешскими книжными полками, обнаружилось, что остро недостаёт фишки тогдашней моды – журнального столика. Дефицит безнадёжный. Но соседи говорят – можно заказать. Ждём неделю, пошла другая, нас успокаивают – процесс идёт. И вот принесли (здесь лучше сказать по-ростовски – припёрли) светлошоколадное лакированное чудо. Собрали, свинтили. Слегка высоковат, немного растопырен, но явно журнальный. Главное, однако – чудовищный вес и алмазная твёрдость материала, верхняя плита как будто бы отлита из чугуна, каждая ножка – оружие для Ильи Муромца. Оказывается, изготовлен из особой "дельта-древесины" на сверхсекретном, какого в городе как бы вообще не было и нет, номерном вертолётном заводе. А там такая кирпичная с колючкой стена вокруг, такая пропускная система, что, кажется, и комар не пролетит...

Далее следует отметить *незрелость в развитии юридических, правовых представлений*, особенно в отношении понимания собственных прав, и одновременно свойское отношение к государственной собственности. Слабость в разграничении её с общей и своей, неопределённость различных (в том числе моральных) запретов на её присвоение. Любимая тема пожилого, житейски мудрого, ленивого доцента Бабынина, бывшего военного ("кто я был там – майор, майоришка!"), которую он часто развивал, сидя среди кафедральных: взятки не берёт только тот, кому не дают, так же как не ворует тот, у кого нет возможностей. (Вряд ли он знал об полном созвучии

с Вольтером, который говорил, что в этом мире все продается и покупается и каждый имеет свою цену).

Вместе с тем имеется чёткое понимание границ формальной власти и неформальной компетенции. Когда в один из своих регулярных приездов в Ростов я находился в кабинете у нашего друга семьи Леонида Евгеньевича Декамили, который был в то время директором мощного института Гипрокомбайн, создавалось впечатление его полного всевластия в отношении распоряжения материальными возможностями учреждения. Прямое указание отремонтировать мой автомобиль и снабдить дефицитным бензином так, чтобы хватило до Москвы было дано им так безапелляционно и встречено подчинёнными с такой подчёркнутой готовностью, которые не допускали никаких сомнений, а попытка отказа с моей стороны выглядела бы как обидная неуместность.

Однако, стоило мне спуститься в гараж, где несколько мужиков лениво играли в домино, стало понятно, что здесь существует совершенно другое представление о структуре власти и собственности. Я сразу сообразил, что все эти приказы в данном случае (когда раздача казённых благ относится не прямо к тем, кто обладает реальной властью) является для этих людей произвольным, ненужным вычетом из источника их собственных доходов, следовательно, туфтой. И наверху, в кабинете я ощущал себя неловко, а когда благоразумно ретировался из гаража, почувствовал, что гора свалилась с плеч.

Неумение действовать по закону, и поддерживаемое этим недоверие и неверие в него, проявляется тем более абсолютно, чем ниже социальный уровень человека. Отсюда стремление даже в самых простых коллизиях сразу идти в обход обычных административных процедур. Именно так многие годы, нервомотательно и многоразговорно, но определённо безуспешно, добивался мой брат Владимир присоединения бросовой, никому не нужной смежной комнатухи, а потом вдруг его сын Сергей неожиданно для себя получил её просто по подкреплённому соответствующим документом старому забытому заявлению.

В более широком плане можно увидеть любопытное сочетание слабости демократического диссидентства с разветвлённой и диверсифицированной организационно-гражданской деятельностью на первичном, приземлённом уровне, активное использование доступных методов гражданской, профессиональной и любительской самодеятельности. Ростов стремительно освоил оформление разнообразных групп по интересам, добровольных обществ, обществ дружбы, коммерческих групп, организацию различных учебных заведений административного, менеджерского и маркетингового профиля. Между этим и прочим, в городе было быстро поставлено на поток производство кандидатов и докторов наук.

При этом не только в политической сфере, но даже в технических вопросах сохраняется укоренённое стремление избежать всего похожего на серьёзные, качественные преобразования. В этой связи мне часто напоминает как Леонид Декамили, остро чувствовавший необходимость профессионального прогресса и изменения облика подведомственного ему Ростсельмаша никогда не выходил за наивно мелочные рамки мыслимых преобразований. Кондиционер в кабине комбайна представлялся ему не только запредельно дорогим, но сложным, капризным и несовместимым с образом неприветливого колхозного комбайнёра. Сообщения об иностранной машине для механизированной уборки помидоров казались ему успокоительно далёкими от требований к своему заводу, поскольку для таких механизмов нужно, вроде бы, сначала вывести сорта одновременно созревающих и чуть ли ни квадратных помидоров, желательной одинаковой величины. Единственно доступным и любимым был проект организации массового производства народного продукта – прицепных тележек для отечественных легковых машин.

В структуре расслоения ростовчан прослеживается общероссийская модель, некоторая специфика имеется в межклассовых отношениях. Верхний слой – начальники, крупные бизнес-воротилы и приближённые к ним, признанные, обеспеченные интеллигенты. Нижний – жители окраин, занятые своим домом, его благоустройством, работой-заработком. Рядовые служащие, мелкие бизнесмены составляют средний слой. Важнейшей чертой, вытекающей из естественного стремления к устойчивости своего положения, является общественная пассивность, *готовность мириться со своим социальным положением*, когда оно достаточно массово и укладывается в общую модель признанного, привычного социального устройства.

Отсюда вытекает спокойное, конструктивное отношение к начальству или к "правомерно" богатым людям, или к успешным интеллигентам (профессорам, врачам, юристам), если их положение оправдано разумной целесообразностью. В отношении к власти – разумное – это то начальство или то устройство, при котором высший слой живёт и не очень мешает жить другим). В Ростове таксист может не с завистью или враждой, а даже с некоторой гордостью (вот, де, у нас какво) показывать роскошный особняк городоначальника (или губернатора) на самой живописной улице города, потому что "естественное" начальство должно быть. А вот к *искусственному* начальству, партийному, или генеральски-военному (последнее в общественном сознании тождественно воровскому) – отношение совсем другое, но оно лежит в области скорее не социальных, а человеческих, моральных оценок.

Все страты и уровни ценят свое ростовство, место в Ростове. Проявляется это по-разному в разных слоях. Самый крайний житель Гниловской с большим чувством городского превосходства взирает на сельского или поселкового пришлеца. В качестве типичного случая я иногда вспоминаю, с каким убеждённым высокомерием на границе презрения мой двоюродный брат Вовка, простой работяга, комментировал однажды в троллейбусе поведение и внешний вид "кугúтов" – пригородных ребят, ехавших от вокзала в центр.

На другом полюсе находится упомянутый выше Леонид Декамили, тогда главный инженер Ростсельмаша и долгое время второе лицо в его дирекции с вытекающими отсюда положением и возможностями. Когда разразилась хрущевская перестройка с укрупнением министерств и был организован мощный Ростовский (Северо-Кавказский) совнархоз, некоторым начальникам предложили переехать в Москву на высокие должности, естественно, с квартирой и льготами. Чтобы избежать этого (и в то же время не упустить возможности перестройки) группа сельмашевских руководителей затеяла и выиграла титаническую борьбу под лозунгом "За Главк в Ростове!" (так тогда звучал постоянный тост на наших частых дружеских встречах). Главкомбайнпром – главное управление, часть московского союзного министерства – в виде невиданного исключения был организован на периферии, Декамили стал в нём главным инженером, а Ростов получил власть над профильными заводами в разных краях Союза, в Бердянске, в Туле, Таганроге, в Сибири... Мы никогда бы не побывали на отдыхе или на экскурсиях в этих городах, если бы не "Главк в Ростове".

Вообще, эпоха совнархозов дала взлёт городского патриотизма, мощный, видимый, но, к сожалению, кратковременный и оставшийся беспрецедентным. Он был поистине всенароден, коснулся не только начальства, но и всех жителей. Никогда город не был так чист, умыт и праздничен, по улицам ходили раскрашенные троллейбусы с собственными именами, был пущен первый фирменный поезд "Тихий Дон". В Военторге появилось ателье-бутик, где можно было по образцам выбрать и приобрести немудрящие, на мой взгляд, произведения молодой ростовской моды, подземные переходы облицовывали кафельными панно на темы истории Дона и со сценами из Шолохова, на всех углах продавали откуда-то взявшуюся, а затем так же неожиданно исчезнувшую черешню по 50 копеек за килограмм.

Этот пример свидетельствует о том, что Ростов – город оптимистический, склонный искать позитив в даже в самых казалось бы неподходящих или поверхностных событиях. Так было, например, когда была широковещательно объявлена угроза холерной эпидемии. Создалось полное впечатление, что эта весть не испугала, а взбодрила жизнь в городе. Старушки с притворным ужасом распространяли явно неправдоподобные слухи о массовой очистке больниц для организации холерных палат, а мужики сразу ухватились за идею санитарной пропаганды о том, что даже лёгкий алкоголь смертелен для злобного вибриона, и не было с утра до вечера веселей места, чем городские пивные, живописно увешанные цветными изображениями толстеньких холерных бацилл. Так же легко и охотно возникала массовая эйфория при успехах ростовской футбольной команды, которые, к моему сожалению, становятся всё реже и реже.

Ростовская специфика широчайшего использования выгод служебного положения и дружеских связей состоит только лишь в открытости, признанности и не зазорности такого рода поведения. Наш друг семьи Макар Габриэлович Габриэли, сменивший на это необычное имя свою настоящую фамилию Херхерян, ростовский армянин, в котором никакая чётровка не выдавала интеллигента в первом поколении, стал заведующим кафедрой политэкономии в Ростовском филиале Высшей партийной школы. Обладавший великолепным здравым умом и отличным чувством юмора, он демонстрировал оба эти качества, когда рассказывал о том, что ему никогда не приходилось заботиться о питании, бензине, ночлеге и т.п. вещах на дороге от Москвы до Ростова, поскольку в каждом районе руководящие кадры были нашпигованы уважительно-благодарными людьми, в то или иное время проходившими курс в его региональной партшколе. Точно так же, как и все видные вузовские деятели в Ростове, он предпочитал иметь с Москвой корреспондентские связи, участвуя в редколлегиях, комиссиях, изданиях, оргкомитетах и т.п., оставаясь в своих обустроенных гнёздах в Ростове и реализуя "имперские амбиции" на пока ещё организационно зависимых территориях Северного Кавказа.

Эти отношения взаимных услуг, благодарностей и приятельских послаблений дают сбои только в случаях, когда нарушается порядок движения денежных потоков. Один хорошо знакомый Никифорову владелец нескольких "точек" в сфере услуг, рассказывал, как мечтал о том, что после всех мытарств при оформлении документов для открытия свадебного салона он отдохнёт от поборов в пожарной охране, где руководителем служил его закадычный друг. Однако не тут-то было. Друг только вздохнул и руками развёл – надо платить – это не личное дело, а система, которая не терпит никаких нарушений.

Социальный мир Ростова опирается на первенствующее значение двух массовых народных качеств – *оборотистости* и *домовитости*. Уровень этого природного качества пришёл в странную компенсационную связь с процессом общей деградации того или иного российского региона. Всё в дом, дом превыше всего – забота о доме – это общая черта. Еще задолго до перестроечной легитимизации собственности подразумевалось, что в доме должно быть всё в данный момент передовое по обывательским представлениям – газ, телеантенна, мебель. Старая уже есть, как с ней быть – на участок. Садового участка нет – это постоянный психологический ущерб – должен быть. Когда всё это есть, расцветает обывательское сибаритство – катера, раньше мотоциклы, теперь авто, ухищрённая баня на даче, летний отдых где-то в заповедном придонском месте, в избранном коллективе (начиная от брезентовой кустарной палатки дяди Пети до загородного ВИП-домика дирекции Ростсельмаша у Декамили и заповедного рыболовного вип-лагеря К..., "вельможного" приятеля Никифорова).

В качестве мелких примыкающих черт можно назвать охотно поддерживаемые остатки патриархальности. Я упоминал уже устойчивое десятилетиями отношение людей к бабушке Марии Петровне как к "матушке", бывшей попадье. В нашей третьей школе можно было проследить доверительные отношения соседско-семейного типа в кругу учителей, родителей и учеников.

Коммерческая оборотистость, умение "устраиваться", универсальная выживаемость, сверхчутьё к тому, что где "плохо лежит", развиты в высшей степени. Например, если человек ходит на работу через стройплощадку, где разбросаны разные материалы, он вполне может привычно приносить домой ежедневно по тротуарной плитке пока не закончит выкладывать дорожку на дачном участке. Это никак не считается зазорным, в менталитете крепко сидит, что "когда от многого берут немножко, это не кража". Поскольку, как я уже упоминал ранее, мяса в ростовских магазинах никогда не было, люди добывали этот продукт по-разному. Одна близко знакомая нам хозяйка покупала его у своей соседки. Мясо было хорошее, но всегда приносилось небольшими кусками разной формы. В ответ на вопрос, соседка, которая работала на мясокомбинате, охотно объяснила, что у всех женщин на разделочном конвейере были приспособлены на поясе под платьем пластиковые сумочки, в которые каждая отрезала и складывала эти кусочки с разделываемых туш.

Рядом с этим приходится упомянуть и нахальство, у отдельных экземпляров доходящее до искренне беспредельного южно-русского бесстыдства. У потомков казаков часто видна спрятанная, но её можно узнать по глазам, циничная, безграничная безжалостность. В то же время люди предельно общительны, расторопно берутся за любую работу и всегда стремятся культивировать как можно больше умений и способностей, пусть большей частью самой кустарной квалификации – для дома и соседей годится всё. Причём это качество прослеживается среди обывателей именно как усреднённое и массовое. Как будто бы именно здесь у нас родилось это бессмертное – *голь на выдумки хитра*.

Образцами последнего качества можно взять мать Никифорова и в какой-то мере его самого. Рассказ об их выживании в войну слушается как приземленно-камерная одиссея. Из "награбленного" продавали в мелкой расфасовке табак, мыло, разлитый по пузырькам бензин. Когда полицаи из участка, который располагался в соседнем доме, "конфисковали" табак, спрятанный внутри старенького семейного пианино (другую часть – в раскладном столе – не нашли), Нина Ивановна пробилась к начальнику, и значительную часть пачек вернули. Склонность к чтению естественно переросла в сдачу книг женщинам всей округи в аренду, то есть организовалась активно действующая, точно ориентированная на потребность мелко-коммерческая домашняя библиотека. И какая библиотека! Граф Салиас, Чарская, Лажечников, Загоскин, словом, весь спектр пожелтевших растрёпанных приложений к знаменитой дореволюционной "Ниве" – это был *стиль*. Пополнение фонда, ликвидация неходовых шла через "толкучку", где на своём месте не с рук, а на земле уверенно торговал книгами сам молодой Никифоров.

В этой семье чётко прослеживалась наследственная линия ростовских форм приспособляемости. Отец, Яков Яковлевич, несмотря на возраст и здоровье, ушёл в армию в 1942 году, когда "человеку со специальностью" была возможность договориться с воинской частью для мобилизации. Это был худощавый бухгалтер со статью рафинированного игрока в карты. В сорок пятом он привез с Запада не тряпки, а альбомы с марками и образцами денег разных стран. Он не только был коллекционером, но занимался дома изготовлением инкрустированной лакированной мебели, но не для продажи, а для души и собственного обустройства. После войны он вдруг вступил в партию, и на этой волне в доме появилось постоянно переиздававшееся тогда полное собрание сочинений Ленина. Вскоре настали трудности с продовольст-



вием, и семья приобрела на откорм поросёнка. Зимой ему стало холодно, поэтому для утепления стен в ветхом сарайчике самым подходящим материалом оказались именно эти ленинские тома.

Что приходит в голову, когда вспоминаешь о Ростове? Вид с высокого берега за реку или наоборот. Сам левый берег – "Левбердон" – пляж на Зелёном острове, чёрные причальные тумбы на набережной Дона с чугунным именем "Парамонов", уют главной улицы – Садовой-Энгельса, зелёная заброшенность Сенной. Бульвар Пушкинской, маленький, но чопорный Городской сад. Старый базар с Собором, построенным архитектором Тоном в виде уменьшенной копии московского Храма Христа Спасителя и с восстановленной, наконец, колокольней, которая была взорвана летом сорок второго, как ориентир для немецких пикировщиков, бомбивших переправу через Дон. Конструктивистское здание театра в виде трактора, геометрическая, квадратно-блочная, как в Нью-Йорке планировка, а кое-где и цифровая нумерация линий – многокилометровых улиц, Сельмаш... Ничего величественного или исторического. От войны и советской примитивной бедности пропала – затёрлась или опростилась кружевно-кондитерская лепка фасадов старинных зданий в центре, утратились чугунные решётки, фигурные столбики выступавших над тротуаром балконов зажиточных особнячков, крылечки, резные двери и наличники обывательских домиков ...

Короткая весна, сухое жаркое лето, сырая зима с постоянными оттепелями и беспределом гололёдицы на крутых спусках, великолепная длинная тихая солнечная осень. Для меня – почему-то притягивающий тогда вокзал, старые деревья на Собино-Церковной. Занятия в школе обычно заканчивались 20 мая, когда во все открытые окна ломились только что распустившиеся белые акации. Но как говорилось в модной песне тех лет про американских новобранцев – *завтрак в постели и в кухне газ, эти блага теперь не для вас*. Для нас были экзамены, длинные, нешуточные на 7 – 11 предметов, сочинение, химия, тригонометрия и так далее – практически на целый месяц. Как для рабов на галерах. Всё же иногда почему-то кажется, что тогда было лучше, чем сейчас...

**(1946-1954)**

### **Школа и Московский университет**

Новизну возвращения к городской жизни после Жуковки определяло электричество и его духовные производные – кино и радио. Налицо острый социопсихологический эксперимент – произошло перемещение из почти восемнадцатого в почти двадцатый век! Три зимы и три с лишним лета при свете коптилки или вообще без неё, и вдруг – лампочки Ульянова, без забот и практически даром, одним поворотом или нажатием! Вокруг хоть и бедная, но громкая вездесущая радиомузыка, почти ежедневно сменяются киноафиши. На них, кажется, бесконечная череда иностранных (!) фильмов, как будто бы с неба упавших, смотри хоть каждый день и тоже практически даром. А нам хоть бы что, как будто так и надо. Никакой психологии или адаптивной перестройки. Точно так же, как было во время столь же обвального регрессивного перехода, который произошел в 1941-42 году.

Кроме летней площадки (в Садики) рядом было три киноточки – Дворец, Лензавод и "Луч", все послевоенно-убогие по обстановке, одинаково примитивные по техническому оснащению, но вполне подходящие для нас. Трофейные фильмы доминировали абсолютно. Почему-то первым воспоминанием стала душещипательная картина "Где моя дочь?". Она открыла неожиданный, концентрированно заграничный индивидуально-сентиментальный аспект жизни, хотя затем впечатление сбили пошедшие одна за другой реплики этого сценария. "Гарзан" показался мне однооб-

разным. Только помнится, как здорово плавал Вайсмюллер, расторопность умной обезьянки Читы, и на улицах, как отражение искусства в жизни, со всех сторон неслись пронзительные крики подражателей героя.

Из ряда вон выпирает сокрушительная "Тётка Чарлея". Она шла в Лензаводе – в подвальном пыльном, неоштукатуренном помещении, где в качестве сидений служили доски, положенные на чурбаки. Во время сеанса эти конструкции упали, и вся разновозрастная публика беспорядочно каталась в темноте по цементному полу от дикого хохота. По-видимому, комедийность фильма соединилась со своего рода послевоенной психологической разрядкой.

Постоянным и универсальным культурным фактором было радио. На семьдесят процентов это была московская программа и наши популярные песни, которые кольцом крутились через так называемый "маяк", безымянную, но стабильную станцию, вещавшую на средних волнах для ориентации самолётов. Через радиоприёмник прорывались русскоязычные вражеские "голоса" и развращающий бархатный английский – Луиса Кановера с его джазом. Завораживали африканские барабаны поющих и величаяя интонация дикторов Би-Би-Си, читавших последние известия. Там же регулярно выступал старомодный струнный оркестрик под управлением Виктора Сильвестра с уютными мелодиями по заявкам благополучных обывателей из разных уголков Британской Империи.

Незамутнённую благодарность московскому радио того времени с его рафинированно безупречными дикторами, великолепными острохарактерными актерскими голосами, за литературные и научно-популярные передачи, музыку и программы для школьников я неизменно и искренне чувствую до сих пор. Когда футбольная команда "Динамо" поехала в 1946 году Англию, удалось просто поймать репортажи Вадима Синявского оттуда по Би-Би-Си в прямом эфире (!) со стадионов. Приёмник стоял у нас около открытого окна на полную громкость, и его, как явление чего-то невозможного, слушали все вокруг.

Через десятилетия, в начале семидесятых, открыв окно своего временного пристанища в каком-то лондонском студенческом общежитии, я испытал нечто вроде священного трепета, вдруг увидев прямо перед собой на расстоянии вытянутой руки над соседней крышей знаменитый фантастический профиль башни этой радиостанции. И русскоязычные передачи шли прямо с неё на мой маленький радиоприёмник "Сокол" необыкновенно отчётливо, без всяких помех<sup>38</sup>.

Приезжал Цирк, сначала это был шапито, затем выстроили помпезное, но внутри какое-то пустынное даже при аншлаге, холодное здание на Буденновском (Таганрогском) проспекте. От впечатлений ничего выдающегося не осталось, кроме безрукого Сандро Да-Деша, который после спектакля раздавал автографы, сидя в собственном, открытом низеньком трофейном автомобильчике. Изящную как на визитке роспись он выполнял для поклонников в блокноте положенном на руль, зажав ручку пальцами ног. В более поздние времена я неожиданно увидел на арене одного

<sup>38</sup> *Есть обычай на Руси ночью слушать Би-би-си.* Слушал и ночью, и днём, не столько музыку, конечно. Много усилий было затрачено для того, чтобы переделать радиоприёмники или достать кустарные приставки, которые позволяли настроиться на "дневные" волны с 13 метров. Наша хитро... умная власть ввела общесоюзный стандарт – всё радио, кроме тех недоступных как *синяя птица* "Спидол", которые предназначались для экспорта, начиналось с 25! А я ещё в студентские годы ухитрился купить непревзойдённую по качеству, предельно совершенную по дизайну, великолепную по акустике, доступную по цене, уникальную рижскую "Радиотехнику" (Т-689) с *растянутыми* диапазонами 16 и 19 метров. Закрываю глаза и помню замирание от ощущения неверия в удачу, когда я увидел, как продавцы вдруг выставляют несколько этих чудных аппаратов в ряд с тележки на прилавок на втором этаже ЦУМа и выписывают чеки. Очереди нет! Несколько шагов до кассы! Такие вещи никогда больше не повторялись, прошла неготовность – короткая послевоенная незрелость публики. А это радио до сих пор на даче пылится под столом. Устарело. Ответшало. Нет сил выкинуть.

моего студента-филолога, который подрабатывал в цирке в качестве музыкального эксцентрика в образе югославского лидера Иосифа Броз Тито с песней "Не называйте меня бандитом!", которую он исполнял, размахивая огромным окровавленным бутафорским топором.

События более цивилизованного рода следует перечислить, они действительно были штучными. Первые увиденные настоящие, безупречно реалистические спектакли в Ростовском драматическом театре им. Горького – Островский "Не было ни гроша, да вдруг алтын", далее "Горе от ума", затем разрекламированный, но в ретроспективе проходной симоновский "Русский вопрос", а рядом с ним оказавшаяся действительно значимой для оценки стремительной динамики американской жизни пьеса про негра-офицера второй мировой войны, вернувшегося в расистскую обыденность американского Юга.

Мельком помнится организованный поход с классом на оперетку местного автора "Одиннадцать неизвестных" на высоченный верхний ярус колодецеобразного театра в Нахичевани, из темноты которого ничего не было видно и слышно. Там же сверху, но полноценно увидел театрального тяжеловеса, незабвенного Игоря Ильинского, приехавшего с сольным концертом. Наряду с баснями Михалкова он, в числе прочего, читал симпатичный рассказик Чехова "Пересолил", с которым и я впоследствии выступил со сцены на школьном вечере.

Отдельно стоят концерты известных пианистов в небольшом зале филармонии на Энгельса-Садовой около главного здания университета. Здесь были знаменитые лауреаты – слепой Зак, Яков Флиер и профессор Оборин, между ними – популярнейший чтец Яхонтов (Маяковский о советском паспорте, благородно-героический голос в стиле Качалова или Царёва). Выходы в филармонию были окрашены особым впечатлением ещё и от соприкосновения с другой, избранной публикой, и от ощущения какой-то, хотя бы поверхностно-гардеробной причастности к этим сферам.

В летней Москве 1948 года, куда я в первый раз приехал после девятого класса, висели афиши дневных сборных концертов "мастеров искусств" (в Зале Чайковского, не где-нибудь) с именами живых знаменитостей из радиоприёмника. Я был не менее двух раз на таких спектаклях, которые считал бесценным дополнением моих заочных впечатлений. Тем не менее, все участники выскочили из памяти, кроме знаменитого опереточного комика Володина в роли пьяного тюремщика из "Летучей мыши". Кстати, эта оперетта остается, теперь уже навсегда, единственной, которую я видел на сцене (в Москве в театре на Пушкинской) и знаю в виде целостного спектакля, а не отрывков, и очень высоко ставлю в своём субъективном рейтинге произведений этого жанра.

Эти московские культурные воспоминания перемешиваются со столь же волнительными бытовыми: живу в самом центре Москвы на 2-й Тверской-Ямской, где рядом улица Горького, эскалатор в прохладу и роскошь малолюдного тогда метро, потолочные мозаики потрясающей бесконечно длинной станции Маяковская, следующая остановка – почти до Красной площади. Вечером один в пустой квартире тётки Клавды (они на даче в Долгопрудном, куда ехать паровозом с Савёловского вокзала). В кастрюлю на газ (!) полпачки риса (!), получается каша со сливочным маслом и сахаром (!) – просто чёрт знает что за наслаждение. А в комнате на столе Николая Алексеевича стоит, светится широкой вертикальной шкалой немецкий *трофейный* радиоприёмник. Тогда ещё не так сильно глушили коротковолновые станции типа "Голоса Америки".

Тревожно-трогательно вспоминается московский трамвай. Первое знакомство, когда от Казанского вокзала ехал до Оружейного переуллка с бесконечными скрипящими поворотами, кружение по однообразным переулкам, почти задевая углы вы-

соких, старинных одноэтажных бревенчатых домов. Нет теперь этих рельсов, нет этих домов... В зимние вечера на остановке у Казарменного переулкa было занимательно издали угадывать номера множества маршрутов по появляющимся внизу на углу Воронцова поля двум разноцветным фонарикам над окном вагоновожатого. А потом, уже в студенческие времена, штурм вагонов утром на Стромьнке и привычное висение на одной руке и одной ноге в гроздьях людей, облепльвших все подножки длинных красных трамвайных поездов до метро Сокольники.

А там за медный пятак бумажный билетик, с надписью "контроль" который тут же обрывали неутомимые живые контролёрши – и через шесть коротеньких быстрых пролётов – пробежка вверх по гранитным лестницам, два перехода главных улиц Москвы, затем вдоль по Манежной до Университета мимо зелёно-жёлтых ливрейных швейцаров Националя, тёмно-гранитных стен холодно-официального книжного магазина, мимо враждебно-шпионского американского посольства с его хмурой охраной, а по их праздникам и с огромным звёздно-полосатым флагом.

Но пора возвратиться в Ростов. Здесь стандартная прогулка – на Вокзал. Тогда там было относительно мало народу (или мы, аборигены, его не замечали), а запах только волнующий, железнодорожный – от угля паровозных топков. Внутри – самый большой в городе развал киоска "Союзпечать". Там свежий еженедельный общественно-политический журналчик "Новое время" и окно в Европу – недельной давности (пустяк) доступно-дешёвые номера пролетарской, но настоящей (!) английской газеты Daily Worker - Morning Star.

Там же, вот вам развлечение в стиле будущего хепенинга. В начале лета после экзамена от нечего делать и для разрядки забредаем на платформу – полкласса народу. С обеих сторон остановились два поезда дальнего следования. Духота, пассажиры бегают в поисках глотка воды. А тут как раз мы, выстроились в аккуратную очередь у монопольной тележки с газировкой, один за другим, не торопясь пьем. стакан без сиропа 1 коп. Кто сколько сможет, демонстративно растягивая удовольствие. Мой друг Репин однажды выпил *на моих глазах* подряд 18 стаканов, 21 – это был легендарный рекорд, другие выдерживали меньше, но тоже старались.

Поистине крупной материально-психологической составляющей школьных лет для меня был купленный на толкучке трофейный немецкий велосипед. Прекрасный на вид, лёгкий на ходу, но предельно изношенный и катастрофически нестандартный, абсолютно несовместимый по железу и резине с деталями пензенского и харьковского заводов. Поэтому в памяти ни одна сторона не может перебороть другую: с одной стороны, уникальное удовольствие от свободы и риска бесшабашной езды по крутым каменистым улицам, окрестным степям и кушам, а с другой – поиск инструмента, спиц, гаек, заклёпок, мучительное заклеивание гнилых камер скверным клеем и скверной резиной и даже зашивание великолепных в молодости, но расплзающихся по кругу мягких покрышек фирмы Dunlop.

### **Третья железнодорожная школа.**

Кроме названия школа по всем параметрам была обычная городская. Тем не менее, все учителя считались железнодорожниками, получали бесплатный уголь, имели свою больницу на Нахаловке и поликлинику у Лензавода, получали ордена за выслугу лет, мужчины носили чёрную форму. Руководство школы пользовалось непререкаемым уважением. Директор Павел Григорьевич Павлов преподавал историю по своему методу. Сидя свободно откинувшись за столом, он держал перед собой открытый учебник и медленно зачитывал его, переворачивая страницу за страницей. Но весь урок в классе стояла безукоризненная тишина. В то же время он летом на равных играл с нами в волейбол. И не использовал служебного положения. Его две

дочки, Елена и Ольга, которые вращались в наших кругах, удачно вышли замуж, но вовсе не за подведомственных ему учащихся. Кроме этой шутки было и кое-что более существенное.

Так, в нашем классе вдруг появились два новых ученика – братья-близнецы Миценко, нормальные ребята, гимнасты-перворазрядники и не дебилы, но к тому же отпрыски кого-то вроде начальства досталась также одному из "Миценок", но, как я и говорил, они были в общем нормальные ребята.

Павел Григорьевич в Северо-кавказской железной дороги. Каково и зачем им надо было каждый день преодолевать расстояние по диагонали через весь город в нашу скромную школу на границе Олимпиадовки? Конечно, может быть, просто из семейной любви ко всему железнодорожному. Тем не менее, две золотые и серебряную медали получили мы, аборигены, никто из наших претендентов не был обижен. Только одна серебряная сорок первом году работал в Управлении СКЖД и летом был назначен командиром взвода ростовского полка народного ополчения. В своих рукописных воспоминаниях он свидетельствует, что в ноябре полк получил приказ занять позиции для прикрытия отступления регулярных армейских частей. (Ситуация слово в слово совпадает с воспоминаниями знаменитого писателя Данила Гранина, который примерно в те же времена находился в ленинградском ополчении). Взвод Павлова оказался крайним на левом фланге этой защитной линии рядом с хилым, но тактически важным, единственным мостиком через Темерник возле проходной упомянутой выше олимпиадовской кожгалантерейной фабрики. Ополченцы находились между речкой и железной дорогой, примерно в километре от главных сил полка. Это было что-то вроде безнадёжно одинокого предвокзального форпоста, метров на полтора от конца нашего Бурного спуска, ниже по течению Темернички. Ситуация внешне напоминает знаменитый роман Хемингуэя, только вместо его мрачного романтизма здесь нечто другое, одновременно более простое, массовое и несвободное. В нашу войну Хэм вполне мог отдыхать.

С удовлетворением природного крепкого хозяйственника Павел Григорьевич пишет, что от проходящих в беспорядке войск во взводе прибавлялось вооружение. (Некурящий Гранин упоминает, что обменял свой табак на винтовку у какого-то пробегающего мимо красноармейца). Появился даже неучтённый станковый пулемёт. Его принял какой-то безымянный прибившийся к ополченцам "минёр" (так директор называет этого человека), который позже в этот же день "погиб в бою смертью храбрых". К середине дня поток отступающих войск иссяк, и наступило затишье перед неизбежной встречей со всем неизвестным, чем располагал на тот момент в данном месте германский вермахт.

Боевое столкновение произошло со странно одетым в подобие красноармейской формы, но несомненно враждебным отрядом, вооружённым автоматами<sup>39</sup>. Сейчас известно, что это было штурмовое спецподразделение "Бранденбург" из группировки Клейста. Естественно, удержать Ростов ополченцы не могли. Тут же на позиции при отходе наш директор был тяжело ранен. Его подобрала и лечила женщина с Андреевской улицы, а затем некоторое время до прихода наших другие люди скрывали за шкафом в кабинете физики будущей его и нашей "третьей" школы на Собино. После многих перипетий, в которых участвовали скрытно проникшие в Ленгородок люди из отступившего за Дон полка, его перевели в собственную ленгородскую служебную квартиру в школе на улице Коцебу. Там его помогала перевя-

<sup>39</sup> Вопреки современным кинопечатлениям, у большинства немцев были винтовки – чуть короче, чем наши и с удобно прилегающей к ложу рукояткой затвора. У нас это было предусмотрено только в снайперской модификации.

зывать нынешняя гражданка США, а тогда Татьяна Соболева, по свидетельству которой я уточнил некоторые детали<sup>40</sup>.

Независимо от этого повествования Павла Григорьевича, Никифоров рассказывал мне, что в день оставления Ростова на углу Собино около Дворца, несмотря на стрельбу, ещё стояла в ожидании очередь у хлебного магазина, и за порядком в ней наблюдал милиционер. Неожиданно там появились со стороны Темернички какие-то не по форме одетые автоматчики. Проходя мимо этой очереди, они застрелили милиционера и проследовали далее вдоль Лензаводской улицы по направлению к Дону. Упомянутый позднейший анекдот, хотя и довольно искусственный, о том, как немцы, войдя в Ростов, удивлялись: вокруг стреляют, а базар работает тем не менее, сочетается и с этим реальным эпизодом.

Второе лицо преподавательского корпуса – "завуч" Клавдия Максимовна Ермакова – сухая прямая, "старорежимная", со сжатыми губами, преподавала литературу. Строго в духе тогдашней методики и учебника. Образ Печорина, образ Татьяны, и т.п. Но в ней доминантно присутствовал стержень педагогического профессионализма, непререкаемый гипноз, как у удава в отношении кролика. Хотя ленгородские ученики были отнюдь не кроликами. Директора называли САМ, а Клавдию – САМА. Перед уроком кто-нибудь стоящий на стрёме вбегал в бушующий класс с придуренным свистящим криком – САМА! И всё мгновенно затихало, только шеи вытягивали и прислушивались, как к шагам командора. Недавно Никифоров подтвердил мою интуитивную догадку, что она тоже имела "основание" ожидать подлянки от советской власти за родственников, было от чего оберегаться.

Феодосия Гавриловна Руновская, учительница географии, наша классная руководительница, большой, доброжелательный народно-педагогический психолог, жила рядом, знала всю подноготную каждого, отличалась необыкновенной энергией и заботливостью. Дочка её Лена (старше нас) играла на скрипке, мы были вхожи к Фее домой.

Я до сих пор сожалею о том, что с учителями математики и физики именно мне не повезло. В Ростове они, как таковые, были очень хорошие, Георгий Фёдорович Рупчев и Кирилл Долматович Саульский, физику высококлассно преподавала академичная и бесстрастная Серафима Владимировна Мусил, которая без всяких специальных усилий сманила на физмат четырёх моих одноклассников, двое из них (Никифоров и Снопов) стали профессорами, двое (Швейцер и Шаркин) были близки к этому, но умерли доцентами. У меня же с учебником физики было нормально, но задачи не укладывались в голове абсолютно. Поскольку многие соученики преуспели не только в физике и механике, но и в инженерном деле, а у меня всё же была пятёрка, то я, может быть, беспочвенно думаю, что мне, возможно, надо было что-то подсказать, нужен был особый подход.

Школа была мужская, в этом качестве единственная на весь обширный Ленгородок. Несмотря на это в нашем выпуске было всего 17 человек, а в предыдущем вообще 13, в том числе Виктор Репин, потом инженер, науколюб, прирожденный характерный артист и фантазёр-педагог; Эдуард Бочаров, кинорежиссёр; Олег Касимов, горный инженер - исследователь в Донбассе; Ломоносов – начальник огромного железнодорожного узла Иловая... После седьмого класса (к этому времени относится первая групповая фотография) по материальным причинам ушли в техникумы

<sup>40</sup> Дальнейшая судьба ростовского ополченского полка была трагична. После форсирования Дона по критически тонкому льду в конце ноября и боя у Цементного завода, ниже железнодорожного моста в составе полка в 1942 году осталось 1200 человек. Во время летнего отступления этим людям, спасаясь, пришлось переплыть Дон в районе Аксая на подручных средствах, после чего на левом берегу собралось 800 человек, а в предгорьях Кавказа, где эта часть была расформирована, осталось всего 140 бывших ополченцев.

способнейшие и серьезнейшие ребята Кондаков, Майоров, Коровин, ничуть не уступавшие оставшимся будущим профессорам. Однако эта материя уже совсем выходит за рамки повествования.

*Репин умер 2 августа 2009 года. Он был своеобразным, противоречивым человеком. Окончил строительный институт, но никогда не строил. Был руководителем сектора по АСУ – автоматической системе управления, но проявил абсолютное отторжение от компьютеров, интернета, даже в значительной мере – от телевизора. Он был погружён в мир научно - популярных идей и сведений, в решение невыростых математико-физических задач, типа тех, на которых специализируется журнал "Квант". Долгое время искренне хотел закончить физическое отделение РГУ, но так и не дошёл до третьего курса (где я, чтобы стимулировать его продвижение, обещал обеспечить свободный проход по политэкономии).*

*Таланты его были универсальны. Первый комик в нашем школьном театре, в десять раз смешнее претендовавшего на эту роль, слишком заточенного на профессионализм Бочарова. Галя вообще убеждённо считает, что он мог бы стать выдающимся актёром. Столь же замечательны были и его педагогические таланты. Сын соседки по коммунальной квартире искренне считал его волшебником не только за фантастические рассказы, но и за специально придуманные им настоящие чудеса. Сам Репин вспоминал, как однажды, когда в классе сына он показывал ученикам двуязычную надпись на Росетском камне, по которой Шампольон раскрыл тайну египетских иероглифов, один парнишка в наэлектризованной аудитории, опережая разгадку, вдруг вскочил и с горящими глазами в восторге закричал, что он сообразил, сам прочитал эту знаменитую надпись.*

*В совершенно зрелом возрасте он ушёл в другую жизнь – стал железнодорожником, проводником-механиком рефрижераторного поезда. С ним за несколько лет исколесил всю территорию Союза. Затем как-то своеобразно занялся политикой. В перестройку проявил сомнительный, несколько суевливыи энтузиазм, выступая против "демократов" за то, что они ликвидировали советские научно-технические завоевания и уронили в грязь престиж инженеров, учёных, служаков-военных в пользу жадных вахлаков прихватизаторов.*

*Несмотря на то, что в обычной жизни он часто был капризен, ненадёжен, а порой из-за этого просто несносен, на него было невозможно обижаться, более того – не любить.*

Я уже упоминал об относительной свободе нашей ленгородской школы от демонстративного проявления политики и идеологии. Было несколько причин такой ситуации. Первая – это сама атмосфера ощутимо отдалённой от центра города рабочей окраины, соответствующий простой трудовой состав учащихся, их родителей. Это отразилось и на подборе учителей – часть из них местного происхождения со всеми сопутствующими свойствами, более скромные, менее карьерные, некоторые из приходящих – возможно заинтересованные не быть на виду, как упомянутая выше "старорежимная" Клавдия Максимовна. Директор – Павел Григорьевич, хотя и служака с опытом ростовских чиновничьих отношений, но добрый человек большого здравого смысла, вполне удовлетворённый достигнутым в свои зрелые годы уровнем руководящей работы. Немаловажно и то, что школа была в административном подчинении не у министерства просвещения, а у отдела школ Северо-кавказской железной дороги, то есть у министерства путей сообщения.

Поэтому, как я ни стараюсь, из всех проявлений не учебной жизни могу вспомнить только школьные литературные и сценические вечера. Интересно то, что их движителем была инициатива снизу. Роль директора и преподавателей никогда не была организационной. Некоторые интересовались, поощряли, присутствовали, когда было интересно и выдавалось свободное время (а этому способствовало уже хотя

бы то, что тогда ещё не было телевизоров), но практически не участвовали непосредственно, признаков контроля никто и никогда не видел. В центре суеты была с большим трофейным аккордеоном Тамара Курсова, которая числилась по должности, кажется "старшей пионервожатой", но на деле была понятным, равноправным участником, вторым режиссёром (после Бочарова), музыкантом, словом, практически ничего официального.

Большей частью ставили различные отрывки из классики. Например, сцену в корчме из "Бориса Годунова", где разносторонний Никифоров пел "Как во городе было во Казани". Я помню своё участие в юмористических сценках из Аверченко (!) и в роли беляка-конвоира, которого распропагандировал матрос Швандя из "Любови Яровой" Тренёва. До сих пор жалею, что из-за поездки в Москву пропустил высшее достижение театральной деятельности – спектакль по гоголевской "Ночи перед Рождеством", поставленный в режиссуре будущего профессионала Эдуарда Бочарова, с участием выдающегося комика Репина, Никифорова и многих других из избытка сценических талантов двух наших дружественных старших классов. Постановка по требованию публики прошла *два раза* с оглушительным успехом, хохот стоял невиданный.

Пребывая среди многих ярких артистических и стихотворных личностей<sup>41</sup>, о себе мог бы сказать словами Репетилова "меж ними я, конечно, зауряд", но и не совсем статист. Каждый школьный вечер обычно до самостоятельности предварялся докладом на литературные темы. А докладчиков, кроме меня было мало, я никого не могу припомнить. Дело дошло до того, что я начал халтурить, вплоть до прямого использования цитат из учебника литературы. Было очень стыдно, когда за это меня безжалостно (хорошо хоть не прилюдно) высмеяла интеллектуальная Святковская, будущая студентка филфака университета.

К восьмому классу я уже утвердился в положении признанного отличника с гуманитарно-общественным направлением, которому прощались некоторые провалы и делались небольшие, как бы невидимые послабления и натяжки по точным наукам. Поскольку я не доставлял учителям никаких неприятностей, они делали это почти автоматически.

В записные отличники вышел и Никифоров, способности которого были гораздо более сбалансированы. Достаточно сказать, что он, не испытывавший никаких неудобств в математике и физике, легко допускал для себя возможность пойти на философский факультет. Услышав об этой перспективе, Нина Ивановна, его эксцентричная мать, воздела руки и громко-горестно высказалась о том, каково ей будет, когда другие матери вокруг будут говорить: у меня сын инженер, у меня врач, юрист, а что я, а у меня – курам на смех – философ!

Моя мама, Вера Ивановна, придерживаясь той же логики, что и мать Никифорова, конечно, в иной, менее красочной форме, хотела пустить меня по надёжной медицинской части и даже почему-то (кажется, не только из-за живущих там родственников) имела в виду именно Военно-медицинскую академию в Ленинграде. Я тоже не отметал такой вариант сходу, поскольку всегда интересовался этими материями, в частности, как упоминал ранее, закулисным технологическим процессом в лаборатории, где работала мама. Длительное время в круг моего постоянного чтения входила толстенная книга, кажется "Учебник для фельдшеров", которая охватывала весь спектр врачебно-практических вопросов и медицинского антуража, была хорошо иллюстрирована, написана просто и интересно. Там даже сообщались численные сведения о типовых потерях при обороне и наступлении, соотношение убитых и ра-

<sup>41</sup> Однажды на уроке литературы зашла речь о стихописании, и следующее домашнее сочинение, по разрешению учительницы, десять человек из семнадцати представили в зарифмованном виде.



ненных, процент черепно-мозговых ранений в касках или без них и подобные вещи, которые до сих пор помогают при оценке правдивости сообщений из горячих точек.

Мне сейчас трудно восстановить все проблемы, которые занимали меня в ростовские школьные четыре года. Мучительным лейтмотивом тогдашней умственной жизни была бессистемность. Помимо учения уроков всё время терзала мысль о необходимости как-то упорядочить цели и процесс нахождения и накопления знаний. Казалось, что время утекает между пальцев, проходит впустую, и теряется так, что его уже не наверстать. Объективный аспект ситуации состоял в скудном и случайном выборе источников знаний. И без того небольшие книжные ресурсы окрестного населения во время войны были утрачены, библиотеки не было, так же как и других постоянных источников получения литературы.

Летом какое-то время я проводил в уютном зелёном читальном дворике городской библиотеки им. Карла Маркса. Там можно было найти материал для подготовки к сочинениям и докладам, но это было далеко, неудобно, требовало больших специальных затрат времени, просто не укладывалось в рабочий день, особенно когда учились "с обеда", во вторую смену. Результаты этой информационной скудости трудно перечислить (их много), но легко представить. Например, я до сих пор не читал "Записки Пиквикского Клуба", "Сагу о Форсайтах", ничего из Анатолия Франса и Ромена Роллана, кроме случайного "Колы Брюньона" в блистательно-складном русском переводе, и т.д. и т.п.

То же самое можно сказать и в части "нехудожественной" литературы. Попалась откуда-то "История дипломатии" – два разрозненных тома. Подписывался на упомянутый журнал "Новое время". Там царили такие недостижимые люди как специалист по циклам Бечин со статьями о перманентном кризисе в Америке, Ашик Аветич Манукян с конъюнктурными обзорами о биржевых обвалах и росте безработицы. Интересно было бы, если б я тогда узнал, как будет словесно издеваться над ними (соседями по этажу) мой будущий начальник и руководитель Громов.

Постоянно читалась "Литературная газета", в которой соответствующим образом трактовались различные зубодробительные идеологические дискурсы времён культа личности, процветало безбрежное поношение американской культуры и образа жизни, клеймились поджигатели атомной войны. Ещё не было даже намёка на эмбриональный аналог современной интернетовской "Инопрессы" журнал переводных статей "За рубежом". Это издание появилось уже в период преподаательства, в конце 50-х.

В какой-то момент, не найдя других возможностей как-то организовать и упорядочить самообразование, я от безысходности набрёл на рецепт: просто стараться не допускать дыр во времени, всё время читать что-нибудь, что имеется в наличии, включая Краткий курс истории ВКП(б) и сталинские "Основы ленинизма". А там, может быть, всё это когда-нибудь и пригодится, даже куда-нибудь встроится. Так и читал всё подряд от энгельсовых "Диалектики природы" и "Анти-Дюринга" (эту великолепную книгу я считал смешнее "Крокодила") до отрывного календаря.

Совсем недавно я обнаружил, вдруг с запозданием понял, что вдобавок к информационному голоду в эти критические годы формирования личности вокруг не было и никакого конкретного человека в качестве образца для подражания, воплощения авторитета, "учителя жизни", морального и интеллектуального руководителя. Только в будущем в этой роли окажется Е.А. Громов, который действительно сумеет оставить неустранимый отпечаток в моём интеллектуальном развитии и в профессиональной, академической ориентации. Подводя итог, нужно назвать и директора ИМЭМО – Н.Н. Иноземцева. В отношении к нему я испытывал что-то вроде почтительного восхищения, смешанного с объективным пониманием того, что он представляет иной по набору личных качеств и далёкий от моих возможностей мир жиз-

ни и деятельности. Конечно, были и другие люди, у которых я пытался, чаще безуспешно, заимствовать недостающие мне качества.

В виде заключения рассказа об умственно-образовательной составляющей жизни годится проследить, откуда взялось решение о поступлении на экономический факультет МГУ. К описываемому времени относится оказавшаяся неожиданно символической случайная покупка в киоске Союзпечати, что стоял на вокзальной площади около трамвайной остановки. Это была довольно толстенькая брошюра, белесая с кремовым оттенком, с профилем бородатого Маркса в круглом монетном обрамлении и под названием "Накопление капитала" из серии для изучающих марксизм-ленинизм. Но в данном случае книжечка совсем не популярная, ни для кого во всём СССР абсолютно не интересная, поскольку содержала отрывки даже не из "Капитала", а из "Теорий прибавочной стоимости" и ещё бог знает из чего. Только для одного меня это небольшое издание вполне можно трактовать как перст судьбы, хотя я тогда, конечно, представить не мог, что проблематика накопления будет преследовать меня всю жизнь.

Должен сказать без всякой натяжки, что хотя я, конечно, тогда ничего не запомнил и тем более нигде никогда не использовал этот туманный, обречённый на макулатурную судьбу опус, однако что-то срезонировало внутри, возник толчок, от него волны пошли, какое-то предчувствие интереса возникло, которое затем зацепилось за лапидарные строчки в зелёном "Справочнике для поступающих в ВУЗы" только в одном месте, где описывалась специальность "политическая экономия" и только на экономическом факультете МГУ.

Во всём этом процессе выбора профиля обучения следует отметить полную свободу от карьерных соображений. И даже от мыслей, где можно применить подобного рода сведения. Как в Древней Греции, где любознательные граждане почему-то интересовались знаниями у бродячих или академических философов и математиков. Примерно те же импульсы были у Никифорова, когда он в один из моментов представил своё будущее в качестве философа, а потом окончательно – университетского студента-физика, а не прозаического инженера.

Но ничто не проходит бесследно, а против природы, как говорил другой, знаменитый физик, не попрёшь. И поныне до старости лет, за что ни возьмётся Никифоров, везде вылезает гуманитарная натура универсального наследственного собирателя коллекций: дома – марки, монеты, сувенирное холодное и огнестрельное оружие. Для духовного развития – составление и публикация оригинальных биографических описаний мыслителей и философов, физиков и даже экономистов всех времён и народов. Для выхода высших эмоций – вереница параллельных оригиналов и переводов самых лучших и самых лирических стихов в мире. Даже на работе – бесконечная хороводная очередь рентгеновских просвечиваний спектров хитрых комбинаций менделеевских элементов<sup>42</sup>,

Именно Никифоров был у нас в отечестве одним из первых (уже лет тридцать назад), кто реализовал развитую теперь в Британской Энциклопедии и во многих других местах идею о параллельной хронологии выдающихся событий в разных сферах развития человеческого общества, так сказать, от музыки до химии. Но по присущей нам ленгородской инертности дождался времени, пока этот подход стал банальным. Однако до сих пор мало кто может сравняться с ним по фанатичному

<sup>42</sup> Природный любитель и энциклопедический знаток научных загадок и свершений Репин буквально преследовал его требованием преодолеть рутину накопления скучных измерений и целенаправленно искать своим спектральным анализом уникальную высокотемпературно-сверхпроводящую комбинацию вещества. Он взволнованно пытался соблазнить "Никифора" не менее чем гарантированной за такое дело Нобелевской премией, но безуспешно. Самое интересное в том, что годика через два какие-то иностранцы нашли такой сплав и действительно получили эту премию по физике.

розыску факсимильных росписей сотен своих персонажей и, бесспорно, никто – по созданию уникальной, кажется, бесконечной галереи их штриховых портретов. Рисунки выполнены им собственноручно, в одинаковом стиле, но все строго индивидуальны. Для многих из них невозможно оценить портретное сходство, но соответствие выражения лиц характеру мировоззрения и творчества каждого из этих знаменитостей всех времён и народов совершенно и очевидно.

Одновременно со всем этим Никифоров являет образец рачительности. Собственные книги коллегам и даже начальству продаются, цветы и ягоды с садового участка идут оптом на базар, всякая экономия отождествляется с заработком. Вряд ли кто-нибудь ухитрится столь выгодно продать старый компьютер, или получить неправдоподобную скидку на традиционно дорогой монитор Apple. Я его часто донимаю дежурной подначкой, что при таком коммерческом потенциале нелепо иметь столь малые масштабы, копеечный, в общем, размах деловых операций. Такие бы способности, да на большие дела! Всё-таки интеллигентность мешает. Не позволяет брать даже не взятки как таковые, а даже то, что *само плывёт в руки* понимающему и расторопному заведующему кафедрой в ростовском вузе. Зато Никифоров часто упоминает, что его неизменно приглашают на все публичные и официальные мероприятия, где вокруг него выются, демонстрируя окружающей публике взаимные дружеские отношения, академические руководящие деятели.

К числу таких же "идеалистов" надо добавить всех наших одноклассников, упомянутых в первой части. Из них вышло три физика и математик, которым была одна дорога – преподавать в вуз. Неплохое, конечно, место, но тогда-то они этого ни сном, ни духом не знали и не брали в расчёт. Наверно, именно в силу такого инфантильного умонастроения мне намертво врезался в память один совершенно малозначительный эпизод из начала студенческой жизни. Я отчётливо помню, обстоятельства, место (у верхнего угла знаменитого общежития Московского университета на Стромынке 32 по дороге к проходной), погоду и даже время дня. Мы с однокурсником и соседом по комнате шли пешочком с занятий от метро и он, между прочим, сказал, что теперь, поступивши на восточное отделение нашего факультета, всю жизнь будет иметь хлеб с маслом и икрой.

В данном случае я говорю только о себе и не могу представить обстановку среди *всех* школьников не только Ростова, но и нашего класса. Определённо могу только сказать, что никогда не слышал среди одноклассников разговоров о выборе профессии, а тем более жизненного пути. Только лапидарные результативные сведения о том, кто куда поступил, главным образом в технические вузы – строительный, железнодорожного транспорта, сельхозмашиностроения и т.п. Практичность в выборе профессии проявлялась так же автоматически, как при прочих имущественных и хозяйственных делах.

Из исключений можно назвать в двух классах, нашем и предыдущем, Эдика Бочарова, казалось рождённого для кинорежиссерской карьеры и с пелёнок нацеленного на ВГИК. Тарас Ковальчук и Адимов пошли в мединститут. Из женской школы – сёстры Павловы – наследственно-генетически в пединститут, Аля Корсикова на юрфак университета. Кроме меня из Ростова тогда уехала несравненная Татьяна Соболева – на аэродинамику в Ленинградский политехнический, а её подруга, способная, развитая и общительная Ольга Моргун в Москву на мясомолочное отделение Пищевого института – вот где практицизм проявился в чистом виде! Следует помнить, что на обширный Ленгородок тогда были всего два малочисленных десятых класса, один в нашей третьей и один в первой, женской школе. Возможно, именно это и создавало специфический отбор людей по их личным качествам.

**Экономический факультет МГУ.** Поступление в Московский Университет прошло неправдоподобно легко. Отнёс на почту заявление, аттестат и характеристи-

ку, через месяц получил невзрачное письмецо – "вы приняты на экономический факультет по специальности политическая экономия с предоставлением общежития". Взял эту справочку, сел в поезд и прибыл на Казанский вокзал. Затем был заход в канцелярию деканата на Моховой. ничем не запомнившийся, кроме тёмных корявых каменных ступеней полуметровой высоты. Там без лишних слов выписали направление на какую-то ещё неизвестную мне Стромынку 32 в комнату 574.

Далее метро Сокольники, от него четвёртая остановка на трамвае, низкий казённо-жёлтый квадратный (каждая сторона длиннее 100 метров), четырёхэтажный дом-комплекс с проходной, ведущей в обширный внутренний двор. В его геометрическом центре – одноэтажный бледно-жёлтый дом классической архитектуры с зелёным куполом. Здесь располагалась баня и прачечная, стараниями которой у нас четыре года без единого сбоя каждую субботу меняли постельное бельё. От свирепой круглосуточной проходной для новоприбывших дорога была только одна – в санпропускник, где отобрали одежду на прожарку против вшей и отправили в баню на помывку. В бане встретил первого будущего однокурсника, Гену Сапова (ему досталась 475 комната).

Когда вошёл в свою комнату, там среди голых железных кроватей сидел справа у окна один меланхоличный Юра Кожин, который ещё не успел получить постельные принадлежности. Почему-то я пристроился не у другого окна, а на следующей кровати. В ногах у меня – ординарный двустворчатый семейный шкаф, служивший для продуктов и верхней одежды, за ним мусорное ведро с веником и входная дверь. Слева вдоль стены три кровати, ещё одна поперёк между окнами, посередине под лампочкой – стол.

Впоследствии среднюю кровать развернули и рядом поставили седьмую. На них были последовательно, но не надолго китаец Жень-Сиянь, который первым делом сбегал на Язузу проверить съедобность местных лягушек, потом чех, кто-то из поляков и постоянно – пришедший позже Виктор Руднев. Ещё позже у них в ногах поперёк перед столом поставили восьмую, на которой поселился медлительный аспирант Володя Назаров из какого-то присоединённого к МГУ упразднённого института, кажется востоковедения.

Внутри на всех этажах вокруг всего здания протянулся бесконечный замкнутый коридор, очень пригодный для длительных неторопливых прогулок, с двух сторон однообразные пронумерованные двери комнат, в углах туалеты, умывальные комнаты и кухни с газовыми плитами и титанами, постоянно пыхтящими кипятком. Вся Стромынка и, как мне кажется, в особенности наш факультет отличались безукоризненным соблюдением санитарных требований. Фронтвики задолго до нашего прихода ввели особый стиль безукоризненного без морщинки строжайше однообразного застилания кроватей конвертиком, нигде ничего не валялось, стол был чист, пол подметён, а кроме того его еженедельно мыли уборщицы, с литературой и конспектами работали в читальном зале на первом этаже, так что на комнату было любо-дорого посмотреть.

За всем этим свирепе наблюдали факультетская комиссия и студком, а высшим органом закона и порядка на Стромынке был Студсовет, во главе которого в моё время стоял Лукьянов, будущий "серый кардинал" ГКЧП 1990 года, интриган, подхалим и предатель Горбачева. А сам будущий Генеральный секретарь и реформатор тогда без всякой помпы тоже жил в какой-то комнате на втором этаже. На столе бытовал белый кипятик в железных кружках из упомянутых титанов (чай часто не заваривали за непониманием, для чего нужна эта суета) вместе с мягкими дешёвыми батонами за 13 копеек и маргарином в серебряных пачках из фольги, иногда брикетки с плавленым сыром "Дружба", сахар-песок, изредка в качестве предметов роскоши прекрасные коричневые мягкие соевые конфеты "под шоколад" – "Кав-

казские", "Домино" или "Волна" составляли наш обычный завтрак или ужин. Покупали также молоко (иногда сладкое коричневое "шоколадное") и кефир.

Обедали все стромыньские, как правило, в университетской столовой в подвале на Моховой. Социальные различия проявлялись в том, что "богатенькие" брали шницель натуральный за 5 рублей, основная масса – шницель рубленый за 3 с небольшим, а Юра Кожин один раз перед стипендией на спор за последние собранные с участников деньги съел что-то около 20 порций картофельного пюре по рублю 10 копеек. Тогда были ещё домикояновские<sup>43</sup> времена с официантками, которые отбирали чеки и приносили еду, а в кассу и за каждым занятым стулом стояла очередь из голодных и торопящихся, причём требовался опыт и интуиция, чтобы верно определить, какие места освободятся быстрее.

Украшением общежития был Стромыньский клуб. По вечерам подходили к проходной с желанием поскорей узнать, висит ли очередная рукописная афиша клуба и что в ней сегодня. Известные актёры, практически все популярные композиторы во главе с Богословским, каждый из которых начинал с исполнения на рояли по-пурри из своих знакомых всем песен. Назым Хикмет и Поль Робсон. Другие певцы, например, косивший под Собинова недолговечно модный тенор Геннадий Пищаев, ветеран Большого Соломон Хромченко и камерный Георгий Виноградов, знакомые мне, как в своё время Савва Куролесов булгаковскому управдому, по своим частым выступлениям по радио. Много музыкантов – Леонид Коган, молодой Наум Штаркман и старый Генрих Густавович Нейгауз, который не концертировал, а как-то по домашнему с комментариями *показывал* пьесы Скрябина, и известные, и нет, но интересные и которые надо, де, знать.

Были популярные тогда шахматисты, спортсмены, различные "текущие" знаменитости. Иногда стромыньские мероприятия сопровождалось необыкновенным ажиотажем. Когда приехала знаменитая тогда защитница мира Раймонда Дьен, которая где-то во Франции села на рельсы перед американским военным эшеленом, казалось, что люди висели даже на люстрах низкого потолка. Я сидел на полу сцены почти под столом, рядом с ногами Раймонды.

Можно продолжать о специфике тогдашней студенческой жизни, одежде и аксессуарах, тур- и агитпоходах, заходах в рестораны, театры и Третьяковскую галерею, но всё же нужно переходить к главному. Надо признать, что экономический факультет представлял собой образец советского политического, общественного и научного догматизма в полностью развитом виде. Это качество имело два аспекта – учебно-научный и партийно-идеологический. Они постоянно переплетались, но по содержанию и воздействию были различны. Чтобы дать представление о первой стороне, можно привести один пример. В 1953 году на спецсеминаре по политэкономии социализма знаменитый столп факультета, тогда ещё доцент, Иван Иосифович Козодоев, отбросив текущую тему и доклады, стал объяснять нам, какая бездна принципиальных оттенков смысла заключена в только что вышедшей работе Сталина "Экономические проблемы социализма в СССР".

Посмотрите – горячился он – на странице 9 написано "**по** поверхности явлений", а на странице 14 – совсем другая формулировка – "**на** поверхности явлений". Это два *совершенно разных* методологических феномена. Смотрите, вот *ПО*, и он показывал средним и указательным пальцами как *ПО* шагает по его руке до локте-

<sup>43</sup> Этот выдающийся во многих отношениях государственный деятель, прошедший через всю советскую историю, как впоследствии говорили, *от Ильича до Ильича без удара и паралича*, в 1956 году съездил в США и привёз оттуда инновационную для нас идею самообслуживания в общественном питании. Эта технология оказалась на всю оставшуюся жизнь уникально рекордной по востребованности в нашем отечестве. Она распространилась со скоростью лесного пожара, после чего институт официантов превратился в исключительную принадлежность дорогих ресторанов.

вого сгиба... А *НА* – это совсем другое дело... Тут его неожиданно прервала дотошная Женя Орлова: Иван Иосифович, а у меня на 9 странице напечатано – не по, а на. Доцент её возмущенно осадил, чтобы не молола чушь, и вдохновенно как соловей, не слышащий ничего вокруг, кроме своей песни, продолжал объяснение. Но здесь ещё кто-то робко подал голос – у меня тоже "на". Книжки были у всех, начали листать – у одних по, у других на! Стали сравнивать издания. Тогда тираж бестселлера допечатывался каждую пару недель, и "по" было благополучно исправлено на "на" в более позднем издании. И ничего, даже немой сцены, как с гуся вода...

Оглядываясь назад, я (и не я один) не могу выделить почти никого более или менее выдающегося из ровной череды наших преподавателей. Приходят на ум только артистические лекции Цаголова по "Капиталу" на первом курсе (больше он нам ничего не читал) и семинары того же Козодоева. Безусловно, оба представляли собой ярко выраженных личностей. Персонажи были, правда, довольно сомнительной привлекательности, но оба, каждый по своему, политическую экономию любили и получали удовольствие (отчасти самолюбовательное, иногда мазохистское) от своей преподавательской деятельности. Профессионально читали Блюмин, Полянский, Татур, Драгилев, внятно, но как-то уж чересчур просто подавал азы статистики старик Савинский. Но наряду с ними за кафедрой стояли абсолютно, можно сказать, демонстративно пустой Пашков (политэкономика социализма) и малопривлекательный из-за своего примитивизма и даже внешности Соколов (экономика нашего бедствующего сельского хозяйства).

Луиза Ночёвкина, которая пришла на географический факультет чуть раньше, рассказала мне, что в 1947 году у экономистов была большая идеологическая чистка. В частности, от нас к ним вылетел знаменитый демограф профессор Урланис. Вместе с самой демографией, которая за ненадобностью (лучше сказать, неискоренимой неблагонадёжностью и порочностью) исчезла из учебного плана. Это было время сразу после разгрома "группы" экономистов академика Варги и поношения других специалистов, которое открыло период полного отрыва общественных наук от реальных процессов мирового и отечественного развития. Именно тогда в одной из многочисленных погромных рецензий на скромную книгу Бокшицкого о волне технологических сдвигов, произошедших в промышленности США во время второй мировой войны, авторитетный тогда профессор Ф-в разъяснял, что *"подлинно научная работа должна быть обвинительным актом против капитализма"*.

Инструментальным средством для того, чтобы на корню отсечь студентов от жизни, было полное отключение работы со статистическими данными и вообще от любой цифровой работы, от умения воспринимать содержание и значение статистических сведений. Только цитата из Маркса о важности математики для общественной науки, только лицемерно-платоническое восхищение земскими статистиками<sup>44</sup>, которые создали благодарный материал для таблиц в монографии Ульянова "Развитие капитализма в России". В результате мне неловко вспоминать, какой дурацкой гордостью я был переполнен, когда на третьем курсе создал свою убогую табличку, для которой пришлось самостоятельно посчитать проценты на гнусном арифмометре "Феликс".

Тем не менее, к экономфаку у меня нет неподъёмных претензий. Это происходит отчасти потому, что я не могу не учитывать печально-помойное состояние

---

<sup>44</sup> Какая судьба ожидала бы этих дотошных профессионалов, окажись они в СССР, можно судить по тому, что с 1926 по 1940 год в центральном статистическом ведомстве нашей страны сменилось пять руководителей: И. Верменичев, И. Краваль, В. Милютин, С. Минаев, В. Осинский. *Все пятеро были расстреляны*. Этот факт не мог не отразиться на содержании, уровне и месте преподавания демографии и статистики у нас на экономическом факультете.

всех аспектов жизни в тогдашней нашей стране, а также из-за того, что мне не с чем сравнивать по причине незнакомства с содержанием экономической подготовки в других московских экономических вузах, которые всё равно не годились мне как любителю именно политической экономии, а не прикладных предметов вроде статистики, планирования или бухучёта.

Однако, трезво оценивая это своё примиренчество, я сейчас склонен видеть в нём заслугу не факультета, и не его преподавателей, а роль главного действующего лица образовательного процесса – самого гиганта-классика – Карла Маркса. Конечно, обидно за его неестественное теоретическое одиночество, но если бы не он со своим "Капиталом", то факультету было бы нечего предъявить своим всеядно-доверчивым студентам, кроме гордого звания питомцев знаменитого университета. Богатейшее содержание марксовых сочинений, которое позволило направить умственный поиск внутрь своей уникальной, завораживающей экономической логики, философских прозрений и литературных достоинств, смогло как-то компенсировать отсутствие свободного осмысления экономических реалий и конкурентных систем.

Этому уникальному качеству теории, а также и опыту дискуссий, приобретенному на учебных семинарах в группах, я обязан тому, что мне не стыдно вспоминать не только университет, но и свою восьмилетнюю интенсивную преподавательскую деятельность в Ростове. Именно благодаря Марксу мне удавалось поддержать, вернуть, а кое-где и создать авторитет предмету политическая экономия, который рассматривался как навязанный и ненужный многими студентами непрофильных факультетов.

Разрыв между Марксом и другими персонажами истории экономической мысли, абсолютная, злокачественная пустота так называемой "политэкономии социализма", оторванность от реальности преподавания экономики сельского хозяйства и промышленности конечно, представляли белые, серые пятна или даже гнилые места в образовательной структуре. Не было и не могло быть полноценной статистической обработки и оценки данных, немисливо чужеродными были бы экономические модели хотя бы по Маршалу. Поверхностно были представлены финансы, бухучёт, анализ хозяйственной деятельности. Но ещё раз нужно повторить, что все эти провалы в какой-то степени уравнивались временем, затрачиваемым на изучение "Капитала", на методологическое копание в нём. Не только тогда, но и теперь, когда я худо-бедно ознакомился с историей и состоянием экономической науки, Маркс и в этом системно-историческом окружении выступает как гигант социальной мысли, по сравнению с которым другие известные экономисты, кроме Адама Смита, Маршала и, может быть, Кейнса, выглядят как талантливые разработчики ---- важных экономических проблем. В этот список мне, возможно, надо было бы, но не хотелось включить Шумпетера из-за слабости его собственных оригинальных идей. Его миссия в очень большой степени состояла в переупаковке достижений Маркса, их приспособлении к вкусам и привычкам представителей рыночного мейнстрима того времени. Именно вследствие этой подспудной "преступной связи" с отторгнутым гением Шумпетер при всём официальном пиетете в отношении к нему оказался в теоретическом одиночестве в структуре "буржуазной" экономической теории.

Парадоксально, но должен отметить и конструктивную роль изучения истории КПСС (этот предмет назывался у нас Основы Марксизма-Ленинизма) на первых двух курсах. Статус этого предмета в учебном плане был почти приравнен к цаголовскому курсу политэкономии, преподаватели были безымянные, но квалифицированные, требовалось конспектировать целую кучу первоисточников, во главу угла выдвигалась не столько политическая конъюнктура, сколько теоретические проблемы социал-демократической и большевистской программ. Крестьянская реформа и народничество, развитие капитализма в России, аграрная программа, убывающее

плодородие, концентрация хозяйств и технический прогресс в аграрном секторе, альтернативные решения земельного вопроса, сущность НЭПа и кооперация – эти и другие общезначимые проблемы обсуждались на семинарах по "основам" так же дискуссионно, как и хитросплетения "Капитала" на политической экономии.

Другая ипостась факультета – *оголтелый идеологический и организационный сталинизм*. Как её символ опять всплывает одноглазый Козодоев, когда он однажды, войдя в аудиторию, поднял руки и вместо лекции провозгласил: а теперь, ребята – в такой день – все на улицу – СЛАВЬТЕ СТАЛИНА! Мы вышли, а там высоко в чёрном небе как бы сам собой плавает над всей Москвой ярко подсвеченный прожекторами его цветной портрет в честь 70-летия нашего кумира. Стержнем студенческого поведения на факультете был так называемый *коллективизм*, суть которого кратчайшим образом можно определить как безусловное подчинение общепринятым шаблонам поведения. Народ из общежития, фронтовики и провинциалы были в своей массе самым подходящим, благодатным материалом для проведения этого принципа. Нам было естественно, например, возвращаться на Стромынку вместе, от метро на морозе и против пронизывающего ветра весело, пешком и со строевыми песнями. Объективно существовал, как правило, не доходящий до конфликта, но вполне ощутимый раздел с москвичами, более разобщёнными, более индивидуализированными, казавшимися разболтанными, иногда богатыньскими по нашим тогдашним представлениям.



Получилось так, что *индивидуалистические качества* чуткие соседи по комнате обнаружили и у меня. Тонкость диагностики кажется тем более впечатляющей, что элементы патологии были отслежены на фоне полного принятия мною общих правил и активного участия в их проведении. Например, именно мне принадлежит родившаяся с самой первой праздничной пьянки 7 ноября 1949 года в учебной группе, железная пропорция 50 на 50, удобная, положившая конец бессмысленным спорам, ставшая стандартной при распределении собранных денег между выпивкой и закуской, а также и функция безотказного и квалифицированного закупщика и доставщика винного компонента. Я активнейшим образом выступал в качестве разработчика маршрутов и организатора наших частых палаточных пешеходных турпоходов по Подмосквью.

Поэтому моя разновидность индивидуализма не совсем попадала под простой стандартный диагноз "оторвался от коллектива". Инициаторы товарищеского суда, как будущие функционеры, чутко уловили некие более тонкие отклонения от массовой модели поведения. Что это за отклонения, я пока не могу здесь сформулировать точно и кратко, но подозреваю и надеюсь, что внимательный читатель этого мемуара сможет получить о них собственное представление.

Спонтанный, неформальный, но комсомольский суд, которому я был подвергнут, произошел поздно вечером, в кромешной темноте. Между прочим, именно я ввёл и зверски поддерживал режим отключения света в нашей комнате в 22 часа. Без этого нормально заснуть становилось невозможно, поскольку каждый день один-два, а то и три человека приходили домой поздно, причём каждый коллективист для того чтобы снять носки обязательно включал лампочку. Все участники лежали на кроватях под одеялами и только чувствовалось, как ораторы, подобно древнеримским патрициям, приподнимаются на локте и жестикулируют. Главную роль взяли на себя Ш. и Ф., их поддерживали непонятный С. и трусливо-циничный К. (Почти



криминальное разоблачение его аморальных "правил жизни", живописно отражённых в утерянной записной книжке, произошло в нашей 574 комнате через очень малое время). Молчал как рыба (и, кажется, не понимал из за чего шум) только поренбургски простой Юра Кожинов.

Свидетельствую, что хотя подвергнуться подобной процедуре было, конечно, крайне неприятно, но и тогда, и тем более сейчас, зла у меня на них не было и нет. Наоборот, я понимал своё несовершенство и искренне стремился исправиться, наверно, даже кое-чего достиг. Можно судить хотя бы по тому, что в университете этот вопрос больше не возникал. Вообще упрекнуть меня в том, что я не критически отношусь к себе и мало реагирую на внешнюю критику, можно лишь только потому, что груз неискоренимых недостатков просто слишком велик, чтобы стали очевидны результаты усилий на их исправление.

Обязательным требованием факультета была "общественная работа". Её высшим выражением была выборная организационно-руководящая партийная и комсомольская деятельность. Вертикаль власти возглавляло партбюро, ядро которого составляли фронтовики. Они различались по степени твёрдости: железные – как Станис, Битунов, Майер, Скипетров, наш Каманкин, и более мягкие, как интеллектуальный Черковец, изящный Войханский, совершенно свой артиллерийский топограф, неизменный староста курса Паша Николаев. Второй ярус иерархии – комсомольские активисты от комсоргов групп и выше до факультетского уровня. Это из наших Масленников, Марков, Шабалин, Мочалов (впоследствии Мочалов, печально памятный гонитель профессоров-евреев, "окопавшихся" в Плехановке), Руднев, Радаев, Сапов.

Для остальных оставалось широкое поле "пропагандистской работы", на которое я естественно перешёл после непродолжительного пребывания на второсортной выборной должности старосты группы. Неприятной обязанностью этого персонажа было фиксирование пропусков занятий и, соответственно, ежедневное посещение Долбёжкиной – легендарной, величественной деканатской обитательницы, похожей на старуху-графиню из "Пиковой дамы". На этом поприще была психологическая борьба между моим провинциальным и природным представлением об ответственности за порядок и внутренним сопротивлением от понимания встроенной моральной сомнительности этого занятия. Должен с удовлетворением констатировать, что меня сместили очень скоро, и на этом моя административная карьера на факультете закончилась, а комсомольско-общественная как-то естественно и не началась.

Однажды вечером, будучи по этим делам в деканате, я увидел там сидевшего в уголке скромненького парнишку-поляка Ежи Пенкаля. Он был как сиротка, только что с поезда и ни слова не понимал по-русски. Я подвернулся вовремя – требовалось сопроводить его на Стромынку в общежитие. Рассказываю это, прежде всего, чтобы попутно засвидетельствовать впечатливший меня славянский языковый феномен: не более чем через два-три месяца он уже говорил совершенно свободно по запасу слов, грамматике и практически без акцента. Было бы трудно отличить его от соотечественника, если бы не выдавала не столько почти незаметная, простительная шепелявинка, сколько какая-то врожденная улыбочивость, мягкость и вежливость.

На пропагандистском поприще я быстро вырос. Вел какие-то комсомольские политзанятия на жутком "судоремонтном заводе" (на самом деле примитивные мастерские с рабочими, которые тут же жили и выглядели, как во времена крепостничества или даже Петра I), затем в необыкновенно красочном, но насыщенном химическими испарениями ситценабивном цехе Трехгорной мануфактуры на Пресне. По результатам этой работы я удостоился чести быть рекомендованным в высшие сферы, а именно в лекторскую группу МК ВЛКСМ. Она в то время располагалась в великолепном старинном особняке, что наверху Колпачного переулка. Это был труд-

нодоступный (в чём я вскоре убедился) клуб элиты комсомольских интеллектуалов, в котором первую скрипку играли люди из МГИМО. И уж если кого туда рекомендовали, то и относились к нему там как к своему, допущенному, проверенному. Поэтому меня авансом, не откладывая дела в долгий ящик, с соответствующей внушительной путёвкой направили в Зарайский район области выступать о международном положении, а рутинное обсуждение самого содержания лекции отложили на конец месяца.

Нужно ли говорить, что я отнёсся к этому поручению (можно даже сказать, миссии) серьёзнейшим образом, перевернул груды тогдашней серой печатной руды, отыскивая и лелея зёрна и изюминки, с помощью которых предвкушал завоевать будущую аудиторию. А в завершение подготовки, обратился за консультацией к одинокому факультетскому титану международных материй доктору-профессору Михаилу Самуиловичу Драгилеву, который как раз в это время читал нам курс мировой экономики. Элегантный мэтр выслушал мою просьбу с каменным лицом, посмотрел на меня совершенно рыбьим взглядом, и без всякой связи с моими объяснениями лапидарно посоветовал взять доклад Сталина на XIX съезде партии и построить свою лекцию *в полном соответствии с его планом и содержанием*. И отвернулся, как бы погрузившись в свои прерванные размышления.

Этот совет в том просветительски приподнятом состоянии, в котором я находился, показался странным и каким-то не относящимся к делу, совершенно несовместимым с дорогими мне наработками. И хотя червячок непонятной тревоги где-то завёлся, но я его подавил. В частности, и потому, что уже не было времени и представлялось психологически невозможным трудолюбиво начинать непонятную писанину, зачёркивающую всю уже законченную и нравившуюся мне работу. (Здесь и обыкновенная лень имела место и где-то в самой неосознаваемой глубине неистребимая подначка "была-не была" проклюнулась)

Лекционное турне прошло нормально, без напряжения, я видел и чувствовал, что люди слушали с интересом. Остался в памяти зарайский кремль весь в белом снегу, молодые лица на текстильной фабрике. Тем более сокрушительным стало последовавшее вскоре обсуждение письменного текста на лекторской группе. Атмосфера была примерно такая, как в редакции журнала, куда булгаковский герой принёс сочинение о Понтии Пилате – полное недоумение по поводу самого предмета, темы и содержания моего несчастного произведения. Высказались наперебой все, меня рвали как будто охотничьи собаки. После я просто оттуда *вышел из дверей* в переулок – и на этом всё захлопнулось, исчезло навсегда. Никаких резолюций, последствий, объяснений, вопросов, никаких оргвыводов и запросов, как будто сон и ничего больше... Теперь этот дом-замок в Колпачном также, как и тогда, доступен взгляду непосвящённых только из-за забора, но всё реставрировано, покрашено, охрана, шлагбаум, частная собственность, никакого комсомола.

В этом эпизоде проявились, помимо упомянутой лени, природная несклонность слушать советы, тем более обращаться за консультациями, контрпродуктивная привычка до всего доходить самому. К этому, наверное, имеет отношение мой врождённый, подспудный донской авантюризм, какой-то уже упоминавшийся встроенный *бес*, который проявляется в виде некоего подзуживающего инстинкта, подталкивающего выбрать риск собственного решения. Он произрастает из самонадеянной оценки первенства своего здравого смысла в сочетании со стремлением к какой-то конечной идеально-субъективной правильности того или иного предприятия.

Это природное, очень ростовское начало подпитывается духом последующего своеобразного воспитания в ИМЭМО, а сейчас и самой провоцирующей атмосферой нашего переломного и гротескно-невыносимого времени. Есть ещё что-то родственное любопытству, подмывающее при переборе вариантов начинать не с самого оче-

видного, а с менее вероятных, чтобы перебрать их побольше. К сожалению, при этом не всегда удаётся быть столь же упорным как американцы, о которых Черчилль говорил, что они *всегда* находят правильное решение...после того как перепробуют все остальные.

В частности, упомянутый внутренний "бес" меня всегда подмывал к высказыванию "оппозиционно-перестроечно-демократических" идей на встречах сокурсников, хотя жена этого не одобряла, поскольку не хотела возникновения напряженности ввиду наличия мощного слоя инакомыслящих соучеников, сохранивших стержень старого закала. Помню как наступила звенящая тишина после того как я с совершенно явным подтекстом прочёл в разгар афганской войны письмо Кожина с известием о гибели его сына, офицера, выпускника Рязанского десантного училища, и как после нескольких секунд замешательства Ма и Ша – опытные функционеры, переглянувшись между собой, ловко перевели ход застолья на другую тему. Как будто бы ничего не было.

Что касается обсуждения лекции, этот случай укладывается в тенденцию. Как показывает опыт, со мной так не раз бывало – рвут публично, можно добивать, но вдруг всё прерывается, как будто бы откат во времени и ничего не было, *просто в очередной раз выпал из какой-то привлекательной тележки*, но не смертельно<sup>45</sup>... Например, (о чём ниже) неожиданный "облом" первого приёма в партию, "прокол" в качестве вроде бы по всем параметрам успешного "уполномоченного" в ростовском обкоме, поведение чекистов в отношении ко мне. Или вот такая, казалось бы, совершенно незаметная мелочь. Где-то в перестроечное время на мою активность обратил заинтересованное внимание деловой, умный и стремительно растущий зам. директора И.Д. Иванов. Я чувствовал, что тоже начинаю расти. И вот на узком обсуждении какой-то работы Иванов выступает как то враждебно по отношению к автору и в заключение – поощрительно - требовательный тренерский взгляд на меня. Ситуацию я прекрасно понимаю, но нет ничего у меня сказать, ни плохого, ни хорошего. Как-то выкрутиться, чтобы это выглядело академично-прилично – стыдно, да и не вышло бы, даже если бы подчинился, всё равно только бы промямлил. Покачал головой отрицательно. В ответ – удивлённо оценивающий взгляд, и на этом все взаимоотношения кончились.

И заметьте, что во всех этих случаях я неизменно, стандартно уклонялся даже от самых минимальных разборок и объяснений, не доказывал свою правоту, не искал оправданий, не пытался выяснять причины или смягчить последствия. Возможно, этому было несколько явных, но второстепенных причин и одна скрытая. Во-первых, я обычно, как мне казалось, достаточно самокритично осознавал свою долю ответственности за произошедшее, надеялся на то, что сам смогу учесть урок на дальнейшее в рамках собственного представления о вине. Далее я понимал, что сделанное необратимо, какие-то нормы и правила нарушены, мои ссылки на здравый смысл смехотворно безнадёжны, доказать свою правоту абсолютно несообразно (вроде того, как заменить мозги оппонентов на мой), поэтому лучше забыть и начать новый отсчёт времени и поступков.

Второе, главное, состоит в том, что я инстинктивно старался избежать обязательных изматывающих дразг и волны интеллектуального, информационного и воспитательного воздействия, которая неизбежно сопряжена с "разбором полётов" и по

<sup>45</sup> Причина такого сюжета мне видится в совокупности обстоятельств. Во-первых, "судьи" по человечески не могли не осознавать отсутствия своекорыстия в мотивациях и поведении виновника. Во-вторых, неизбежно проклёвывалось понимание наличия здравого стержня или объективного основания инкриминируемых действий. В-третьих, и это может быть главное – понимание того, что этот здравый смысл в обозримом периоде не будет востребован властью имущими и поэтому не таит угрозы нарушить стабильности существующей идеологической или карьерно-конкурентной ситуации.

силе прямо пропорциональна и оправдательным, и наступательным и любым иным трепыханиям провинившегося. Я *как бы* понимал, что всякое такое разбирательство, расстановка точек над *i* чреватые инъекцией новой порции ограничений внутренней свободы вообще или свободы конкретных действий в частных случаях.

В этом внутреннем настрое имелся и другой, но уже вполне конструктивный аспект, о котором я расскажу подробнее на примере работы в ИМЭМО, когда инстинктивно уклонялся от выяснения конкретных инструкций директора Н.Н. Иноземцева, после того как получал от него общие рамочные указания.

**(1955-1962)**

### **Ростов, второе пришествие**

В свой город я вернулся в безнадежном положении, потеряв аспирантуру и не найдя подходящей работы в Москве. А до этого, в Москве произошло дело похуже, то из-за чего мы и попали назад в Ростов. В 1954 году после окончания университета я был "распределен" прекрасно: в аспирантуру Института экономики Академии наук. И вот, когда я пришел в отдел кадров, двое сидевших там *кувшинных рыл*, глядя на меня с тяжелой неприязнью, открытым текстом спросили – еврей? Я ответил отрицательно. – Как же, знаем мы вас! Так что учти: на экзаменах тебя провалим, а о том, чтобы взяли на работу младшим научным сотрудником (такая страховка тогда практиковалось для распределенных в случае неблагоприятного исхода испытаний) и не мечтай! Должен сказать, что в неотвратимости угрозы этих шавок не усомнился не только я, но и родители Галы – Шишковы, имевшие вроде бы более чем достаточный жизненный опыт (а может быть, именно поэтому). И я сошел со своей прямой дороги, посчитал безнадежным сдавать практически безрисковые экзамены туда, где мне надлежало быть, ушел в никуда, а время было для трудоустройства тяжелое.

Именно в результате этого моего поступка мы с совершенно невиновной и прекрасно устроенной в Москве Галой, которая имела интересную и перспективную работу по специальности в Совете по изучению производительных сил Академии Наук, оказались на многие годы в Ростове, который был совершенно не готов к нашему неожиданному и, в общем, не очень нужному для него приезду. Чем больше проходит времени, тем полнее я понимаю уникальную ценность того, что никогда в жизни я не услышал от неё даже упоминания, а не то чтобы малейшего упрека, за бедствия и потери, которые выпали на её долю в этот долгий, тяжелый и связанный только со мной перелом в нормальном ходе жизни.

Конечно, я поступил глупо, сделал тяжелую ошибку, испугался всеислия этого охвостья. Более того, как слепоглухой не внял словам заместителя директора Института экономики А.А. Арзуманяна, который удивленно уговаривал меня остаться, когда я пришел туда забрать документы. Неизвестен был мне, дураку, административно-научный вес Арзуманяна, а также то, что он в это время полным ходом подбирал себе кадры, делая акцент на молодежь и освобожденных эков - научных ветеранов. Через год он стал первым, ныне легендарным директором ИМЭМО, восстановленного на месте довоенного Института мирового хозяйства и мировой политики.

Много лет спустя Виля Косова, одна из старейших сотрудниц института, рассказала мне, что когда при таком же собеседовании Арзуманян спросил её, почему она пришла устраиваться работать на Волхонке, ответила, что очень любит живопись, а Институт Экономики расположен рядом с Музеем изобразительных искусств. Мне же удалось вернуться назад в бездарно упущенное прошлое – в аспирантуру ИМЭМО только в конце 1962 года. Это значило потерю восьми лет, в тече-

ние которых жизнь нашей семьи могла бы повернуться иначе, не соверши я эту принципиальную, как теперь очевидно, глупую, ошибку.

Вместе с тем должен отметить профессиональную компетентность аппарата КГБ и аналогичных германских служб, которые по-крупному никогда не ошибались по поводу моего национального происхождения. Это относится и к периоду оккупации, и к золотой медали, и к необыкновенно лёгкому, автоматическому приёму на экономический факультет МГУ, и к распределению не в райплан, а в аспирантуру в престижный академический институт, и к назначению на работу в Париж в начале 60-х, которое не состоялось не по их вине, и к дальнейшим загранпоездкам. Думаю, что и на экономическом факультете я, как, впрочем, и многие другие тогда, не остался только потому, что в выпускном 1954 году аспирантуру так резко уменьшили (с обычных 25 до 7 мест), что этого едва хватило на партийных и комсомольских функционеров первого ряда.

Оценивая эту ситуацию, я нахожу утешение в том, что неприятности в определенной мере компенсировались теплым отношением ко мне всех настоящих евреев, которых и тогда в академической среде было довольно много. Мне также очень нравится аутентичная байка коллеги по ИМЭМО профессора Владимира Васильевича Зубчанинова, отмотавшего почти два десятка лет в лагерях Воркуты. Сидят там мужики, - рассказывал он, - греются на солнышке, разговаривают. "Вот посмотри – у нас в конторе все евреи! Другой отвечает: как так все? А Зубчанинов как же? – Так Зубчанинов – тоже еврей! – Но почему? – Умён шибко!" Должен сказать, что когда у меня спрашивают, еврей ли я, иногда отвечаю в том же ключе – если бы был еврей, то был бы поумнее.

До конца 1954 года я пробыл безработным, а потом тесть Георгий Иванович "по благу" устроил меня инженером-экономистом в Центральный научно-исследовательский институт механизации и организации труда нефтяной промышленности. Там в отделе финансов под присмотром интеллигентного и изящного Захария Ильича Гутцайта я научился составлять просторные таблицы по структуре оборотных средств дюжины тогдашних нефтеперегонных объединений, познакомился с мрачными коридорами и загромождёнными конторской мебелью финсчётными комнатами в угловом министерском здании на площади Ногина, куда меня, как начинающего Молчалина, пропускали *с бумагами*, приобщился к послеобеденной игре в домино с сослуживцами, стал безошибочно заваривать крепкий чай, привык к ежедневным посещениям ГУМа, где на линии вдоль Красной площади тогда был "Гастроном" и продавали с лотков горячие сдобные булочки утерянного теперь вкуса, слоистости и мягкости.

К этому следует только прибавить, что место работы размещалось отдельно от главного здания, а именно на самой верхотуре, в куполе сейчас игрушечно обновлённого, а тогда ободранного, запущенного и пустынного Знаменского собора, что стоит в историческом центре отечества – Зарядье на Варварке. Летом мы, молодые клерки, часто отдыхали, сидя на старинной кирпичной кладке в угловом отверстии подлуковичного свода, откуда открывался вид на древние околосмоленские реликвии. Однако сделать нефтяную карьеру мне было не суждено.

В Ростове я был зачислен ассистентом кафедры политической экономии Педагогического института. На эту должность я никогда не попал бы без протекции, организованной упоминавшимся выше военным другом отца, который какими-то судьбами стал инструктором областного комитета партии. В преподавание вошел

сразу по полной программе, включая чтение курса лекций сначала заочникам, потом всем подряд<sup>46</sup>.

Своим преподавательским крещением считаю не какую-то первую забытую лекцию, а первый в жизни зачёт, который я должен был принять у пяти десятков заочников в амфитеатральной аудитории математического факультета, расположенного в небольшом, отдалённом от главного здания корпусе. Дело было после лекции и семинара-консультации, довольно поздно к вечеру. Поскольку я с добросовестностью новичка выдерживал параметры учебного времени, к началу зачёта никого кроме нас в здании не осталось, даже уборщиц, может быть сторож. До какого-то момента все шло в рамках приличия, то есть я сохранял видимость опроса, хотя и в облегчённой, групповой форме. Но заочников, привыкших к бóльшим послаблениям, это, наверное, не устраивало. Им моя настырность надоела, и свет неожиданно отключился во всём здании. Но полной темноты не наступило, поскольку кто-то зажжёт свечу. Сидя за столом в свете этого трепещущего огарка, я ощущал над собой разнообразное дыхание и видел, как ко мне протягивались, казалось, десятки бледных рук с раскрытыми зачётками. То есть соткалась полная аналогия гоголевской "Пропавшей грамоты", когда сидящая у костра нечистая сила *уши подняла и лапы протянула*. Что оставалось делать? Поставил всем заветные закорючки и вышел в ночь, в спасение.

На обслуживание процветавшего в те времена заочного отделения падала значительная часть учебной работы, как в Пединституте, так и позже в Университете. Я до сих пор вздрагиваю при воспоминании о тех многих сотнях "дипломированных специалистов" - заочников, в зачётках которых красовалась и моя подпись. Казалось, на девяносто процентов они состояли из действующих учителей сельских школ буквально из каждого района Ростовской области. За долгие восемь лет преподавательской работы много их получило полноценные дипломы при моём, конечно, весьма дробном, долевым, но прямом участии. Было и так, что я их *рубил и резал* пока *рука бойца колоть не уставала*, но не менее часто не мог не сочувствовать, не входить в положение этих людей, которым диплом нужен был любой человеческой ценой<sup>47</sup>.

Самую безобидную часть преподавания составляли обзорные лекции по политэкономии капитализма, которые я читал им во время экзаменационной сессии летом по шесть часов в трёх потоках с утра почти до вечера. Здесь было легко, поскольку аудитория была благодарной, непосредственно любопытной и преданно доброжелательной, а реальный результат и степень понимания на данном этапе были "вещью в себе", что давало возможность предаваться иллюзии о том, что *глаголом можно жечь сердца людей* и развивать их умы. Далее следовали столь же безобидные консультации, и только потом наступало отрезвление на зачётах и экзаменах.

Особую статью представляла проверка письменных работ, которая не входила в учебную нагрузку, оплачивалась сдельно и отдельно в виде редкого приработка. (Кажется от 0,5 до 0,75 "часа" за штуку, но в деньгах этот час нужно было рас-

<sup>46</sup> Между прочим, так же начала преподавать в 1994 году дочь Оксана, которая сразу после окончания экономического факультета МГУ неожиданно попала в магистратуру на кафедру экономики в Университет Небраски в США.

<sup>47</sup> Как на заре автомобильной карьеры мне удалось увидеть эру бензина по 10 копеек литр, я застал и краешек того золотого времени, когда ещё не ущемлялась свобода преподавателя выставлять любое количество неудов, тем более троек. Я этим особенно не злоупотреблял, а например, экспансивный и неуравновешенный до фанатизма мой приятель, инженер по образованию, доцент Ричард Корниевский мог вообще всей группе поставить двойки за математические задачки собственного изобретения, которыми он, по моему мнению совершенно неоправданно, подменял благородную науку политической экономии.

смазывать под микроскопом). Получаешь от бессменного заведующего заочным отделением, замотанного работяги, доцента литературы Диброва (отца сегодняшнего телевизионного завсегдатая, который, будучи тогда малолетним, социально безвредно вертелся между и под столами служебного помещения) толстенную, сантиметров на тридцать, кипу ученических тетрадей. В разнообразных почерках, которыми они исписаны, скрывается хитрость, отчаяние, вера, нахрап. И к делу.

Сразу проводишь усекновение примерно на одну треть за счет отсева одинаковых текстов – мгновенная двойка и чувство глубокого удовлетворения от сочетания безукоризненно выполненной работы и лёгкого заработка. Ну, а затем мучительная проверка остальных. По две-три отличных и хороших, остальные тройки, реже, когда совсем уж не вмоготу, двойки. Ещё более мучительными были зачёты и экзамены, в процессе которых приходилось лично сталкиваться с подлинными страданиями людей, которые искренне ничего не понимали, начиная от того, для чего нужна эта политическая экономия вообще, до страха безвыходности и полного расстройств, почему преподавателя не удовлетворяют их знания, полученные на пределе доступных умственных усилий.

Ростовский пединститут, помимо приглашения заочников на сессии, для того, чтобы облегчить им жизнь и ускорить процесс дипломизации сельского учительства, имел несколько консультационных пунктов в районах области. В одном из них, в городе Сальске, у меня произошел конфликт с заочниками. После консультации на следующий день был назначен экзамен. В аудитории – человек пятнадцать, которые смотрят на преподавателя преданными собачьими глазами. (В этом обороте – только точность описания, никакого уничижения). Обычно в такой ситуации старшие опытные товарищи, с которыми я проконсультировался после приезда, раздавали сразу всем билеты, некоторое время прогуливались в коридоре, а затем начинали опрос. Особенно лихие кафедры поступали так даже в обычной практике, не с заочниками и непосредственно в здании Института.

У меня были другие представления. Попросил убрать учебники и шпаргалки, удалил за дверь всех, кроме пятёрки вытянувших билеты. Из них один получил четвёрку, другой тройку, остальные провалились, несмотря на то, что я уже в процессе опроса заметно снизил планку. Казалось странным, что больше в класс никто не входил, а за дверью начался подозрительный шум вроде митинга. Короче, остальные ушли, моя миссия завершилась. Шум и митинг реализовались в том, что в Ростов, опережая моё возвращение, полетело разоблачительное письмо от уязвлённых до глубины души студентов. Поскольку предъявить ко мне содержательные претензии даже в запале крайней обиды, они не сумели, в письме не было ничего зловредного, кроме формулировки "преподаватель проявил высокомерие и зазнайство". Когда я сообщил проректору Дубоносову об этом эпизоде, он дружелюбно помахал письмом и, небрежно отбросив его куда-то, сказал что это ерунда, что я поступил правильно, что нам всем в институте надо подкрутить гайки и повысить требования к знаниям студентов и т.п. К сожалению, сюжет на этом не закончился.

Дело было в том, что в ростовский период стержневой проблемой дальнейшего существования для меня и Галы оказалось членство в КПСС. Сейчас говорят о нечистоплотности этого статуса для всех без разбора, чуть ли ни вплоть до уравнивания его с сотрудничеством с КГБ или с ответственностью за последствия ленинизма в стране вообще. В отношении меня объективная данность состояла в том, что ни образование, ни тем более какие-то эфемерные вещи, вроде склонности к политической экономии или желания её преподавать, не имели значения, поскольку беспартийным вход на преподавательскую работу в вузах по кафедрам общественных наук был банально закрыт, никакой альтернативы не было, моё допущение туда было редким, лоббированным и как бы условно-временным исключением. А что касается

карьеризма, то поскольку внутри все были членами партии, это не давало в данной сфере никаких должностных конкурентных преимуществ.

Практически это означало, что я стал на кафедре рабом-заложником, который не мог отказаться ни от какой чёрной общественной работы, более того, был вынужден её искать и выполнять наилучшим образом, как минимум на протяжении трёх лет (два года очереди для подачи заявления плюс год кандидатского стажа). Вообще-то, общественная работа считалась официальной нагрузкой, неотъемлемой, даже тавтологической частью существования провинциальных кафедр общественных наук. Конечно, для доцентских масс она принимала терпимые формы лекционной повинности.

Только однажды кафедрам пединститута не удалось отвертеться – по специальному распоряжению Обкома весь состав был направлен в Егорлыкский район для оказания помощи колхозам в проведении весеннего сева (!). Почти три дня все страдали в районном "доме колхозника" от бытового примитивизма, нелепости и безысходности, от безделья посреди чудовищной чернозёмной грязи. Уехать просто было нельзя, поэтому придумали, как бы наладить *ротацию*, и для начала оставить на боевом посту меня, молодого и комсомольца. Деваться мне было некуда, я только настоял на том, чтобы на один день оголить фронт и съездить в Ростов, добыть там резиновые сапоги. В дальнейшем и очень скоро этот невинный и скорее даже почётный эпизод вкупе с упомянутым сальским конфликтом обернулся совершенно неожиданной и дорогой для меня ценой.

А чего я только не вытворял на ниве общественной работы! Например, пришлось перешерстить весь Ростов в поисках неординарных персонажей – талантов, профессионалов, героев для очередных выпусков изобретённого мной *устного журнала* "Учитель должен знать всё". Для этого периодического действия заказали в Худфонде специальное ярко разукрашенное фанерное оформление. Зал бывал битком набит непритязательными студентами. Однако скоро открылась удручающая трудность из-за того, что во всём почти миллионном советском городе подходящих людей оказалось раз-два и обчёлся (с какой тоской я вспоминал Стормынку!). В отчаянии я опустил до того, что пришлось однажды пригласить старикашку, который где-то видел живого Ульянова и его так ударило в голову, что с тех пор стал выступать не только со своими скудными воспоминаниями, но и в роли его картавого имитатора, вроде того ряженого, который до сих пор бродит с коммунистами по Москве.

На более высоком витке псевдодialeктической спирали было моё редакторство в многотиражке университета. Этот еженедельный печатный орган делали по существу два человека – я и приходящая штатная журналистка. Её функция состояла в том, что она забирала материал в пятницу и отвозила его в издательство, где наблюдала за тем, как газета цензурировалась, версталась и печаталась. Весь остальной сизифов труд по наполнению этой бездонной бочки лёг на меня. А я умею организовывать работу других людей, только если им самим это интересно или выгодно. В данном случае под рукой таковых не оказалось, а искать мне казалось безнадежно, себе дороже. Это раздваивало и давило. С одной стороны, было интересно. Никто не вмешивался (а и то, зачем – никакого вольнодумства и вокруг, и у меня не было, так же, как идей о масштабных ломках), но с точки зрения неожиданностей, фельетонного подхода, закрученных заголовков, маленьких проблем был простор. Я даже выступал и как литературный критик с размышлениями о романах модного тогда Ремарка, и как бытовой экономист в стиле знаменитого Рубинова против тех, кто не задумывается о том, чтобы работать производительнее, беречь и хранить университетское имущество. Всё это на целую полосу, с шокирующими заходами и завлекающими подзаголовками. Но, с другой стороны, я постоянно и живо, который раз в



жизни, ощущал, как время уходит сквозь пальцы, что наукой (а конкретно – диссертацией) мне надо заниматься, а не этой суетливой чепухой.

Интересный феномен состоит в том, что я позабыл практически всё о людях пединститута, но прекрасно, как живых, помню коллег-преподавателей по следующей работе в Ростовском университете. Хотя казалось бы, что свежесть впечатлений первого настоящего места службы должна была по крайней мере уравнивать шансы этих популяций. А здесь – только фамилии, редко с именами: Гункина, Лида Евдокимова, которая впоследствии вышла замуж за одного из моих университетских студентов-историков. С других кафедр – мой приятель, "диаматчик" (философ), постоянно поглощенный заботой о том, чтобы какой-нибудь недоделанный чудак-преподаватель не обидел футболистов ростовского СКА, которые почти всей командой числились у нас заочниками на факультете физвоспитания; проректор Дубоносов, вполне соответствующий своей фамилии; заслуженная женщина, ветеран войны Хрипкова и её оруженосец, не Санчо, а сравнительно с другими молодой, благообразный, деловой, эрудированный и *дружелюбный (об этом читай далее)* секретарь парткома Бабанский. Первая из этого тандема неожиданно оказалась крупной учёной – она вдруг вышла в действительные члены Академии педагогических наук, могучей рукой ввела туда же Бабанского, после чего они бесследно исчезли в недрах московской педагогической бюрократии. Поскольку от этого описания *так и разит хлестаковщиной*, остаётся вполне искренне заключить, перефразируя Гоголя, тем, что в общем это был народ покладистый и, если не вызывать у них тревогу своими неожиданными инновационными порывами, добродушный.

Знаменательное исключение из ряда составлял Алексей Фролыч **Тарасов**, быстро-незаметно съевший первоначальную заведующую кафедрой Елену Антонову Савоневич – худощавый энергичный бывший партработник в круглых старушечьих очочках фанатичного чекиста-интеллекта, крупнейший в области после Будагова в ряду специалистов по теоретическим тонкостям поднятия колхозной собственности до уровня общенародной. Как деловой человек он понимал, что я для кафедры полезен и относился ко мне конструктивно, в частности полностью поддерживал мое поведение в конфликте с заочниками в сальском консультпункте.

По отношению ко мне за ним числится одно хорошее и одно очень плохое дело. В начале, как водится, о хорошем. В то время был объявлен общесоюзный конкурс на создание учебников и программ как бы "послекультового" вузовского курса политэкономии. Кафедры всколыхнулись, было много предложений. На этой волне и я написал то ли *трактат*, то ли *проект* с обоснованием проблемной логики и структуры учебника политической экономии. Вот Тарасов и предложил поставить мой доклад на очередном заседании общегородского семинара преподавателей экономических наук.

Собралось много, полная большая аудитория солидных людей, заведующие, доценты, кандидаты, на вид пожилые интеллектуалы, явно не мне чета. В этот ответственный момент перед самым началом Тарасов отвёл меня к окну и очень веско сказал: учти, ты должен вести себя так, как будто бы все эти люди понимают в предмете доклада заведомо меньше тебя. И ещё образно уточнил в духе того, что это так на самом деле и есть. Давай! И подтолкнул. Должен сказать, что доклад имел успех. Для продолжения его обсуждения провели второе заседание городского семинара, чего раньше никогда не бывало.

Теперь о деле плохом. К тому времени прошло два года, был конец очередного учебного цикла, канун длинейших преподавательских каникул. Я преодолел все круги приёма в партию, заявления, собрания, заседания. Были готовы все документы и рекомендации (того же Тарасова в том числе), осталось только последнее – утверждение на бюро райкома партии. И вот накануне этого события я сдуру, бес-

хитростно, как бы считая приличным предупредить коллегу и руководителя, рассказал Тарасову о том, что благосклонно отношусь к предложению перейти на следующий год на кафедру политэкономии в университет. Никаких материальных и должностных выгод этот переход для меня не подразумевал. Та же должность ассистента, та же зарплата. Но для меня это был *Университет*, работа на историческом и юридическом факультетах, где программа курса была точно такая же как в на экономфаке МГУ, что-то более 300 часов вместо 140 в скромном пединституте. Это мне было очень притягательно, но из-за такой ничтожной, совершенно ненужной глупости с оглаской привело к потере годов нормальной жизни для семьи, к потере времени для диссертации и других научных дел.

До сих пор изумляюсь по поводу того, что я всего пару дней не подержал язык за зубами!? Мне мои намерения перехода казались бескорыстными, доступными для понимания и убедительными, уверенность в своей беспорочной репутации столь высока, что я как-то и не подумал о каких-то неприятных возможностях. Однако получилось как при морской команде о повороте "все вдруг". По железной логике этих людей я мгновенно превратился в предателя и почти преступника. Решающую роль закопёрщика сыграл оскорблённый до глубины души Тарасов, перечить которому другие не захотели, побоялись или не смогли.

Что тут скажешь? На бюро райкома сидело человек тридцать незнакомых людей, заступаться или хотя бы копаться в деле ни у кого не было оснований. Сам я делать это не умел. Бабанский, отлично знавший меня, и притом только с полной мерой заслуг, проведший безукоризненную компанию по моему членству, в общем неплохой, нормальный человек, который к тому времени уже сам подготовился к прыжку в Москву, будущий не только педакадемик, но и Учёный секретарь Академии Педнаук, выступил по-партийному однозначно, без малейшего намёка на смягчающие обстоятельства. Не помню, что он говорил о собственном и тарасовском близоруком недосмотре, но про меня прозвучали два обвинения: "боится трудностей" (это про эпизод с поездкой за резиновыми сапогами из Егорлыкской). "Проявил высокомерие и зазнайство" (это про сальский конфликт со студентами-заочниками). И то письмецо заветное, подмётное откуда-то появилось, сверкнуло, и помогло это письмецо завершить дело.

Но всё же люди на заседании, возможно, почувствовали *неверный звук* (а может быть Будагов, университетский заведующий кафедрой, где-то накануне использовал свои связи – теперь никто не узнает): меня не заклеямили, а просто приём *отложили* за недостаточной зрелостью, без применения уничтожающих ярлыков. Тем не менее, это стоило мне ещё минимум трёх лет, вычеркнутых из нормальной жизни.

**Ростовские персонажи.** Первый среди них – **Будагов** был вальняжным армянином того научного типа, который я называю *цаголовским*<sup>48</sup>. Это люди как бы появляющиеся на свет профессорами и заведующими кафедр и не нуждающиеся для этого ни в каких других реквизитах. Это означает, что данный человек (иногда "кавказской национальности") непонятно почему, как, откуда, на каком основании, был как бы создан для того, чтобы занимать только самую престижную кафедру политической экономии в том или ином городе, пользоваться накачанным авторитетом, имплицитно иметь неведомые могущественные связи во властных сферах, внушить непоколебимую веру в своё предназначение и всегда знать, что можно и что нельзя делать и говорить. И это при том, что собственных значимых научных трудов прак-

<sup>48</sup> Тем читателям, которые будут не согласны с персонификацией названия данной категории научных деятелей, достаточно ознакомиться со списком научных работ профессора и разобраться, почему он не смог претендовать даже на номинацию в Академию Наук СССР.

тически не имел, из города не выезжал, но воспринимался как лидер разработки проблем, в данном случае – колхозного производства.

Помимо этого и того, что для его похорон было приостановлено движение на главной улице Ростова, а впереди процессии лаборантки разбрасывали розы, он запомнился двумя максимами. Первая относится к нему самому: "я никогда не позволю себе создать армянскую кафедру в русском городе". Вторая, сказанная вполне дружелюбно, обо мне: "Марцинкевичу власть давать нельзя, это всем принесёт вред" (её передала мне наша бессменная, безукоризненно положительная и харизматичная заведующая кабинетом политэкономии Лена Массаути, аутентичность фразы несомненна).

Этот диагноз был поставлен при том, что я к власти совершенно не рвался, помышлял только о том, как лучше прочитать очередную лекцию или придумать каверзные вопросы, чтоб столкнуть студентов лбами на семинаре, при нормальном ко мне отношении, при понимании того, что я и мысли не имел сделать ему какую-либо неприятность. Я-то, бесспорно, был в его команде и, не будучи членом партии, в полной от него зависимости, хорошо относился к нему, хотя как ни старался, не понимал (по правде, до сих пор) причин и пружин того при помощи каких талантов он столь авторитетен, неуязвим и недостижим<sup>49</sup>.

Что-то общее было у Будагова с Виктором Андреевичем **Тищенко** – интеллигентным, с приятной доброжелательной флегмой, но с особым, оценивающим прищуром. Неторопливый, высокий худощавый, чуть ироничный, уверенный в себе доцент нашей кафедры, кандидат наук. На нём тоже была незримая печать власти – не потому, что он был секретарём парткома Университета, а потому что казалось – это место было как бы создано именно для него. По всем признакам он был членом упомянутого ростовского военно-ополченско-партийно-комсомольского круга.

Около меня изящной жизнью жил молодой доцент Владимир **Тельнихин**, сноб из Питера, непонятно почему оказавшийся и быстро акклиматизировавшийся на Дону. Он умел *уважать себя заставить*, без особых усилий талантливо выжимая максимум из своей кандидатской степени и членства в партии. Тельнихин к тому же был в деловом смысле педант. Свой первый год он потратил на составление собственного аккуратнейше выписанного курса лекций, которые он умел зачитывать в оптимальном темпе (не быстро, но и не диктуя) и поставил дело так, что у студентов даже мысли не возникало, что они слушают не истину в последней инстанции.

После этого у него образовалось много приятного времени для собственных нужд (завёл мотоцикл и катер, женился на студентке истфака из моей группы, умнице, иконописной и яркой внешности). К нему не прилипла никакая общественная работа кроме самой номинальной, и в то же время достаточно престижной. Я ему по приятельски говаривал, чтобы скрасить тягость от своего общественного ярма – вот

---

<sup>49</sup> При оценке людей по профессиональным качествам у меня выработалась собственная методика. Она возникла в противовес обыкновению многих сослуживцев злоупотреблять направо и налево негативными оценками коллег и особенно начальства, вроде того, что такой-то и такие-то, де, – Чудаки на букву *М*, тем самым как бы записывая и себя, и меняющихся собеседников в лестную категорию умных людей. Поскольку никто еще не создал простых и точных критериев умного и ...удака, я предлагаю решить эту задачу в два приёма. Первое – считать чудаками *всех* окружающих, включая себя, тем самым решив проблему различения сложных личных качеств безотносительно к конкретным обстоятельствам. Второе – оценивать людей по принципу **чудак на своём месте и чудак не на своём месте**. Это снимает обиду от произвольного разнесения людей в диаметрально разные категории и позволяет давать оценку людей по соответствию чётко зафиксированным профессиональным и должностным требованиям для разных уровней. Кроме того чисто субъективно, такой критерий позволяет мне гораздо легче зачислять себя в привлекательную категорию чудака на своём месте, чем произвольно считать себя умнее других.

видишь. сейчас я эту проклятую сизифову газету тяну, ты же прохлаждаешься, а случись война, тогда в газете будешь ты, а я ещё неизвестно где.

Примерно так же устраивались остальные кафедральные. Например, Юра **Афонин**, не кандидат, но ветеран партийных (а может и других) органов, который казалось одним своим существованием уже выполнял важную партийно-общественную функцию. В общем он был симпатягой и приличным человеком, и хотя дело своё понимал узко, но исполнял добросовестно.

Однажды, скрытая внутри тайна его личности как бы сверкнула передо мной при комически-чрезвычайных обстоятельствах. После кавказских поминок Будагова мы, полные энергии, шли с ним вдвоём по главной улице. Прекрасная погода, открыты двери ресторанов. Заходим в один и вдруг швейцар вместо привета и обхождения, безапелляционно и жёстко преграждает дорогу. Оторопев от неожиданности, выходим. Во втором – то же самое! И в третьем. И тут постепенно накалявшийся Юра сбросил с себя маску. Он не только изрыгал вполне конкретные угрозы, обещая на ливрейные головы мрачные смерше-обкомовские кары, но и физически рвался вперёд. Хорошо было только то, что милицию почему-то не вызывали, наверно, всё же почувствовали какой-то ограничитель. Причина этих совершенно неожиданных для нас конфликтов разъяснилась только на следующее утро, когда во вчерашней областной газете "Молот" на забойном месте я увидел установочную статью под заголовком "**Очистить рестораны от пьяниц!**"

Украшали моё университетское общество два доцента-фронтовика. Первый, молодой, с палочкой, филолог **Поперечный**, секретарь парторганизации факультета. Когда я принёс ему бережно на гладком листке мое вымученное заявление, он как-то по-простому, как в окопе, улыбнулся, не глядя свернул его вчетверо, небрежно засунул карман брюк и похромал на лекцию. Так спокойно и покатился к успеху мой повторный приём в КПСС.

Второй – историк Михаил **Люксембург**, природный интеллигент и преподаватель. (Прятели за глаза *в контраст* и с уважением называли его по внешности – Мишка Лопухий). Он вместе с женой (которая приходилась сестрой поэту Долматовскому) и малолетним, но столь же интеллектуальным сыном жил в самом центре города в тесном дворе дома, в котором помещался один из трёх главных ростовских кинотеатров. Несмотря на огромное стрельчатое окно, в единственной комнате всегда было полутемно. Но главное – оно упиралось в крутую ржавую железную лестницу, по которой каждые полтора часа согласно расписанию сеансов с утра до вечера медленно и как бы прямо в комнату сходила сверху вниз очередная плотная процессия отработанных зрителей, круто поворачивая в самый последний момент. Когда Люксембург жалел о том, что у него нет пулемёта, это почти не выглядело как риторика. Он тоже был ранен, осколком в грудь, за что вспоминал недобрым словом своего начальника, который имел обыкновение время от времени посылать офицеров-аналитиков штаба разведки на передовую без всякой деловой надобности, а исключительно в воспитательных целях.

Питая ко мне добрые чувства, он весьма скептически относился к колхозной тематике и, сочувствуя, советовал взять для диссертации критику воззрений какого-нибудь буржуазного классика, вроде Кейнса, и блаженствовать в тиши библиотек с аккуратной стопкой его сочинений. К сожалению, в этом случае в отношении ко мне действовало неписанное правило зоопарка: *съесть то он съест, да кто ж ему даст!* Люксембург – авторитетнейший преподаватель, относился ко мне не равнодушно и давал правильные советы. Например: Виктор, с нерадивым студентом ты можешь делать буквально всё, мордовать двойками и незачётами, доводить его до изнеможения, но... только при одном условии – это надо делать *доброжелательно*.

Оценивая свои преподавательские успехи, я с интересом возвращаюсь к одному необъясненному факту. Случилось так, что за все долгие восемь лет ни один коллега, ни один начальник, ни одна комиссия, ни из любопытства, ни как проверяющие не посетили ни одной моей лекции, ни одного семинара. Никто. Ни разу. Ни одна контролирующая или присланная для обязательного, *формализованного в плане кафедры обмена опытом* голова не торчала ни в одной моей аудитории даже тогда, когда я только приступал к работе и никто не знал, может я вообще непригоден или идеологически слаб. Другая сторона медали состояла в том, что ведомый каким-то инстинктом, я совершенно аналогично, как бы стараясь не нарушать равновесия, которое меня вполне устраивало, так же не присутствовал *ни на одном* занятии даже у самых опытных и заслуженных коллег. А высказанное выше суждение о лекциях Тельнихина я сделал, поскольку видел его конспекты и иногда слышал его ровный голос из-за неплотных дверей аудитории. Было ли это каким-то подсознательным взаимным соглашением или просто случайностью?

По моему субъективному ощущению преподавал я неплохо, и самому было интересно, и было достаточно словесных признаний от людей, которые давно не зависели от меня и за язык их никто не тянул. Уже вернувшись в Москву, в следующем учебном году я вдруг совершенно неожиданно обнаружил в почтовом ящике письмо без марок и штемпелей, которое привожу здесь дословно, исключив только одну фамилию. Как оно было доставлено, я не знаю. Но оно подлинное и дорого мне, потому что как новгородская берестяная грамота, является уникальным материальным свидетельством посторонней оценки моего безвозвратно ушедшего преподавательского труда. Конечно, я прекрасно отдаю себе отчёт, что сравнение меня с другими лекторами некорректно, поскольку многие вынуждены были на четвёртом курсе читать неблагодарную из-за официальной пустоты политэкономии социализма. Безусловно, если бы и мне пришлось, я бы постарался как-нибудь выкрутиться, оживить, но совсем неизвестно, не ждало ли бы этих студентов разочарование и от моих лекций на этом скудном материале. Итак, текст.

*"Дорогой Виктор Иосифович,*

*Сидим на лекции по политэкономии и снова вспоминаем Вас. Поверьте, настолько неинтересно нам, что решились написать Вам письмо. Говорят, что всё хорошее преходяще. И это так...Если нет, то почему же Вы ушли с физмата? А теперь, как и до Вас, на лекции "не вспыхнет мысли целы сутки". Вы же мелькнули на нашем горизонте поистине "как мимолетное виденье" и исчезли. Остается лишь вспоминать Ваши живые и заразительные, содержательные и интересные лекции, слушая водный раствор "классических" мыслей из уст Ваших достопочтимых коллег... Против них мы ничего не имеем, да жаль только, что пропадает всякий интерес к политэкономии, разбуженный Вами. А может, Вы к нам вернетесь?*

*С искренним уважением, 4 - курсники мехмата".*

К концу нашего пребывания в Ростове жизнь стала налаживаться. Получили, наконец, приличную большую комнату в центре города, в институте жены шла стройка преподавательского дома, её диссертация уверенно приближалась к защите, мне дали старшего. Постепенно сформировалась концептуальная основа и моей работы, основанная на комбинации производительности труда и концентрации производства в колхозах. Я начал считать затраты-выпуск на гектар для растениеводства и на сотню голов по разным фермам в животноводстве ещё в 1956 году, *раньше* чем появилась в "Коммунисте" статья, где были впервые представлены эти показатели. До этого в Песчанокопском районе начальство наотрез отказалось печатать в местной газете мою статью с данными о полном разное полученных результатов по отдельным колхозам. Они опасались, что эта совсем не обязательная информация дойдёт до обкома, и они станут, как бы по собственной глупости, мишенью какой-то

сверхнормативной критики. Потом статью безобразно обкарнали, а меня пытались обвинить в корыстных поползновениях. Несущая идея диссертации опиралась на то, что я видел неадекватность того, что под покровом повально-масштабного укрупнения колхозов реальное производство ведется кустарно, на базе ручного труда, по старому сформированных бригад и звеньев и на мелких примитивно оборудованных фермах.

К этому времени в голове Хрущева созрела мысль о необходимости тотального повышения экономической отдачи сельского хозяйства. Была предъявлена красная карточка севообороту травопольной системы земледелия, поднят на щит академик Прянишников с его идеей распахать и засеять ценными культурами каждый клочок земли, а плодородие почвы поддерживать за счет массивированного внесения минеральных удобрений. Восхваление универсальных достоинств "царицы полей" кукурузы достигло апогея. Крупный рогатый скот, свиньи и куры всей страны получили, правда, косвенно, указание догнать Америку по производству мяса и молока.

Для меня как раз в это время заключительным аккордом ростовской жизни стало то, что я в высоком ранге уполномоченного обкома КПСС подготовил и провёл экономические конференции в четырёх районах Ростовской области: Верхнедонском (мир Шолоховских книг), Ремонтненском (четыре часа езды от железной дороги, подпрыгивая до потолка в кабине попутного "студебеккера" или "доджа", полупустыня, чёрная буря, чабаны, баранья похлёбка "шулюн"). Остальные два – мой родной Песчанокоспский и знакомый, близкий к Ростову зажиточный Егорлыкский.

Ранг уполномоченного означал, что я имел возможность от имени обкома давать поручения по организационной и научной части подготовки конференции всем начальникам вплоть до председателей колхозов. Председатели обеспечивали докладчиков, изготовление наглядной агитации, помещения, доставку участников, обстановку праздника и т.п. Но главную роль играли специалисты, агрономы, ветеринары, механизаторы, бухгалтеры и счетоводы, которые по моим инструкциям проводили невиданный статистический *ad hoc* анализ первичных производственных звеньев каждого колхоза.

Колхозные бухгалтеры тогда были исключительно симпатичной частью деревенских жителей, вдумчивой, наблюдательной, критичной, хозяйственной, дружелюбной, гостеприимной и в то же время привыкшей к своей незащищённости от самодурства всяческого начальства, поэтому благодарно-отзывчивой на всякое проявление интереса и уважения к ним и их работе. Трогательно вспоминается не только то, как они высказывали наболевшее, но и огромные сковороды яичницы с салом и картошкой, которые появлялись как непременно дополнение поллитровок, а иногда и домашнего вина после экономических занятий. Один раз были "выморозки" – специфический продукт, полученный путем многократного удаления льда из ёмкости, заполненной домашним вином. Эффект потрясающий – вся нижняя часть тела исчезает, сидишь как на облаке, а в голове расцветает невиданная эйфория.

К каждой следующей конференции я набирался опыта, появлялись разного рода изюминки, результат становился ярче и многое давалось уже без чрезмерного напряжения. Венцом компании должна была стать моя знакомая, близкая к городу Егорлыкская. Там были сильные председатели и специалисты, моя проверенная техника сбора и обобщения материалов работала быстро и без сбоев. Данные по каждому колхозу быстро переносились на многочисленные ярко разукрашенные щиты, которые уже были установлены в ряд в центре станицы. Доклады не только были получены вовремя, но и отпечатаны в типографии обкома в виде толстеньких брошюр, десяток которых я гордо преподнес заведующему сельхозотделом для дальнейшего распространения "вверх".

В обстановке предвкушения предстоящего праздника состоялся районный партийный актив, на котором в президиуме, украшенном флагами и лозунгами восседал кто-то из обкомовских секретарей. Всё шло привычно гладко, пока не произошел тягостный, поистине несчастный случай, заставивший областной и районный партаппарат стряхнуть благость и резко повысить идеологическую бдительность. В хвосте ряда обкатанных выступлений слово было предоставлено рядовому коммунисту, молодому кандидату партии, скромному застенчивому парню, чабану. И он, не мудрствуя лукаво, рассказал о своем наболевшем: что распашка свободной земли подступила со всех сторон к самой изгороди его овечьей кошары. Доверительно обращаясь к президиуму, он наглядно, собирая пальцы в щепотку, стал объяснять и показывать, что скелет у овечки устроен так, что ей требуется опираться копытцем в твердую поверхность, иначе она не может нормально ходить и вообще развиваться. Удар возмездия был страшен. Обкомовец в тональности заседания трибунала, обвинил руководство района в допущении настроений, идущих в разрез с генеральной линией и потребовал разобраться с тем, кто и как открыл дорогу в партию для столь сомнительного, политически незрелого человека.

У меня впечатление от этого эпизода было тяжелейшее, но конференции это вроде бы не касалось, я пока что не знал, что будет впереди. Однако через день меня вызвали в обком и уткнули пальцем в абзац одного из докладов председателя колхоза, где сообщалось о методе поздней летней посадки фасоли в междурядьях кукурузы с тем, чтобы после уборки этой основной культуры получить дополнительный урожай бобовых. При этом инструктор недвусмысленно заявил о недопустимых подспудных манёврах с целью ущемления тезиса о решающей роли кукурузы в развитии хозяйства страны. Я бросился по кабинетам от одного специалиста к другому, и от каждого получил удивлённое и категоричное уверение о том, что налицо очевидное недоразумение, которое не будет иметь никаких последствий. К вечеру, обнадёженный и почти успокоенный, я вышел из Обкома, с тем, чтобы на завтра с утренним поездом прибыть в Егорлыкскую к началу всенародного праздника районной экономической конференции.

Станица встретила меня тишиной и безлюдьем, сиротливо стояли раскрашенные фанерные щиты с экономической информацией. Конференция была отменена ночью, мгновенно и решительно, без шума и объяснений. Между тем ко мне никаких претензий, обвинений, объяснений и даже информации не поступило. Как будто бы всё это приснилось и развеялось.

**(1962-2010)**

**Москва, второе пришествие: ИМЭМО – институт мировой экономики и международных отношений**

В конце 1962 года я ехал в Москву, чтобы поступить без особых размышлений об альтернативах в целевую аспирантуру и получить, наконец, свободное время для диссертации. В кармане лежало ходатайство о зачислении на кафедру политэкономии МГУ для завершения работы на тему "Концентрация колхозного производства". У меня было более чем достаточно концептуальных постановок и огромное количество готового уникального статистического и фактического материала не только по годовым отчётам 540 колхозов Ростовской области в машинообрабатываемой форме, но и по бригадам и фермам колхозов четырех упомянутых выше районов, выполненных по моим макетам таблиц бесчисленными бухгалтерами и счетоводами каждого из колхозов. Таблицы были сработаны этими людьми бесплатно (даже мысли такой не было). И должен отметить, что помимо партийного ресурса уполномо-

ченного обкома КПСС, было и другое – люди входили во вкус, рождался интерес, новый взгляд на свою привычную цифирь.

Помимо этого, в моём активе было членство в партии, стаж вузовского преподавания, сданные кандидатские экзамены. Об этих моих наметках было сообщено на экономический факультет МГУ всесильному вершителю политической экономии Цаголову, который благосклонно отнёсся к моим намерениям. Тем большим было его изумление, когда я неожиданно пренебрёг честью присоединиться к его корпорации.

Надо сказать, что неожиданностью это было в равной мере и для меня. Имея практически гарантированное место в аспирантуре МГУ с ясной перспективой защиты очень неплохой диссертации ну пусть не за год, но максимум за полтора, тем не менее я, ведомый каким то непонятным магнитом, зашёл на Ярославскую улицу в ИМЭМО, который тогда ютился в непригодном и малопривлекательном корпусе одной из примитивных колхозных гостиниц ВДНХ. Встретил там однокурсницу по экономическому факультету Людмилу Демидову. Она могла бы и не прийти в тот день на работу или отлучиться куда-нибудь.

Демидова провела меня в соседнюю комнату к какому-то никому не известному Громову, у которого на тот момент кроме архаического знакомства со знаменитым академиком Варгой и двадцатилетней отсидки в лагерях Воркуты, была за душой только должность завсектора, свежая кандидатская диссертация и одна опубликованная по её итогам книжечка об эффективности угольной промышленности. Однажды я слышал как Коллонтай (сын Коллонтай) рассказывал, что Арзуманян специально набирал в институт бывших эзков, которые сохранили элементы академических традиций, утраченные в период идеологического и обычного террора. Таковыми, бесспорно, были Громов, Зубчанинов, Далин и другие менее известные мне люди.

И я, как загипнотизированный, пошёл и сдал документы в очную, трехгодичную аспирантуру ИМЭМО к Громову – человеку о невыносимом характере которого было известно всем в институте (и, конечно, больше всех именно Людочке Демидовой). Эта характеристика Евгения Аркадьевича объективна и проверена временем: в итоге я удостоился звания быть единственным, первым и последним аспирантом Громова. Ходил потом ещё один парень, но он не выдержал больше года и отсекся в никуда.

Я никогда не взвешивал, какие последствия, выгоды или потери принесло мне решение бросить большую, достаточно уникальную по материалам и важную по выводам "колхозную" работу. Очевидным и дорогостоящим ущербом стала потеря университета и фактическое прекращение успешной преподавательской деятельности...

Субъективным признаком правильности решения было одно невесомое, сто процентно личное последствие. Дело в том, что в последние годы в библиотеках Ростова у меня появилась непреодолимая и пренеприятная привычка – вскоре после начала работы наваливалась сонливость, вплоть до клевания носом посреди зала. И ничего от этого не помогало. Как только приступил к работе в ИМЭМО у Громова, эту неприятность как рукой сняло, незаметно, сразу и практически навсегда. По видимому, я всё-таки не создан для колхозно-сельскохозяйственной тематики. А Цаголов мою фамилию запомнил навсегда – тот самый Марцинкевич, который отказался... коллизия типа того, как старик Дубровский, не уважил всесильного Троекурова.

Естественное стремление к зарубежной тематике меня не покидало всю ростовскую жизнь. На первом же году после возвращения связался с известным тогда финансистом-международником Михаилом Юджовичем Бортником, ленинградским



профессором-изгнанником, который преподавал у нас в Финансово-экономическом институте. Нашёл аккуратную, подъёмную и интересную тему – потребительский кредит в США<sup>50</sup>. Будагов её безапелляционно и в ледяной тональности отвёрг, не оставив мне никакого выбора кроме темы о "путях развития колхозно-кооперативной собственности и превращения её в общенародную", к которой в то время присосались буквально сотни "теоретиков" с бесчисленных политэкономических кафедр страны. Эта тема была почему-то, без всяких причин, оснований и заслуг, фирменным брендом университетской кафедры и самого Будагова. Единственное, чего я добился – это возможности заниматься темой приличной, к которой я сам подошёл естественным путём и сам создал уникальный первичный материал.

Было время больших перемен, совнархозов, короткий период потеснения и даже закрытия мощных министерств. Как-то в один из редких приездов в Москву я зашёл в ИМЭМО, который тогда как-то авантюристически (из местности, названной Сукино болото) въехал в святая святых централизованной системы, в имперское, хорошо знакомое мне по короткой службе в нефтяном ведомстве угловое здание на площади Ногина. Запомнились две вещи. Первое – в пустых тёмных высоких коридорах двое забредших по привычке командировочных, которые разводя руками, приседая и хлопая себя по бёдрам в насмешливом изумлении. читают на знакомых административно-командных дверях новые таблички типа: отдел загнивания империализма, сектор борьбы рабочего класса, группа абсолютного и относительного обнищания пролетариата и т.п. Второе – высокомерность сокурсницы Леры Заикиной (вообще-то ей не свойственная), полная величественного снисхождения к бедному провинциалу.

Первым, с чем я столкнулся в институте, оказалось то, что сотрудники там были своеобразны. Относительно многих казалось, что для них как бы по семейному происхождению было уготовано место именно в этом храме науки. Куда ни взгляни, увидишь Коллонтая, Меньшикова, Морозова, Свердлова, Загладину, молодого Маклярского или на худой конец Веру Маркушину с дочкой – дальних родственниц самого Ильича. И так многих только поскреби... но были и обычные люди, прорывавшиеся из более или менее престижных университетов и МГИМО, вроде Мартынова, Лебедевой, Яровой. Была большая концентрация кадров из органов, начиная от бывших разведчиков, таких как Залман Вульфович Литвин, был экстравагантный сын Судоплатова, который, к ужасу библиотекаряш, спокойно выносил из "спецхрана" иностранные газеты и кончая бывшими военными аппаратчиками типа Добровинского, Ульяничева или Поелуева. Или фронтовой друг Брежнева – заведующий аспирантурой, вежливый и доброжелательный Гурий Юркин. Откуда-то вдруг появился Симис – странная комбинация – комсомольский лидер и типаж, от которого так и разило эмиграцией в Израиль. Он плыл как корабль, дымя трубкой по коридорам "Золотого Колоса", а за ним с еле подавляемым охотничьим азартом чекиста следовал взглядом мой приятель Поелуев<sup>51</sup>. Ныне Саймс является в Вашингтоне

<sup>50</sup> Два раза судьба уводила меня от потенциально чреватых обогащением, хотя и в далёкой перестроенной перспективе, сфер деятельности. От нефтянки в 1955 году, когда я ушёл в ростовскую политэкономии из отраслевого научно-исследовательского института Министерства нефтяной промышленности СССР, и от судьбы специалиста по финансовой тематике в ростовский период (шутка).

<sup>51</sup> Непотопляемый Авенир Поелуев был полковником и одновременно (исключительно по его самоаттестациям) кадровым разведчиком, блестящим штатным сотрудником аппарата ООН, удивлявшим иностранцев своей языковой и юридической компетентностью, изобретателем (всегда накануне получения нескольких иностранных патентов на какое-то мощное информационное средство). За десятки лет пребывания в институте при отсутствии определённых функций и нулевой научной продукции Авенир всегда являл воплощение стабильности и спокойного превосходства. Перед моей поездкой в США он всё время и в различных ситуациях оказывался рядом, я кожей чувствовал его взгляд, но по видимому, выдержал эту проверку. Однажды в середине 90х, сумерничая небольшой компанией в

респектабельнейшим и подчеркнуто пророссийским экспертом, близким к людям из американского госаппарата. И много было таких нестандартных людей.

Академик Румянцев, бесспорные заслуги которого относятся ко времени его работы в Праге главным редактором журнала "Проблемы мира и социализма", покровительствовал Громову. Однажды я был послан к академику и члену ЦК КПСС домой за отзывом на докторский реферат Громова, который защищался без диссертации, по совокупности работ, что тогда было редкостью. На подходе к квартире мэтра я не мог не вспомнить своё студенческое впечатление о публичной лекции Румянцева в одной из аудиторий университета зимой 1952-53 года. Лектор воспринимался как высокопоставленный идеологический партийно-научный комментатор разразившихся тогда экономических сочинений Джугашвили. Я испытал от этой презентации потрясение особого рода, поскольку оказалось, что разъясняя гениальные прозрения вождя, касающиеся логики основного экономического закона социализма, лектор пространно и буквально повторял действительно великолепный текст "Введения" Маркса к его же работе "К критике политической экономии". Для тех многих, кто не читал первоисточник, это звучало крайне свежо и научно. Однако я был в смятении из-за того, что лектор не только на публике раскрывал источник сталинского творческого прозрения, но и сам стяжал лавры комментатора без всякого упоминания о могучем первоавторе гениальных идей.

А потом в самом начале перестройки-гласности была большая всесоюзная конференция в постиноземцевском ИМЭМО. Основополагающий и пустостампованный доклад Румянцева был встречен откровенными насмешками, шиканьем, шумом и хождением в набитом людьми зале. После этого позорища он ещё долго и внешне спокойно сидел в президиуме.

**Евгений Аркадьевич Громов и отдел эффективности.** С самого начала работы в ИМЭМО меня прибило к проблематике накопления, в своеобразной, но соответственной тому времени форме. Процесс, свидетелем которого я стал, был похож на ситуацию в конструкторском бюро Туполева, который немного раньше занимался копированием американского бомбовоза – "летающей крепости". Это был как раз тот момент, когда аборигены сектора завершали впечатляющий труд из области особенностей накопления вещного богатства под названием "Воспроизводство конечного общественного продукта США". Стержнем этой книги была первая в СССР демонстрация подтверждённых на Западе тенденций снижения фондо- и капиталоемкости и уверенная, может не до конца обнажённая, апология валового внутреннего продукта – ныне всем известного ВВП. Это была своего рода *благая весть* о возможности и закономерности снижения нагрузки материального накопления в эффективном современном хозяйстве.

В качестве пионеров такой постановки выступили три американских экономиста: Кример, Добровольский и Боренштейн, которые наработали и опубликовали соответствующие данные. В условиях США, где процесс нормального развития народного хозяйства страны сам пробивал себе дорогу, это было ординарное статистическое исследование. В нашем же официозе это выглядело как случайная, подброшенная извне, злокозненная и нелепая новация, направленная против азбучных, незыблемых экономических и идеологических концепций развития страны: *примата производства средств производства* в ущерб народному потреблению, против самодовлеющего, замкнутого в себе как самоцель расходования сил страны на самые

---

нашей комнате, мы пришли к общему мнению, что в стране нет человека, который смог бы стать национальным лидером. В этот момент из тёмного угла раздался мучительно огорчённый возглас Поелуева – а Я?!?! Тогда этот всплеск чувств показался неожиданным и наивно детским. Теперь, однако, мы знаем, что для полковника Комитета нет невозможных высот.

грубые нерасчленённые отрасли тяжёлой промышленности. ("*Чтоб было больше чугуна и стали на душу населения в стране*").

Более того, громовцы подняли на щит то, что в западной статистике было общим местом, а здесь – важнейшим "нововведением для нас" – трактовку *конечного* общественного продукта (это, повторю, другое название ВВП) в качестве *реального показателя результатов развития страны*. Отсюда для посвящённых следовал мало замаскированный удар *под дых* знаменитым, фанфарно открывающим все советские статистические справочники, показателям успехов СССР *по сравнению с 1913 годом*. Эти цифры были основаны на спекуляциях с накрученным "повторным счётом" в валовом продукте – любимом детище официальных статистиков и пропагандистов.

Варение в этом очень квалифицированном, но и весьма узко очерченном котле материально-вещных "фондоёмкостей" и "капиталоотдач" как-то естественно, само подвело меня к догадке о том, что большего, чем достиг Громов с командой в упомянутой первой коллективной книге, а также мой сокурсник и друг Валентин Кудров со своими сокрушительными (за что их скрыли от глаз, как бы тайно казнили, то есть поспешно засекретили по высшему разряду и наглухо спрятали в сейф) сопоставлениями производства и производительности в СССР и США, из этой проблематики ничего не выжмешь кроме продления уже сформированных (великолепных) таблиц и конъюнктурного топтания вокруг них.

Натурально-стоимостное исследовательское направление анализа факторов производства, *подчёркиваю: в политэкономическом аспекте*, как раз точно к этому времени исчерпало себя. Это подтвердилось в дальнейшем: оно не содержит никаких новаций уже почти полвека. Борьба громовской группы с "приматом производства" была одним из последних нетривиальных направлений вещно-стоимостного анализа воспроизводственных процессов. Нетривиальность, конечно, была для нас в СССР, но не для заграницы, где это было всем известно.

Инфицированные этими подмётными идеями, теоретики громовского отдела и некоторые другие сотрудники института шли дальше и замахивались на фундаментальную идею советского догматизма о том, что единственной производительной сферой и эксклюзивным кормильцем страны является цитадель пролетариата – материальное производство, а все остальные виды деятельности представляют собой периферийные, иждивенческие области жизни общества, которые существуют за счёт этой материальной или, как иногда изобретательно говорят сейчас, *реальной* сферы.<sup>52</sup>

В громовском отделе царствовала атмосфера насмешливой враждебности к этой затхлой догматической идее о производительной и непроизводительной сферах народного хозяйства. Должен, однако, заметить, что в данном идеологическом конфликте "под защиту" громовцев-аборигенов попадала сфера торговли, материальных, личных, деловых и прочих услуг. Что касается отраслей духовного производства, то они по инерции были вообще вне дискуссии. Их имплицитно считали частью "надстройки" над экономическим "базисом". В этой ситуации я с непосредственно-

<sup>52</sup> Отжившая в цивилизованном мире свой век концепция первенства материального производства, вторичности и иждивенчества сфер культуры, образования, фундаментальной науки и даже здравоохранения, до сих пор звучит убедительно для очень многих российских жителей и руководителей. К сожалению, это происходит, во-первых, по причине губительной исторической задержки перехода нашей страны на современную постиндустриальную стадию развития, и, во-вторых, из-за разрухи в нашем материальном производстве. Оно было искалечено однобокой и непосильной советской милитаризацией, а затем оказалось безнадежно неконкурентоспособным и отставшим от динамичного, инновационного и массового выпуска разнообразной полезной, привлекательной и более дешёвой продукции в странах Запада и Востока.

стью неопита пошёл вперёд, легко и буднично, как бы не заметив, переступил грань между областью обычных услуг и духовным производством, предложив сферу образования как само собой разумеющуюся в качестве темы для диссертации по специальности политическая экономия. Естественно было, что и Громов глазом не моргнул, одобрив это предложение, и все окружающие спокойно сочли это совершенно ординарным. После этого Громов, имея В.Зубчанинова с темой "наука как производительная сила", меня со сферой образования, С.Загладину со здравоохранением и торговлей, Л.Демидову с динамичным миром обычных услуг и М.Барабанова, готового детально представить любую позицию национальных счетов и все их вместе, мог совершенно подготовленно выступить в семидесятых годах с новаторскими коллективными монографиями о сфере услуг и о комплексном характере современного процесса накопления.

Когда я пришёл в отдел, то совершенно не представлял, чем мне там заниматься. Карманная темка об американском "потребительском кредите", вполне приемлемая в других, обыкновенных местах, в глазах громовцев, привыкших к предельно масштабным постановкам, выглядела камерной, если не смехотворно мелкотемной<sup>53</sup>. Выручило как раз то, что Громов обратил свой взор к проблеме услуг. Как рассказывала Демидова, это пришло к нему в порыве праведного возмущения, когда возвращаясь летним вечерком с работы по проспекту Мира к метро, он не нашёл по дороге ни одной торговой точки, чтобы выпить кофе или как-нибудь освежиться хотя бы газированной водой.

Конечно, был и более серьёзный вариант, что подготовил почву и подлил масла в огонь выход книги калифорнийца Фьюкса о роли сферы услуг в экономике США. Вот Громов и предложил, не мудрствуя лукаво, своему первому новоиспечённому аспиранту тему в той же формулировке как у американца, нисколько не заботясь о мелочах вроде того о чём писать, как поднимать, как делить тематику на которую вот-вот навалится весь отдел. Причём и форма поручения была достаточно уничтожительной, тем и запомнилась: ну, ни в никакой отрасли промышленности, транспорта, строительства и прочего производства (сельское хозяйство ему в данный момент не было нужно) вы не работали и не знаете, чем вас занять я ума не приложу, вот возьмите сферу услуг!

С этого момента для нас с Галой наступил период Ленинской библиотеки. В огромный как футбольное поле, высоченный, классический и вычурный, украшенный фресками, лепниной, деревом, корешками энциклопедий и сочинений основоположников марксизма, всегда под завязку заполненный аспирантами гуманитарный зал №3 мы приходили утром не позже времени, необходимого и достаточного для занятия очереди в раздевалку на первый запуск внутрь (так ходили тогда и в баню), а уходили сплошь и рядом в без четверти десять, когда раздавался звонок об окончании работы библиотеки.<sup>54</sup>

Изо дня в день через мои руки проходили десятки американских изданий по отраслям и проблемам сферы услуг. Стала очевидной задача простого механического сужения темы. Первой (и замечу, без всякого сожаления) была выброшена за борт вся сфера материальных, бытовых, рекреационных и подобных обычных видов обслуживания. По тогдашней американской классификации отраслей услуг остались здравоохранение и образование. Я уже тогда знал, что будет выбрана человекоцен-

<sup>53</sup> Кстати, на эту аккуратную тему вскоре защитил диссертацию один мой знакомый парень по фамилии Козловский.

<sup>54</sup> Предметом тайного вожделения был зал №1, для докторов наук, всегда полупустой и особой раздевалкой, всегда доступной и без очереди. Когда я получил на него право, уже наступило другое время, он оказался мне не нужен. Тем не менее, я пошёл специально и получил билет, хотя и прекрасно знал, что уже никогда им не воспользуюсь.

тричная, необычная для традиционной политической экономики отрасль. В этом плане обе были интересны. Но тут я, помимо прочего, вспомнил ядовитое замечание Громова – ведь всё же в незнании "образовательного производства" меня всего менее можно было упрекнуть. Конечно, цена этому знанию в России была копейка ещё во времена Гоголя с его зрителем училищ Лукой Лукичём, который жаловался на всеобщее засилье знатоков и специалистов по "педагогической части". Тем не менее в корзину полетело здравоохранение, о чём я также не жалею, ибо по красоте и сложности своей воспроизводственной роли оно не может сравниться со сферой образования.

Должен с глубоким удовлетворением и с чистой совестью засвидетельствовать, что в изучении экономики образования российские экономисты действительно выступили в роли первопроходцев. Как раз в этот момент наша "Экономическая газета" опубликовала знаковую статью академика Струмилина, который напомнил о бесспорном, но затоптанном и забытом приоритете изучения экономической роли образования в 1920-х годах нашими исследователями и представил собственные подсчёты вклада образования в экономический рост. Если для американских учёных идея инвестиций в развитие человеческого потенциала страны была абсолютной новинкой, то для российского менталитета она органически вытекала из всегда широко известных у нас основополагающих принципов экономической теории Маркса.

Фактически западная концепция "человеческого капитала" представляет собой запоздавшую на целое столетие реплику марксовской категории "стоимость рабочей силы". В это понятие бородатый гений включал не только текущие затраты на работника, но и расходы на его образование и квалификацию, а также "исторический и моральный компонент" воспроизводственных издержек. Столь же естественным было для него понимание общественных издержек в сфере образования в качестве *капитальных затрат* в развитие человеческого потенциала страны, таких же, как инвестиции в материальные фонды.

В начале шестидесятых годов пришли свежайшие номера американских журналов с пионерными, инновационными статьями Джекоба Минцера, Теодора Шульца и Гэри Бекера. Идеи этих новаторов оказались совершенно неожиданными для их соотечественников. Когда на ежегодном собрании Американской экономической ассоциации была объявлена тема инаугурационного доклада председателя – Теодора Шульца "Инвестиции в человеческий капитал", профессиональная аудитория в недоумении зашумела, участники переспрашивали друг друга: Какие инвестиции? Во что? Со всеми тремя упомянутыми выше западными классиками проблематики "человеческого капитала" я продолжительно и содержательно разговаривал во время первой поездки в США. У меня было, что им сказать и за какие логические и статистические ниточки подёргать.

После выбора экономики образования изучение инвестиционных отраслей духовного производства, то есть вложений в человека, в человеческий капитал (или если говорить точно, – потенциал), то есть *нематериальное накопление* для меня фактически превратилось в пожизненное занятие. *И так совпало, что одновременно это стало магистральной проблематикой и для современной экономической науки на многие десятилетия вперёд, теперь уже очевидно, что на весь двадцать первый век.*

Конечно, в условиях шестидесятых годов выбор сферы образования в качестве темы для экономического исследования был прозрением. Но правомерность этого только сейчас очевидна, да и то не в нашем отечестве, где всё главное осталось на декларативном уровне – об этом свидетельствует перманентно низкий уровень, а затем и катастрофическое падение доли сферы образования в ВВП. А в те далёкие годы среди профессиональных научных работников открывающиеся перспективы

смогли разглядеть немногие, можно сказать считанные люди: у нас Громов, как ни странно, Адольф Кац, одиозный автор известной в то время "чёрной книги" об *абсолютном унижении пролетариата США*. Понял значимость проблемы Иноземцев в своём особом ракурсе руководителя института, государственника и партийного деятеля-инноватора системы.

Но по серьёзному, не декларативно, для настоящего дела, во властных структурах, это не было нужно никому. Только в самых розовых очках можно было представлять, что возможно вырвать у нашей системы, стоявшей на ВПК и под непоколебимой защитой железного занавеса, *"головлёвский кусок"* на детей, студентов и послушных интеллигентов-преподавателей. Что же касается населения, общественного мнения, то оно было погружено в беспробудный сон и убаюкивалось продажным (лучше сказать, как бы "по детски" не осознающим своей продажности) хором чиновников образовательных министерств, вкуче с перманентно сервильным руководством серой Академии педагогических наук, вещавших в унисон о самом лучшем в мире советском образовании<sup>55</sup>.

Тему диссертации – *"Экономическая роль образования в США"* мне утвердили в начале 1963 года после трёх месяцев пребывания в аспирантуре. Естественно, никто на это не обратил бы внимания, если бы не произошёл небольшой скандалчик. Дело было на общеинститутском партийном собрании. Это мероприятие вообще у нас обставлялось весьма солидно, каждое как событие в жизни учреждения, с полным соблюдением ритуала, с отшлифованными докладами и подготовленными выступлениями, с великолепными солистами в лице целой плеяды действительно "штучных", авторитетных и квалифицированнейших сотрудников, которые последовательно служили секретарями парторганизации Института.

В данном случае и обстановка была соответствующая – отделанный белым мрамором квази-античный актовый зал Института Маркса, Энгельса, Ленина. И там с высокой трибуны Сергей Алексеевич Далин – руководитель комиссии по очередной проверке, один из самых уважаемых в институте людей, с тревогой сообщил, что в здоровой структуре аспирантуры института обнаружилось две странные, бесодержательные темы. Одна – *"Экономические аспекты завоевания космоса"* – это у Иванова, ну, молодой парень, что с него взять, а вторая, только послушайте – *Экономическая роль образования в США!* А ведь вот этот аспирант – человек с опытом, член партии. И вдруг такая со всех точек зрения непонятная тема, которая ни в какие ворота не лезет, необходимо с этим разобраться. Интересно, что это заявление прозвучало как будто в пустоте и *абсолютно* никаких последствий для меня не возымело, может быть кроме первого оповещения институтской общественности о существовании моей персоны.

Но всё же этот случай имел очень редкое и неожиданное для меня завершение. Через некоторое, совсем небольшое время Сергей Алексеевич подошел ко мне и сказал, что он разобрался в вопросе и понял, что допустил ошибку в отношении к моей теме, что она заслуживает всяческого исследования, и что он был не прав тогда на собрании. За всю свою службу я помню ещё только один явный случай подобного благородного рода. Это было на собрании бывшего громовского отдела. Новый руководитель Н., уже долгое время подступавший ко мне и к группе сохранившихся

<sup>55</sup>Мне всегда было чуждо высокомерное забвение или отрицание сильных сторон образования советского периода. Но, к сожалению, эти позитивные элементы поддерживались благодаря недоломаным российским традициям, неистребимой инновационности и неподконтрольному здравому смыслу лучших людей этой сферы. Вместе с тем удержание в стране талантливых людей стало возможным из-за железного занавеса, который блокировал утечку умов за границу. А постоянную потребность в квалифицированных кадрах поддерживал оказавшийся неподъёмным для страны военно-научно-промышленный комплекс, который исправно поглощал вливаемые в него безразмерные средства.

"аборигенов" с разного рода параноическими обвинениями (вплоть до того, что я ежедневно и тайно отношу в отдел кадров сведения о каждом опоздавшем на работу сотруднике отдела – противно об этом говорить, но из песни слова не выкинешь) на этот раз с чем-то выступил публично. И здесь встала Луиза Ночёвкина и стала ему возражать по существу, несмотря на то, что прекрасно отдавала себе отчёт в том, каких пакостей можно ожидать от этого человека. В институте вообще было не очень принято выступать *на публике* против начальства, тем более в защиту кого-либо.

Но не будем терять нить повествования. С самого начала мои взаимоотношения с Громовым развивались неординарно. С одной стороны, я с увлечением выполнял его разовые поручения, в каждом из которых заключалось для меня маленькое открытие. Это был, например, расчёт масштабов, времени и средств, затрачиваемых американцами на автомобильные поездки на работу (это не просто так, а чтобы показать "производительный" характер услуг *пассажирского* транспорта, который наша официальная статистика, в отличие от перевозки грузов, относила к второсортной потребительской сфере). Или составление сопоставительной таблицы о соотношении зарплаты и социальных начислений в разных странах. Из неё стало ясно, что по уровню социализации СССР существенно отстаёт от капиталистических стран Европы. Или поручение составить статистический ряд численности населения СССР по переписям двадцатых – пятидесятых годов, необходимый для разных показателей в расчёте "на душу". После этого я стал одним из первых представителей послевоенного поколения, которому скрупулёзно документально "открылся" факт сокращения числа жителей страны (на сопоставимых территориях) за период от *начала двадцатых годов* (с первой переписи населения после гражданской войны) *до конца 30-х на 14 миллионов человек.*



В отделе было притчей во языцех то, что Громов периодически вызывал то одного, то другого сотрудника и требовал от него "новых идей". Как ни старались подчинённые предложить те или иные варианты, все они отметались как слабые, непригодные и не содержащие новизны. Со мной дело было в принципе так же, но зрелищнее. В отделе все привыкли к своеобразному поносительно-издевательскому отношению к самым священным догматам официальной науки – примату производства, всяческим законам социализма, особенно трактующим о преимущественном росте первого подразделения, о делении труда на "производительный" и "непроизводительный", к загниванию империализма, безудержному росту нормы прибавочной стоимости и тому подобным вещам. А я, часто не задумываясь, по-

преподавательски употреблял фразы о росте нормы эксплуатации или о само собой ухудшающемся положении трудящихся и другие подобные вещи, даже если они были не обязательны в контексте будущей работы.

Приходя в Институт в отличие от многих аспирантов как на работу, я чуть ли ни каждую неделю приносил ему планы и проспекты своей будущей диссертации. Поскольку тема поначалу была безбрежной, эти опусы оказывались лёгкой мишенью для разгромной критики, которая обычно достигала наивысшего накала на моих инерционно-преподавательских теоретико-идеологических штампах. Громов начинал ядовито меня высмеивать, я распалялся и вступал в пререкания, дело доходило до крика, который был отлично слышен в коридоре.

Коллеги говорили, да я и сам отлично помню и не отрицаю, что высказывал из громовского кабинета весь красный после перепалки, со сжатыми кулаками, оставляя его тоже розовым, но вполне довольным собой. Однако я очень скоро, почти сразу после того, как успокаивался, начинал понимать, что ветеран теоретических битв двадцатых годов в наших спорах практически всегда был прав, а затем и увидел, что сбивать с меня преподавательский догматизм не представляло большого труда и было даже забавно. Так что перевоспитывать меня было не трудно, я сам этому был искренне рад.

Ну, а по поводу его высокомерного и безапелляционного, на грани пренебрежения тона, то это был его характер, фирменный стиль и проявлялось это в отношении всех – и его подчинённых, и многих равных ему институтских коллег. Например, страдал даже Владимир Васильевич Зубчанинов, заслуженный бывший зэк и природный, идеальный профессор. И тот был вынужден объясняться – да не глупее я Громова, просто ум у меня другой! На грани издевательства (причём не по быту, а по теоретическим вопросам) были его придирки к Тиграну Хачатурову, вальяжному академику, с которым мы втроём были в Италии по случаю международной конференции, где молодая блестящая элита мейнстрима (среди многих известных был скромный и бледный на их фоне будущий нобелевский лауреат Викери) обсуждала абстрактнейшие вопросы эконометрики, линейного программирования, производственных функций, теории игр, бесконечно далёкие от наших научных занятий.

Должен сказать, что поводов было предостаточно. Например, выступает молодой американский интеллигент с откровенно абстрактной транспортной задачей. Хачатуров – на этом заседании председатель, комментирует: а кроме того, по сравнению с 1913 годом протяженность железных дорог в СССР выросла в ... раз, а локомотивный парк в ... раз. Следующий оратор объясняет эконометрическую модельку о рационализации строительства на трёх островах. Наш академик в том же стиле сообщает, что за годы советской власти в городах построено столько-то квадратных метров жилой площади. И так после каждого доклада прямо как по справочнику "Народное хозяйство СССР" ... *Честное слово*, я ничего не прибавил для юмора.

Пожалуй только старый умный разведчик, штабист и консерватор, полковник и боец Борис Натанович Добровинский не позволял измываться над собой. Еще не подвергался прямому поруганию того же поля ягода Сергей Сергеевич Ульяничев (как две капли воды похожий на старинные фотографии Ульянова-отца, книжка с которыми почему-то часто валялась у него на столе). Громов с загадочной ухмылкой неизменно использовал его в качестве секретаря парторганизации отдела.

Следует объяснить, что в издевательской форме отношений Громова с подчинёнными был какой-то особый личностный элемент, присутствие которого сохраняло стабильность и работоспособность коллектива. Те люди, которые не улавливали этот нюанс, либо были профессионально или концептуально несовместимы с духом отдела, исчезали очень быстро и без всякого следа. Мы же, оставшиеся, знали, что издёвки – это наше внутреннее, даже как-бы семейное дело, что, как таковые они не были связаны с реальными оргвыводами, сигналами наверх, и только в редких, штучных случаях – с различного рода манёврами и ущемлениями. Те, кто чувствовал уверенность, могли с ним спорить и сколь угодно жёстко отстаивать своё видение. Кроме того успокаивало, что громовские аттестации признанных столпов института, на которые он не скупился в присутствии своих, бывали часто похлеще, чем в отношении подчинённых.

В итоге, при всей описанной специфике в отделе образовалась устойчивая исследовательская атмосфера, требовательность в отношении техники оценки и обработки данных, постоянно поддерживался градус заинтересованной, часто эмоциональной взаимной критики, причём элементы служебной конкуренции были макси-



мально ослаблены, напрочь отсутствовали проявления чиновничества, подхалимажа, кухонного сюсюканья. Основой этой своеобразной конструкции отношений было то, что Громов был умён как исследователь и был житейски опытнейшим человеком. Мы знали мало конкретного о том, какие огни, воды и трубы он прошел в жизни, что там было наворочено в его прошлом, какие скрыты скелеты, но чувствовали, что было...

Должен сказать, что я многократно сверял, и сейчас считаю, что у меня концептуальный ум изначально оказался устроен в принципе по тем же чертежам, как у Громова, и это мне очень нравится. О том, что я многому и фундаментальному у него научился, нечего и говорить. Я не без удовлетворения, может неоправданного, вспоминаю, что оказался в числе немногих, которые во время очередного, почти ритуального опроса сотрудников о "новых идеях" неожиданно получили его неотрицательную оценку – типа *в этом что-то есть*. Это произошло один раз, во время подготовки его последнего, оставшегося неосуществлённым замысла о разработке принципиально нового подхода к явлению и категории *производительность труда*. Свои задумки он не раскрывал, но, по-видимому, речь шла о том, чтобы преодолеть ограничение её трактовки рамками материального производства. Скорее всего, он видел в этой тематике что-то вроде связующего звена для перехода от архаического копания в стоимостных и вещных факторах к человекоцентричному пониманию постиндустриального воспроизводственного процесса.

Исходя из очевидной зависимости производительности от качества рабочей силы страны, я тогда предложил нетривиальную модель её структуры, а именно подразделение людей не по набившим оскомину пассивным признакам – отраслям или профессиям, а по их участию в развитии каждого из основных народнохозяйственных источников фактического воздействия на производительность. То есть я увидел концептуально и статистически в составе работников США людей, прямо занятых инновационными функциями (в том числе исследованиями и разработками), воспитательной и образовательной деятельностью разного рода, охраной здоровья населения и защитой окружающей среды и, наконец, работников массового производства продукции и услуг.

Впоследствии карикатурный преемник Громова Никитин, у которого было безупречное чутье ко всему отклоняющемуся от натоптанных схем, исключил этот раздел из трафаретной коллективки о производительности. В результате мне удалось реализовать его, как и другие постановки, только после перехода в отдел США ко Льву Любимову. К сожалению, к тому моменту, когда вышла монография "Человеческий фактор и эффективность экономики" подступили времена буржуазно-коммерческой перестройки, с её проблемами приватизации, "рынка" и нефтеторговли, когда экономическая общественность неудержимо и массово-легкомысленно оторинула себя бесконечно далеко от проблем эффективного инновационного развития, а ещё дальше – от проблем качества человеческого потенциала (и даже – от его количества). Интерес к таким вещам возможен и востребован только в стране с нормальными механизмами и структурой народного хозяйства (а может быть, и с нормальным менталитетом?). Жаль, конечно, что судьба этой книги не состоялась, но слава Богу, что она была. Больше, но не на много, повезло другой монографии "Экономика человека" написанной в соавторстве с И.В.Соболевой, которая вышла в 1995 году.

Возможно, что самой важной заслугой Громова был его решающий вклад в создание *зрелой структуры экономической части Института*, той самой, которая в советские годы доминировала в формировании имиджа ИМЭМО, а в последние десятилетия сначала перестала развиваться в ногу с изменениями мировой экономики, а потом откровенно деградировала. Основой структуры стал громовский отдел, само

название которого было вызовом, ну, скажем – жупелу *дряхлеющего империализма*, а именно: *"Отдел эффективности экономики главных капиталистических стран"*. Уже при мне в этом отделе усилиями Громова ядро энтузиастов первоначального сектора эффективности обросло сектором Научно-технического прогресса, которому, правда, не везло по разным причинам с руководителями, лабораторией международных экономических сопоставлений под энергичнейшим руководством Кудрова. А рядом с ними под неуклонно-последовательным давлением Громова был создан *отдел промышленности*. Это многолюдное подразделение, руководимое Куренковым с течением времени освоило все комплексы материального производства, но в концептуальном отношении в большей степени, чем другие, осталось на уровне архаичных попыток приспособить стоимостной инструментарий прошлого века для пост-пост-индустриальных процессов современного мира.

Коренной, непростительной ошибкой тогдашнего директора Института, было решение о назначении руководителем отдела после Громова его научного антагониста, творческого и человеческого антипода. После этого стало неизбежным быстрое превращение отдела в сервильную бригаду по сочинению дежурных "плановых" коллективных монографий на заданные шаблонные темы. Одновременно произошло структурное разобщение секторов, а затем задолго до ухода Никитина в мир иной – развал отдела и ликвидация организованных социально-экономических исследований эффективности в ИМЭМО.

Сейчас структура экономических исследований в Институте лишена стержня и впрямую, можно сказать парадоксально противоположна реальной структуре экономики продвинутых в будущее развитых стран мира. Там сфера материального производства давно составляет 15-20%%, а в институте ею заняты все экономисты структурно-отраслевого отдела. Есть часто упоминавшаяся выше Демидова, которая руководит практически сама собой в деле изучения огромной сферы услуг и инвестиционных сфер, создающих не вещное богатство общества. Координация работ по изучению социально-экономической эффективности отсутствует как класс. На острие философско-политэкономического осмысления строения человеческих источников динамики современного воспроизводства много лет стоит Е.Яровая, которой дают существовать, но никто не торопится не только серьезно поощрять, но просто понять и оценить её логику и модель.

Приходится признать, что в ИМЭМО пока ещё доминирует осторожное ожидание момента, когда хронически отстающие власти страны, бизнес и общество сами дозреют до понимания современных представлений о человекоцентричных движущих силах мирового развития.<sup>56</sup> Отсутствие системного центра изучения *эффективности*, заточенного на анализ процессов не вещного накопления, проблем качества человеческого потенциала (включая, роль сфер, отвечающих за культуру, нравственность, гражданские качества), потребностно-деятельностные механизмы и движущие силы саморазвития, возникающие на их основе критерии социально-экономической эффективности развития страны, – всё это нельзя трактовать иначе

<sup>56</sup> В том, что коренная переориентация всеобщих представлений скоро произойдет и у нас, сомнений нет. Но важно, как это произойдет. Концептуальное осознание предстоящей крупной социальной инновации, как правило, проходит три фазы. На первой – когда она возникает в виде теоретической конструкции, её обычно считают не заслуживающей внимания серьёзных людей, а её носители порой годами выступают как оторванные от реальной жизни чудаки. Вторая фаза – просыпающееся понимание того, что *в этом что-то есть*. Она пролетает скоротечно и заменяется третьей – *да это всем известно и даже банально!* При этом в научно-административном выигрыше оказывается свежий приток активных толкователей второй фазы, а уставшие к этому времени инициаторы вскоре забываются.

как *зияющую дыру* в структуре ИМЭМО и *отход от исторической модели института, от его фирменного облика*.

Как упоминалось, Громов, конечно, не был благородным рыцарем. Когда он почувствовал выигрышные возможности нетривиальной разработки проблемы услуг, у члена нашей команды – Загладиной уже была готова монография на эту тему, возможно не лучше, но и не хуже всех остальных её книг. Оставалось только сдать в издательство. Но этого не произошло. Инъекция критики была дозирована ровно настолько и так локализована, что вопрос о публикации отпал, и Светлана оказалась только автором нескольких глав в книге под редакцией Громова.

Ещё до этого, когда была написана, легко защищена, рекомендована и подготовлена к печати моя диссертация, интеллектуальное давление Громова на меня, похожее, как я теперь понимаю, на то, какое было в отношении Загладиной, зашло столь далеко, что я сообразил, что моя рукопись под внешне скромным, но по тем временам революционным названием "Образование в США: экономическое значение и эффективность", никогда не дойдёт до издательства, если её редактором будет Евгений Аркадьевич, что по всей логике, по справедливости и пользе для всех должно было быть.

Новизна и фундаментальная перспективность этой работы была бесспорной, вряд ли кто-нибудь сможет это отрицать и тогда, и сейчас, хотя бы потому, что я оказался вне конкуренции, её цитируемость следующие несколько лет зашкаливала, проделать такую работу пришлось в голову немногим кроме старика Струмилина, напомнившего в упомянутой мною статье первопроходческие достижения наших российских экономистов двадцатых годов, и знакомого мне по университету профессора Жамина. Его работа вышла несколько позже, была менее провокационна, поскольку основывалась на бледных материалах нашей страны.

Тем не менее, Громов изо дня в день продолжал свои бесконечные безапелляционные, хотя и безадресные придирки в сопровождении обидных сентенций в том духе, что изложение проблем категорически далеко от минимального совершенства, необходимого для публикации. Сейчас я вполне соглашаюсь, что поведение "Аркадьича" было не безосновательно, наверняка он чувствовал возможность существенно усилить многие постановки и формулировки, что и было впоследствии без особого напряжения и волнений выполнено мною самим. Но тогда я уже озверел от постоянного ковыряния в этом тексте. Если бы он хоть один раз дал хотя бы один конкретный совет или даже один намёк – но не было этого!

Поэтому мне, может быть в первый раз в жизни, пришлось совершить служебный манёвр и без лишней огласки оформить в качестве ответственного редактора заслуженного Модеста Рубинштейна. Этот величественный старик не высказал ни одного пожелания или поправки к рукописи. Ещё более ценно для меня было непосредственно искреннее признание издательского редактора – выпускницы нашего экономфака В. Рубэ, которая сказала, что деньги за правку рукописи она получила даром, поскольку текст был стопроцентно готов и вылизан. Обычно в то время редакторы были чрезвычайно придирчивы, а для меня это был вообще надолго исключительный уровень совершенства, и заслуга за это полностью принадлежит Громову, ожесточённое сопротивление которого заставило меня более чем обычно поработать над текстом.

Я знаю, что сам могу быть хорошим редактором, но, к сожалению, небрежность, самонадеянность и лень часто мешают мне заняться необходимой доводкой собственного текста (и быстро написанного, и вымученного), до такой степени, что бы, так сказать, "гениальные идеи" были бы понятны не только мне, но и другим. Это небрежность в шлифовке текста, пропуск важных связей, которые есть в голове, но не переходят на бумагу, в результате чего теряется часть смысла и даже весь. По-

этому многие коллеги выражали желание выступить у меня редакторами, поскольку они видели простые возможности существенно улучшить текст. У меня это вызывало внутреннее сопротивление. Вместо того, чтобы ещё и ещё потрудиться, я обижался, выступал как защитник "авторского стиля". Был в этом не прав часто.

Но один раз я схитрил и дал Луизе Ночёвкиной под видом текста для редактирования мою любимую страничку из "Мёртвых душ". Ту, где говорится о человечестве, которое постоянно забредает в мрачные тупики, не видит ярко освещённых магистралей своего нормального развития, раз за разом повторяет прошлые ошибки. Эта страничка была у меня распечатана на машинке и висела на стене<sup>57</sup>. Луиза тут же карандашиком легко, бегло и густо испещрила весь классический текст редакторской правкой. Я долго хранил этот листок, а потом потерял<sup>58</sup>.

Книга по сфере услуг, надо отдать ей справедливость, получилась великолепная, её и сейчас приятно взять в руки – практическое отсутствие ссылок на руководящие указания партийных документов, отшлифованные *пассажи* (громовский термин) теоретических постановок, оригинальные таблицы с прописанной методологией расчётов – вот как мы работали в своё время!

Я пока что молчу о главном – удивительной по тем временам идеологии прогрессивного характера развития не только услуг вообще, но и сферы духовного производства. Сферы образования и науки (без всяких самоуничижений и реверансов в сторону примата производства, как будто бы иначе и быть не может) презентовались перед лицом догматического синклита певцов материального производства и промышленного пролетариата как не просто производительные, но ключевые, *инвестиционные* народнохозяйственные сферы. Именно в этой книге Громов отковал свою (как мне хотелось сделать её знаменитой) формулу – "сфера производства *нематериального богатства* и услуг".

Кроме долгоиграющего чувства глубокого удовлетворения эта монография дала нам редкий в то время случай выступить в качестве главных фигурантов на Всесоюзной конференции по экономической роли сферы услуг в Таллине, где произошло генеральное сражение "имэмовцев" с догматиками Экономического факультета МГУ, которые прибыли под руководством декана Солодкова для того, чтобы дать сокрушительный отпор покушениям на сакральный тезис о "примате материального производства". Мы надеялись на цифры, факты, логику и концепцию. Солодков был уверен в поддержке послушных провинциальных масс преподавателей политэкономии и самих работников сферы услуг, которые определяли лицо аудитории.

<sup>57</sup> В те времена двадцатипятиэтажное здание Института на Профсоюзной было монополюльно нашим, без коммерческих арендаторов, и мы с Зубчаниновым имели отдельную комнату. Тогда у меня на стене и на двери многое висело. Был крючок, на который я накалывал передаваемые из бухгалтерии извещения ГАИ о взыскании с меня штрафов за превышение скорости. Висела схема, показывающая, почему эффективно американское высшее образование, и даже подробный, на ватманском листе проект экономической реформы в СССР, основной идеей которого было дать *хозяина* каждому экономическому звену, начиная от Уралмаша до газетного киоска. Эта схема глубоко нервировала нашего уважаемого Бориса Натановича Добровинского, и как дисциплинированного партийца, и по личным убеждениям. Он намекал, просил снять. Я делал вид, что не замечаю, но однажды вернувшись из отпуска, увидел, что она исчезла бесследно.

<sup>58</sup> Впоследствии трактовка этого эпизода оказалась, как многое в жизни, не однозначной. Провидец Гоголь и это предусмотрел. В ответ на упрёки современников в языковых погрешностях он чистосердечно признал, что "если бы не торопился печатанием рукописи и подержал её у себя с год, то увидел бы и сам, что в таком неопрятном виде ей никак нельзя было являться в свет". "О, как нам нужны беспрестанные щелчки", – восклицает по поводу жёсткой, но справедливой критики гениальный писатель.

Но случилось неожиданное – здравый смысл отшлифованного доклада Громова (а он, что немаловажно, стоял первым, то есть, по обычаю того времени, на месте как бы "установочного") был радостно, без сомнений и колебаний поддержан массами. И покатилося разумное, доброжелательное и конструктивное обсуждение. Когда все участники конференции ехали назад в одном поезде, потрясенный и разобуженный пьяный Солодков ходил по вагонам, горько упрекая своих неустойчивых коллег за антимарксизм.

Для следующей работы стержнем стал показ мощной тенденции выдвижения *нематериального накопления* в центр воспроизводственного процесса, прикрытый по указанию дирекции в целях идеологической страховки осторожно-обезличенным названием "Особенности накопления капитала в развитых капиталистических странах". Для этой книги я написал главу, в которой было меньше конкретики, чем у других авторов, так как к этому времени я уже прошел много этапов исследования этой проблемы, расчёты, факты, рекомендации опубликовал или пристроил в виде аналитических записок, много лет варился в практическом котле, уже в США побывал капитально. Поэтому тяготел к обобщениям, затронул не только образовательную сферу, но другие области, инвестиций в человека и высказал кое-что по методологии, например, соображение об "экономическом старении" человеческого капитала, как *приращении* производственной и иной ценности работников в результате накопления опыта, то есть как об "износе наоборот", или "с обратным знаком". В результате Громов эту мою главу сократил, а затем и снял без объяснений по существу, как написанную не на уровне. Он всё же не выбросил её совсем, а подверстал в качестве "Приложения" к монографии, за основным текстом, и в таком уничижительном виде отправил в издательство.

О том, что произошло дальше, мне рассказал легендарный сотрудник "Науки" А.Усвяцов, который пользовался редким уважением Громова и был бессменным редактором наших книг. Прочитав этот текст, он обратился к Громову – Евгений Аркадьевич, побойтесь Бога, какое же это приложение! В результате я получил важный для меня по его содержанию параграф в громовской главе этой книги. Она вышла уже после смерти Громова, и бывший тогда заместителем директора В.Мартынов включил меня (для равновесия вместе с Кудровым, который не участвовал в книге) в число титульных редакторов этой монографии.

Эпизоду с книгой сопутствовала история с должностным продвижением. Она возникла из-за того, что к началу семидесятых я, выражаясь языком истмата "*помимо своей воли и сознания*", стал одним из объектов напряжённости между Громовым и Иноземцевым. В результате того, что я часто выполнял иноземцевские поручения, как бы "поднося патроны" для обслуживания его рабочих связей на самых высоких уровнях государственных ведомств и руководства Академии, я выпадал из сферы постоянной связи и контроля у Громова, что, возможно, невольно отражалось на моём поведении. Громова это вероятно и понятно задевало. Для меня (здесь обоюдостро, а не целиком позитивно подходит формула о том, *кто служит делу, а не лицу*) этот аспект отношений на работе попросту не существовал (ещё одна форма проявления того же самого "индивидуализма", который мгновенно просекали в своё время и мои дорогие однокашники в общежитии, и Будагов, и многие другие).

Так или иначе создалась ситуация неопределённости по поводу руководства мною. Громов и без этого, как сейчас говорят, "достал" Иноземцева, поднадоел ему своим не всегда политкорректным реформизмом, требуя ускорить прохождение своих народнохозяйственных рецептов, для чего на уровне директора был необходим очевидный ему долгий и ухищрённый зондаж, выжидание, выбор момента и т.п. Поэтому Николай Николаевич, по-видимому, не горел желанием согласовывать каждый раз моё использование с заведующим отделом. Как раз в этот момент (1973

год) Институт стал полем для эксперимента по переходу на пятиступенчатую схему должностей. Это мероприятие было своеобразным подкопом Президиума Академии под нерасчленённый клан старших научных сотрудников путём создания двух дополнительных вышестоящих служебных ступеней – ведущего и главного как тогда называлось "исследователей"<sup>59</sup>. Сильный коллектив старших научных сотрудников был своего рода гвардией, станovým хребтом научного потенциала ИМЭМО, и эти избранные сознавали свое место. Недаром классический "с.н.с." Анатолий Иосифович Шапиро говаривал, что эта должность в Академии – самая лучшая в СССР.

Наиболее ценным в этом статусе была схема обеспечения технической работы путём прикрепления к старшим младших научных сотрудников, которых многие использовали как своего рода рабов. (К сожалению, эта модель организации уже тогда была на излёте. Я, как и многие "новые старшие", уже не успел воспользоваться её прелестями, которые сохранились только для "заведующих"). Однако попасть в великолепное сообщество старших было крайне трудно, поскольку было множество препятствий, в том числе прямые количественные ограничения, а также требовалось наличие опубликованной монографии, издать которую в то время для молодого автора было очень трудно.

В схеме должностной перестройки Иноземцев зачислил меня сразу в *Главные научные сотрудники*. Тогда статус "главных" прямо предусматривал докторскую степень, руководство группой и прямое подчинение дирекции. Номинированных на эту должность набралось в институте вместе со мной всего три или четыре человека. Громов этому моему взлёту решительно воспротивился. Свою позицию он от меня не скрывал (собственно говоря, я и узнал об этом от него), и объяснял тем, что слишком многие люди в институте будут мне завидовать и что от этого служебный скачок принесёт именно мне больше вреда, чем пользы. В результате этих подспудных действий я получил должность пониже – *ведущего исследователя*. Она тоже была в тот момент несравненно почётнее, чем в наше время, поскольку во всём мощном тогда институте их было назначено меньше десяти человек. Все эти коллизии



происходили без моего участия, никто у меня ничего не спрашивал, сам я тоже по своему обыкновению не вмешивался. Сейчас с высоты времени я должен признать, что доводы и пророчества Громова, каковы бы ни были их тактические причины, оказались вполне реальными, хотя в текущей суеде и по наивности я многих важных сигналов не замечал или не придавал им должного значения.

***Николай Николаевич Иноземцев и "образовательная эпопея"***. Помимо прочего, Иноземцев – редкий человек, который умел и нестандартно взглянуть на своём официальном парадном портрете, и полностью ему соответствовать. По моему суждению доминирующей чертой этого деятеля был *государственный масштаб*, постановка им прорывных, как теперь говорят, инновационных, а поэтому для многих влиятельных людей во властной системе неудобных и даже неприемлемо-

<sup>59</sup> Это необычное наименование должности имело побочное, отчасти юмористическое следствие. При предъявлении солидного красного с золотом институтского удостоверения различные администраторы, милиционеры и т.п. как правило, пропускали "ис" и автоматически читали "следователь" (Старший, Ведущий, Главный). Этот "misunderstanding" сразу переводил скромного обладателя академической "корочки" в привилегированную силовую категорию.

враждебных проблем. В этом он продолжил и радикально усилил главную фирменную характеристику и традицию ИМЭМО. Может быть, она идёт от эмбрионального состояния ранних, довоенных времён, от странного чужеземца Варги и уцелевших осколков старинных кадров, продолжилась и выжила благодаря связям первого директора Арзуманяна с Микояном. Ни в ком из вереницы директоров эта черта не проявилась с такой универсальной полнотой и результативностью, как в Иноземцеве. Он был в постоянном поиске возможностей ощутимо, заметно усовершенствовать незыблемые устои нашей уникальной административно - социалистической системы.

Для этого были нужны не только стопроцентно убедительные, но и очень аккуратно сформулированные проекты реальных рекомендаций для советской экономики и политики. В качестве таковых он поддерживал и с кропотливо-осторожным упрямством продвигал на самый верх всю упомянутую выше батарею рекомендаций Громова, включая отрезвляющие поправки к официальной статистике экономического роста за послереволюционные десятилетия, международные сопоставления лаборатории Кудрова, предложения о создании производственных объединений, о значении неотложного ускорения роста сферы услуг, о необходимости долгосрочного прогнозирования экономического и научно-технического развития, менее знакомые мне выводы из анализа политических, внешнеэкономических и военных проблем Примакова и Максимовой и многое другое.

Мне невероятно повезло в том, что моя диссертация, книга по эффективности образования и написанные в рабочем порядке аналитические материалы на эти сюжеты попали в поле зрения Иноземцева. И по здравому смыслу существа вопроса, и как человек, прекрасно разбирающийся в стратегии и технике воздействия на *Инстанцию* (парафраз ЦК КПСС) и на самого Брежнева, он понял *нетривиальные* возможности постановки вопроса о развитии образования по двум направлениям – на высшем партийно-государственном уровне и в Президиуме Академии Наук.

По его распоряжению я принес, как полагалось короткую, порядка десяти страниц, "записку", в которой в наивно-острой форме, то есть без всяких реверансов представил отставание СССР от США в развитии нашей системы образования, в первую очередь, по уровню национальных усилий в этой сфере. В один прекрасный день вскоре после этого Николай Николаевич вызвал меня в директорский кабинет и стоя, в тоне, которым объявляют о представлении к высокой награде, сообщил, что *он только что и в течение 12 минут* докладывал Генеральному секретарю КПСС *Леониду Ильичу Брежневу* материалы этой самой записки. Я засмутился и ответил что-то вроде *рад стараться*, после чего разговор закончился, но его последствия были впереди.

В результате этой эскапады Иноземцев в обход вельможных руководителей всех многочисленных образовательных министерств, Академии педнаук и профильных отделов Госплана был назначен Председателем Комиссии по разделу "Образование и подготовка кадров" в развёрнутой на много лет многотомной государственной "Комплексной программе научно-технического прогресса и его социально-экономических последствий". Иноземцев сумел сделать проблему образования, до этого полностью благополучную и периферийную, одним из чувствительных по прямым связям с руководством страны и Президиумом Академии направлений в работе Института.

Беда была только в том, что никто кроме меня в Институте этой проблемой не занимался и никто не горел желанием бросать свои любимые изыскания для весьма сомнительного предприятия. Даже сейчас, когда каждая отечественная "ворона" на любом дереве "чирикает" что-то о том, что образование – это первый приоритет социально-экономического развития XXI века, не было и нет до сих пор в институте не

только сектора, но и вообще никого, кроме Кольчугиной (ныне обиженной и уволенной) и неуловимого Капелюшников (оба – мои аспиранты). Да что уж говорить про образование, на всей сфере услуг одна Демидова осталась.

Итак, Иноземцев увидел в развитии сферы образования крупную государственную проблему. Конечно, крупных было много, не даром он вместе с Арбатовым и другими избранными интеллектуалами писал доклады на партийные съезды и пленумы ЦК. Но в образовательной ситуации многое было уникально и парадоксальным образом удобно. Своего рода *рукавицы за поясом*, надо было только гласно заявить, что их следует искать. (Согласно сформулированным выше правилам развития социальных инноваций, появились возможности перейти от статуса чудаковатой идеи на вторую стадию – *в этом что-то есть*).

Во-первых, здесь достигался эффект неожиданности из-за того, что тема близка всем, и в то же время никому не приходило в голову, что в ней может быть какой-то значимый экономический аспект. Второе, появились новые обстоятельства, на которые мало кто обратил конструктивное, не пропагандистское внимание: американцы стали лихорадочно искать причины рывка со Спутником, и это вылилось в открытие, что американская система образования по ряду параметров уступает советской. Обсуждение приобрело мировой масштаб. И в этот момент можно было бы ко всеобщему удовлетворению поставить точку, перевести дело в русло идеологической победы, просто тиражируя американские материалы как доказательство того очевидного факта, что в СССР образование, так же как и всё остальное, самое передовое и лучшее. Какие здесь могут быть крупные народнохозяйственные проблемы!

Это официально знали все и не беспокоились. Конечно, были еще, по крайней мере, два "железных" обстоятельства, которые заведомо делали нашу эскападу обречённой на поражение. Первое – это именно "железный занавес", практически исключавший возможность и снимавший народнохозяйственную значимость утечки умов из страны. Второе – политическая безнадежность постановки вопроса о переделе национального пирога в пользу социально безопасных детей, студентов, идеологически задавленной и неорганизованной интеллигенции. Было бы легче, если бы это касалось шахтёров, металлургов или работников ВПК! Можно назвать и третье обстоятельство, тоже немаловажное, но уже субъективное и более подконтрольное Иноземцеву – это отвратительный сервизм, можно сказать запуганную аморфность массы руководителей образовательных министерств и ведомств, Госплана и крупных вузов.

Где-то уже во второй половине 70х годов мне довелось выступить в Казани на совещании проректоров университетов РСФСР. Как всегда я, не мудрствуя лукаво, опираясь на свой богатый, конкретный опыт пребывания в США и обобщая его, подробно и системно рассказал о том, что представляют собой американские университеты. Пространный доклад был выслушан в гробовой тишине, не был задан ни один вопрос, из многочисленного президиума остался один какой-то по-видимому малоответственный молодой парень, после окончания ко мне не подошел ни один человек. На следующий день я отбыл в Москву, как из вакуума. А в Москве всё было так, как будто бы ни в какую Казань я не ездил, а это мне просто приснилось.

В 70-х годах, когда создавалась Комплексная программа, очень многим было трудно представить себе, что одна из самых традиционных отраслей, которая сохранила многие свои структурные и организационные схемы на уровне еще первой половины столетия, оказалась в центре проблем национального выживания в современной высококонкурентной мировой экономике. Тем более трудно было повлиять на догматический менталитет государственного и партийного руководства страны, озабоченного проблемами "опережающего роста тяжелой промышленности" и не



ощущавшими никакой социальной опасности от ущемления интересов детских и молодежных когорт населения и неорганизованной интеллигенции.

Тем не менее, материалы Комплексной программы и многочисленных аналитических записок в тогдашние директивные органы, хотя и не достигали своих целей, все же подтачивали камень, способствовали пониманию необходимости перевода сферы образования из народнохозяйственной периферии в ранг важнейших инвестиционных отраслей экономики.

В работе Комиссии (также как и в аналитических материалах для руководства страны) были представлены экономические сопоставления развития отечественного образования с зарубежными странами. Основной стержень выводов и рекомендаций заключался в демонстрации негативного воздействия на стратегические перспективы страны недопустимого отставания заработной платы педагогических кадров школ от среднего уровня оплаты труда, а также скудости материального обеспечения образовательных учреждений, даже выраженного не в абсолютных, а в относительных величинах – по доле образовательных расходов в национальном доходе. В рекомендациях выдвигалось требование о необходимости расширения государственного финансирования и разрешения использования других источников и моделей привлечения средств. В плане этой задачи использовалась и теоретическая аргументация,

В частности, были сформулированы своего рода "воспроизводственные константы" – параметры образовательной сферы и ее внутренних пропорций, необходимые для нормального развития страны. Если затраты на образование составляют 6-7% ВВП (естественно, для страны, не находящейся в кризисной ситуации), то она сможет тратить на вузы 30-40 % образовательного бюджета. Оплата школьного учителя будет на 25-30% больше среднего заработка в стране, профессора – в 2 раза больше, чем учителя или начинающего преподавателя вуза. Одновременно может быть создана нормальная материальная инфраструктура образовательных институтов. Для этого были сформулированы (с привлечением профильных проектных институтов) современные критерии строительства и оснащения учебных заведений<sup>60</sup>.

Из исследований и рекомендаций ИМЭМО доперестроечного периода следовало, что отставание страны по уровню инвестиций в человека чревато тенденцией утечки умов за границу, которая минимизировалась только отсутствием правовых возможностей массовой эмиграции специалистов. Тогда наличие железного занавеса как бы компенсировало огромное отставание по абсолютному уровню затрат на оплату труда и материальное обеспечение образования и науки, которое полностью проявило свою разрушительную силу в наши дни.

Сейчас, несколько огрубляя, но абсолютно оправданно по-существу, можно констатировать, что научно-технические успехи Советского Союза со второй половины двадцатого века и в каком-то смысле – до наших дней, обязаны именно железному занавесу, закупорившему выход населения во внешний мир. Этот "занавес" обеспечивал реализацию творческого потенциала высококвалифицированных кадров внутри страны. В дополнение он символизировал наличие смертельного внешнего врага. Это, в свою очередь, оправдывало гипертрофированное развитие военно-промышленного комплекса, который формировал острую и престижную потребность в способных и квалифицированных работниках. В результате создавалась уникальная возможность удерживать силовые позиции в "соревновании двух систем" не на основе равенства *абсолютных* величин располагаемых ресурсов, а просто подерживая высокий уровень усилий *в относительном измерении*, превосходя против-

<sup>60</sup> Продолжение этих исследований отражено в сборнике "Тенденции развития и роль сферы образования: экономический и социальный аспекты", ИМЭМО РАН, Москва 1994", а затем в "зелёной книге" – "Образование в системе Россия – Запад, проблемы эффективности" ИМЭМО, 2009.

ника в процентах по отношению к величине национального дохода. К тому же изоляция страны и мобилизационный режим жизни служили оправданием низкого жизненного уровня людских масс.

Несмотря на коренное изменение значимости человеческого потенциала и условий его воспроизводства, в постперестроечной России основной тезис теории – об инвестиционном характере образования и подготовки кадров – был властью проигнорирован. Большинство людей мало думает о том, что это равносильно ущемлению стратегических интересов развития страны. К сожалению, в настоящее время и центральное руководство образованием не смеет противостоять ущемлению поддержки образования и науки, а зачастую фактически попустительствует этому процессу. Расходы на науку, исследования и разработки, по доле которых в национальном доходе СССР устойчиво превосходил США, сократились ещё более резко.

Помимо этого главного направления выводов, в ИМЭМО рассматривались, конечно, конкретные особенности зарубежного опыта. Была обоснована необходимость перехода на многоканальные источники финансирования; де бюракратизация управления; создание действенной системы выявления направленности и развития способностей учащихся; профильная дифференциация общеобразовательной подготовки в средней школе; развитие профессиональной ориентации; ликвидация ряда структурных перекосов и тупиков в профильной структуре среднего и "послесреднего" образования. Относительно перехода к ступенчатому высшему образованию упорно подчёркивалось не осуществлённое до сих пор выделение первой, двух-трёхлетней ступени, необходимой для преодоления неполноценного статуса незаконченного высшего образования и другие выдерживающие проверку здравого смысла меры. Однако эта конкретика не педалировалась с учётом имевшегося у меня тогда (но изрядно потрёпанного жизнью сейчас) представления, что все эти перемены могут быть легко решены внутри самого образования, если будут созданы кардинальные условия саморазвития системы.

К сожалению, эти надежды не оправдались. Отечественная практика двух последних десятилетий пошла по пути наименьшего сопротивления: "телега" – поспешное стихийное копирование разномастных характеристик зарубежных учебных заведений, была поставлена впереди "лошади" – опережающих темпов инвестиций в развитие как образовательной, так и всей социальной сферы<sup>61</sup>. Место наращивания и структурного совершенствования вложений в человеческий потенциал заняла эйфория облегченной аккредитации частных учебных заведений, спекулятивная пролиферация многочисленных "академий" и "университетов". Законсервировалась ситуация потери современной стратегической ориентации дошкольного и школьного образования. В тех "лицах" и вузах, куда удаётся перекачать средства, часто достигаются приемлемые результаты. Но в целом по стране происходит естественный упадок качества образования, деградирует социальная и культурная среда, следовательно, разрушается инвестиционный климат, нужный стране больше, чем деньги. Именно массовые, ключевые для будущего многих регионов страны образовательные учреждения – детские сады, школы, профессиональные училища становятся первоочередной беззащитной жертвой неуклюжих попыток компенсировать структурные дисбалансы и неэффективность бюджета за счёт наиболее уязвимых слоёв российского населения.

А вот как это выглядело конкретно в далёкие советские времена. Действуя в электрическом поле иноземцевского понимания равномасштабности его фигуры с государственными руководителями любого уровня и учитывая его последовавшее

<sup>61</sup> Разумеется, аналогичное дополняюще-равное ключевое значение имеют также потребности здоровой, интенсивно развивающейся экономики.

молчаливое согласие-одобрение (хотя прямого указания не было), я своей рукой ввёл в состав членов комиссии по образованию весь синклит из двух союзных образовательных министров, председателя госкомитета по профессионально-техническому образованию, начальника профильного отдела Госплана, некоторых их заместителей и уж как совсем мелочь на их фоне, президента Академии педагогических наук.

Я могу сейчас ошибиться, но кажется, что такого уровня не было ни в одной из двух десятков профильных Комиссий Комплексной программы. Если бы я при формировании состава поступил бы как все, и работать, и в особенности, продвигать еретические идеи было бы несравненно легче, но и вспоминать было бы не о чём. Как говорится, *не имела баба хлопот, так купила порося*. Для укрепления присутствия ИМЭМО в составе Комиссии в неё был введён в качестве *первого* заместителя Иноземцева *академик* Абрам Герасимович Милейковский, который тогда руководил отделом критики (нестандартной по своей конструктивности) буржуазных экономических теорий, подразделением крупным, насыщенным молодыми (в те времена) интеллектуалами. Ему было очень легко проникнуться идеологией важности образовательной сферы и необходимости её опережающего развития в стране. Поскольку он был человеком не чопорным, лёгким, то отношения у нас сразу установились доверительные, а последовавшая мини-Голгофа превратила их в неформальные.

Вскоре небольшой аналитический материал в духе того, что Н.Н. докладывал Брежневу был разослан членам комиссии – министрам, большим чиновникам, академикам. Его обсуждение было назначено в совещательном зале, примыкающем к кабинету Елютина, министра высшего образования СССР. От присутствия на этом заседании Николай Николаевич уклонился под каким-то благовидным предлогом. Возможно, он просчитал что столкновение неизбежно, а неприятельские массы, вдохновляя друг друга, в данной обстановке могли создать затаптывающий перевес. Словом, результат, как перед Бородинским сражением, был туманен, и понятным манёвром было пустить вперёд лёгкий авангард, сохранив главную ударную силу. И бой грянул даже сильнее, чем по этой диспозиции.

Началось с того, что в момент, когда Елютин вальяжно направился к своему председательскому креслу, чтобы начать дискуссию, мой бес меня дернул (учёный секретарь – хранитель процедуры!) предложить, что руководить ею должен *первый* заместитель председателя – Милейковский. Это, конечно, был взрыв гранаты. Все присутствующие от неожиданности выпучили глаза. Цветков, заведующий отделом Образования и Культуры союзного Госплана, нечленораздельно от возмущения, тыкая перстом то в меня, то в Елютина, только выдыхал – Как! Член! Центрального Комитета! Министр! Депутат! Верховного Совета! Когда порядок был восстановлен, последовал ряд единообразно эмоциональных выступлений, в которых по существу вопроса не было ничего, только презрение и демонстративная враждебность к авторам документа.

Объяснимым, но по нормальным меркам противоестественным было поведение всей этой чиновничьей ватаги руководителей, "опекунов и защитников" образовательной сферы, которые, казалось бы, должны были даже из чисто столоначальнических соображений ухватиться за аргументы в пользу развития подведомственной им сферы. Были бы понятны любые возражения по делу, основанные на народнохозяйственных расчётах, но ничем подобным нельзя объяснить эмоциональный выплеск вражды, соревнование ярлыков, обличающих жалких псевдоучёных, "ползающих на брюхе перед американским империализмом". В конкретной ситуации они не видели ничего, кроме потрясения основ. Их личное благополучие базировалось именно на славословии и в адрес высшей власти, которая не жалеет средств, всё от-

даёт благу народа, и в адрес "лучшей в мире системы образования" – то есть одновременно и в свой адрес.

Однако в ходе обсуждения, совершенно невероятно в этом крещендо клеймящих характеристик вдруг прорезался неожиданный и незабываемый диссонанс. Постепенно погромная очередь дошла до Михаила Яковлевича Сонины, профессора из Института экономики. Он тихо и скромно сидел в конце стола и как будто не слышал, что происходило вокруг. Как пришелец из другого мира он начал конкретно разбирать мой текст, дескать, вот тут надо добавить, в этом месте уточнить и т.п., то есть как на обычном тривиальном обсуждении на каком-нибудь нормальном учёном совете. Его выслушали в удивлённой тишине, но к тому времени дело было сделано, все главные орудия уже выстрелили.

Оплёванные и побитые, мы с Милейковским побрели в институт. Захожу в этом виде к Иноземцеву, докладываю. Он молчит, думает, затем, как бы возвращаясь к более важным проблемам, отпускает – *работайте, посмотрим*. На следующее заседание, назначенное в том же месте и в том же составе, является сам, спокойно, величественно председательствует. Выступления идут в обычном тоне восхваления лучшей в мире советской образовательной системы и с уверенностью в полной ясности возможностей её дальнейшего развития и совершенствования. Иноземцев со всем соглашается, никакой полемики, сам его вид, стать, стиль, как будто бы осенённый близостью к высшим инстанциям, порождает в аудитории прямо-таки осязаемую электрическую ауру разрядки, облегчения, даже какой то любви и умиления в глазах высокочинных мастеров идеологической борьбы. То есть, по моему впечатлению, Иноземцев *сдаёт всё*.

Ещё более потрясенный, чем в первый раз, являюсь в его кабинет – Николай Николаевич, что же теперь нам делать? Он смотрит на меня отстранённо, как бы даже мимо и произносит скучным тоном единственную фразу, словно давая понять, что аудиенция закончена: *продолжайте в том же духе...* Назойливым я не был, повернулся и, не задерживаясь, вышел. Впоследствии я спрашивал себя, почему не использовал эту и другие возможности углубить свои личные отношения с Иноземцевым. Естественно было бы расспросить его, детализировать его позицию, выяснить тактику, узнать те или иные подробности прохождения документа и т.п.

Дело было в том, я уже прекрасно это понимал, что в своих рекомендациях и формулировках выводов мы зашли на грань возможного, за которой может последовать трудно поправимый даже для Иноземцева срыв, о чём говорить было бы, по моим понятиям, совершенно немыслимо или бестактно. К тому же у меня к тому времени сформировалось готовое представление о необходимых мерах по шлифовке текста и об упрочении аргументации центральных положений, в частности, за счёт "скучных" абсолютно деидеологизированных инженерно-экономических расчетов Центрального института по проектированию учебных зданий, с руководством которого я удачно наладил взаимовыгодный контакт. Я чувствовал, что вряд ли Иноземцев владеет столь же сильным конкретным материалом, а если да, то не обязательно обсуждать это именно сейчас. Поэтому мне было выгодно кратко, без всяких разъяснений получить его рамочное указание. Я как бы стремился избежать того, чтобы дальнейшим обсуждением и разными детализациями разводнить или ослабить эту лапидарно-категорическую и столь любезную мне формулу дальнейших действий.

Основополагающее иноземцевское указание я выполнил, и в следующем окончательном варианте Комплексной программы лишь убрал (*точно так же как и сейчас при редактировании текста этого Мемуара*) некоторые "хулиганские" формулировки, полностью сохранив основную направленность работы. Итогом стала серенькая книжечка "для служебного пользования" (17 или 18 том Комплексной программы). Иноземцев этот опус молчаливо и буднично скрепил своей собствен-

ручной подписью, и с нею он был направлен по кругу для вынесения резолюции всем членам Комиссии. Елютин отказался подписать принципиально, остальные направили пространные "особые мнения" и поправки, тщательно оговорив это рядом со своими закорючками.

Эта безусловно сознательная и обдуманная, тактически выверенная "раздвоенность" поведения была моим вариантом того "зонта безопасности" Иноземцева, под охраной которого находились его сотрудники. Об этой защите упоминают многие, а чувствовали все работавшие с ним в институте. Другой формой проявления этого феномена было полное доверие ко мне как к человеку, которого взяли и уполномочили вести организационные дела на высоком административном уровне. Иноземцев постоянно поддерживал мою значимость как представителя марки или, как сейчас говорят, бренда Института и каждого его специалиста.

По его распоряжению, для разных организационных дел, таких как оповещение "моих" министров о необходимости представить материал, прибыть на заседание Комиссии или подписать что-либо, я использовал не обычный городской телефон через секретарей, а личную иноземцевскую "вертушку" – недоступный для простых смертных аппарат спецсвязи с гербом СССР на диске. Его трубку брали сами министры, а номера их телефонов я отыскивал в небольшом изящно изданном справочнике, в котором среди прочих членов Политбюро фигурировал личный персональный номер Брежнева. Вся эта техническая работа делалась в отсутствие Иноземцева в его пустом кабинете. Должен сказать, что я понимал и ценил это как бы небрежное проявление его доверия.

При всём этом все мои отношения с Николаем Николаевичем носили исключительно служебный характер, как говорится, *ничего личного, только бизнес*, не было ни одного *разговора* на какую-либо не то чтобы легкую, но и вообще на постороннюю тему. По-видимому, это было и в его характере, а скорее потому, что он понимал, каким небожителем высших сфер он выглядит в моих неискущённых глазах. Возможно, он видел, и ему было достаточно того, что я был всепоглощающе, не за страх и выгоду, а за совесть, идейно заиклен на проекте, и не помышлял ни о чём кроме стремления к вершинам научных принципов и делового перфекционизма.

Этот настрой он не только поощрял и одобрял в целом, но и помогал конкретно. Один раз он дал мне для совершенствования стиля в качестве образца несколько "пассажей" с масштабными государственными постановками, причём, без всякого самолюбования (это я отметил), не своих собственных, а принадлежавших Г.Арбатову, которого он, по-видимому, высоко ставил как стилиста-спичрайтера. По замечанию Н.Н. я снизил категоричность наших рекомендаций (отказавшись от "требуется", "необходимо", "следует"), выработал и повесил на гвоздь над своим столом список шадящих оборотов вроде "целесообразно", "предлагается", "было бы полезно", или даже "заботясь о будущем страны, мы предлагаем"...

Повторяю, что в моём понимании, высшим мотивом и целью деятельности Иноземцева было стремление внести свой собственный конкретный импульс в прогрессивное развитие страны, а Институт он рассматривал как уникально подходящий ему инструмент для этой цели. В тогдашних условиях для выполнения этой взятой на себя миссии, помимо отчаянного, но сдержанно-уравновешенного характера, академических способностей, военной биографии, индивидуального шарма, требовалось также величайшее искусство мимикрии, трудное умение выполнять общепринятые ритуальные действия на минном поле официального распорядка советской властной системы. Огромная тяжесть. Наверное, для психологической разрядки он не мог сдерживать презрение в отношении тех, кто в этом театре был заведомо слабее, вроде прикрепленного к институту "куратора", инструктора ЦК, к которому он

демонстративно сидел полуповернувшись спиной в президиуме наших партсобраний.

Для продвижения своего дела Иноземцев использовал меня также и в виде примера того, как продвигать предложения института в народнохозяйственную практику, при этом на самых высоких уровнях руководства страной. В те времена на партбюро института или на общих собраниях мне приходилось слышать, как он для пользы дела представляет мои скромные заслуги в качестве образца для подражания всему могучему тогда легиону заслуженных основоположников и столпов Института. Только гораздо позже, через много лет, я вырос до понимания того, что упомянутая выше аргументация Громова против моего выдвижения в главные исследователи была реальной, а не такой неправдоподобно эфемерной, какой мне казалась тогда.

Иноземцев очень тщательно подходил к вознаграждению своих сотрудников за их заслуги. Помимо постоянных премий обычной практикой было должностное продвижение людей, в частности, выдвижение в руководители подразделений. В этом деле он редко ошибался. Была промашка с Василевским, который хорошо проявил себя в хитросплетениях отношений в партбюро и на районном партуровне, но по интеллигентной доброте и мягкости характера не потянул руководство сектором. В отношении меня он пошёл по другому пути, не случайно, а потому что он так же, как Будагов в ростовские времена, Громов и другие проницательные люди по видимому чувствовал, что я не укладываюсь в системный формат требований к административному руководителю, которые господствовали и в то, и в наше время.

Другими словами, он определил наличие у меня дефекта специфического "*начальственного вещества*" – своеобразного набора качеств, который делает личность руководителя полезной для него самого и отвечающей потребностям дирекции Института. Обдумывая сложный концепт начальственного вещества, я могу выделить некоторые внешние признаки его наличия в том или ином человеке. Например, если при его назначении сразу же активизируются или перенаправляются дремлющие в коллективе элементы подхалимажа, а он (или она) спокойно их приемлет; если он способен долго говорить пустопорожние вещи перед понимающей это аудиторией, но все тоскливо сидят, слушают и томятся от неспособности его закруглить; или если кто владеет искусством не допускать взрыва при исполнении нелепых, но спущенных сверху формальностей. Главное всё же – синхронное с дирекцией понимание рисков, отсюда управляемость, гарантия от тех или иных инициативных взрывков и умение удерживать от них своих подчинённых.

По вопросу о роли особых личных качеств руководителя интересны соображения коллеги, тонкого человековеда Эдуарда Василевского. Ход его мыслей был таков: представим себе, Виктор, что кого-нибудь из нас с тобой вдруг назначат редактором нашего институтского журнала "Мировая экономика и международные отношения". До выхода следующих пары-тройки номеров, которые уже сданы в печать, всё будет спокойно, а со следующего обязательно назреет скандал из-за каких-нибудь странных, дестабилизирующих изменений в содержании или подборе статей.

Не исключено, что именно с учётом подобных обстоятельств Иноземцев всё-таки нашёл для меня специфическую, поистине *исключительную меру поощрения* в виде направления в безразмерно-свободную, годичную командировку в США (а это, автоматически превратилось в семейное мероприятие, поскольку по тогдашним правилам, было невозможно выехать на такой срок без жены).

В последний раз я видел Николая Николаевича в конце 1975 года. Мы с Галой столкнулись с ним в тёмном тесном коридоре нижних этажей советской миссии при ООН в Нью-Йорке. Впервые я отметил в нём непосредственное проявление доброжелательности и даже радости от этой случайной встречи. Разговор зашёл об организации посещений университетов, всплыли какие-то затруднения, и я предложил

созвониться со знакомыми мне проректорами в Пенсильвании и Огайо. Он согласился, и приглашения оттуда были получены на следующий же день. Мне показалось немного удивительным, что для такого простого, по моему тогдашнему опыту, мероприятия было принято мое участие при наличии множества здешних дипломатических чиновников.

Вскоре после нашего возвращения из США у меня возникла коллизия с КГБ, я попал в число "невъездных" (по причинам, о которых будет рассказано ниже). Контакты с Иноземцевым прекратились, дошёл невнятный слух о том, что в связи со мной у него были какие-то неприятности, но на служебных аспектах моего положения в Институте это не отразилось.

*Заграница.* Очень рано, в середине шестидесятых годов, сразу после защиты диссертации мне вдруг сообщили, что меня решено представить на должность ведущего специалиста (Р-4) в статистическом отделе Парижской штаб-квартиры ЮНЕСКО. Узнал об этом я в отделе аспирантуры, поскольку никто другой в Институте со мной по этому поводу не общался. Правда, особый вес нашей аспирантуры определялся тогда тем, что её заведующим был Гурий Иванович Юркин, не только приятный, доброжелательный человек, но к тому же фронтовой товарищ и друг Леонида Ильича Брежнева по политотделу на Малой Земле.

В советском представительстве ЮНЕСКО на Калининском проспекте мне небрежно выдали англоязычную подробнейшую анкету цвета морской волны на хрустящей бумаге под диковинным тогда названием Curriculum Vitae и даже немного помогли заполнить, в частности, проставили в соответствующей графе совершенно дикую, заведомо фальшивую цифру получаемой зарплаты. Всё это делалось быстро и как-то крайне легковесно. Например, со мной никто не беседовал по профессиональным вопросам, никто не инструктировал по "правилам поведения" и об опасностях для советского человека, которыми напичкано зарубежье, что тогда было обязательно для новичков. *КГБ как бы не существовал для меня вовсе* не только на служебном, но даже на житейском уровне из-за отсутствия в моем окружении людей, хоть чуть знакомых с этой сферой жизни. Тем не менее, в таком абсолютно первозданном виде я вскоре сел в самолёт, переделанный из дальнего бомбардировщика огромный четырёхмоторный турбовинтовой ТУ-114 и приземлился в Париже.

В офисе ЮНЕСКО я не произвёл сколько-нибудь сильного впечатления. Более того, мне с прозрачным намеком продемонстрировали своего внутреннего претендента, смущающегося толстого субъекта, гораздо больше меня похожего на статистическую крысу, горбом заработавшую назначение на эту весьма высокую профессиональную должность. По правде говоря, я совсем не был готов и к такой карьере, и к такой небрежной постановке операции по оформлению. Весь мой зарубежный опыт сводился к менее чем двухнедельной групповой профсоюзной туристической поездке в ГДР в 1960 году. К статистике я никогда не имел никакого служебного отношения, о карьере чиновника никогда не думал. Разговорный и письменный английский, который и сейчас весьма своеобразен (я просто много трудных слов и правил знаю, могу вникать в смысл, но не очень справляюсь с простыми оборотами), тогда был, несмотря на мои разнообразные, поистине титанические усилия по его совершенствованию, тоже весьма слаб, лучше сказать, кустарен. Само собой, за мной не было никакого родства, связей, покровительства, рекомендаций и т.п.

Таким образом, даже с точки зрения советской стороны по тогдашним весьма накатанным и высококонкурентным обычаям назначения на столь хлебные должности, я был странной кандидатурой, возможно, заранее обречённой и скорее всего даже пешкой в каких-то внутренних играх. Это подтверждается тем, что по приезде домой меня, вопреки моему оказавшемуся точным внутреннему впечатлению, заверили, что всё прошло отлично, что отъезд в Париж – дело решённое и состоится со

дня на день. После этого чиновники потеряли ко мне всякий интерес, и дело немедленно забылось всеми и навсегда.

Впоследствии мне не раз приходило в голову, что этот случайный эпизод даёт ответ на загадку о том, почему я никогда не получал никаких инструкций и не проходил собеседований и ознакомлений с правилами поведения сограждан за границей. Может быть, ответственные за это лица считали, что я уже получил полный курс соответствующей выучки перед поездкой в Париж.

Только через несколько лет, ближе к семидесятым, я постепенно начал выезжать за границу (везло на Лондон): по так называемому научному туризму, на конференции, на встречу с миролюбивыми американскими френдами-баптистами и, наконец, случайно попал с Хачатуровым и Громовым в Турин на упомянутую выше элитную конференцию (отказался ехать заведующий сектором).

А затем подошло время отправляться в упомянутую выше "иноземцевскую" научную командировку в Америку. В течение всего 1975 года, с января по январь 1976-го, эта страна была выдана нам с женой на бесконтрольное проживание, деловые поездки по всей территории, а также на разграбление в пределах сумм командировочных расходов. Эта эстафета дозволенности была подхвачена американцами, которые без всякой волокиты давали нам разрешения на посещение наглухо запретных тогда для советских граждан мест – пограничного Сан Диего с его военно-морской базой, сердцевины американского ВПК города Кротон, куда я приезжал на встречу с интересным просоветским писателем и сомнительным экономистом Виктором Перло и для посещения расположенного там центра переподготовки специалистов "Дженерал электрик", городка Аннаполис с его центром подготовки офицеров флота, куда я съездил со знакомым американским коллегой-статистиком просто так. Покровительствовавший нам с Галой советолог Мюррей Фешбах спокойно водил меня в Вашингтоне по обширному помещению руководимого им отдела какого-то госучреждения, где до трёх десятков подтянутых серьезных мужчин сосредоточенно работали, обложившись детальными картами различных районов Советского союза<sup>62</sup>. Я тогда задал себе вопрос, есть ли у нас где-нибудь аналогичный уровень изучения США. Ответа у меня до сих пор нет. Поскольку для того, чтобы *нашпионить* хоть на десять копеек я не годился, их риск оправдался, а моя совесть перед гостеприимными хозяевами осталась, в основном, чиста.

Поскольку заграничные командировки гуманитариев подобного рода и длительности были чрезвычайной редкостью, ни цели, ни задания, ни академических требований к ним или не имелось, или нам их не было предъявлено. Должен ли я сидеть непрерывно в библиотеках, лихорадочно собирая материал по какой-нибудь теме, либо посещать учреждения изучаемой мною сферы, чтобы наблюдать и анализировать американский опыт, либо делать что-нибудь другое – никто об этом не знал и мне не сообщал. Сидеть в библиотеках, чтобы неизвестно зачем читать однообразные статьи мейнстримовцев, в которых самые обычные проблемы и просто казусы сводились к так называемым "моделям", мне не хотелось – этого добра и дома было достаточно, было бы желание – наша цензура легко пропускала эту формализованную продукцию.

Поэтому я, инстинктивно чувствуя, что советоваться ни с кем не следует, чтобы не разворошить спящее осиное гнездо инструктажа и безбрежных ограничений, решил делать всё кроме этого, то есть всё остальное, что можно благоразумно вообразить. Во-первых, смотреть во все глаза вокруг, открывать все двери, вникать в повседневную жизнь, разговаривать, фотографировать. Забегая вперед скажу, что в

<sup>62</sup> Это было Бюро Цензов США, подразделение Отдела по изучению демографии, здравоохранения и науки за рубежом.



этом русле главный компонент атмосферы американской жизни для нас воплотился в каком-то летящем чувстве, что благожелательность окружающих и познавательный успех любого дела находится в прямой зависимости от естественности и осмысленности собственного поведения. Отвалилось то отвратительное чувство, что за твоими выводами и формулировками постоянно наблюдают догматики или идеологи, что нужно сдерживать эмоциональность реакций, не допускать каких-то нарушений канонов и искусственных ритуалов. Не знаю, как для всех воспитанных в "совке", но мне как-то сразу становилось легко от сознания, что если ты нормальный человек без камня за пазухой, не врешь и проявляешь искренний, а тем более квалифицированный интерес (даже моё любимое любопытство), то благожелательное отношение к тебе обеспечено.

А если к тому же ты обнаруживаешь образованность, эрудицию и признаки профессионализма, то здесь отношение к тебе начинает иногда подпитываться не только любопытством и человеческим интересом, но и критериями из другой, более серьезной сферы – области рыночных отношений, которые точно выражаются термином *opportunity cost*. Это понятие трудно переводится на русский язык, но хорошо знакомо тем соотечественникам, которым выпало искать оплачиваемую долларами работу в этой стране. Чтобы получить эти денежки, нужно доказать, что ты подходишь на должность лучше всех остальных, сколько бы их ни было, претендентов.

Конечно, доходили слухи, что у кое-кого из наших сотрудников в американских университетах сложилась неважная репутация. Реально я сильно почувствовал это один раз. На запланированную встречу (кажется в Колумбусе) в кабинете собрались несколько мрачных, отчужденных личностей. Я тоже от неожиданности несколько растерялся, разговор не клеился до тех пор, пока в комнату вдруг не ворвался взволнованный профессор, как оказалось их специалист по образованию, размахивая моей книжечкой, которую он, готовясь к встрече, только что обнаружил в библиотеке. Конечно, она была на русском, но там было много таблиц и сносков, судя по которым можно было снять с меня подозрение как на засланного казачка. И всё сразу стало на свои места. Потом я узнал, что за неделю передо мной там побывал наш человек БК, который *почему-то* произвёл на профессуру очень неблагоприятное впечатление.

Второй раз я натолкнулся на недоброжелательность, когда меня пригласили в школу в маленьком пенсильванском городке. Собрались старшеклассники и несколько преподавателей социологических профилей во главе с шефом этого направления, как оказалось, иммигрантом из Венгрии. Представляя меня, он далеко вышел даже за рамки вежливости – вот, де, перед вами сидит посланец страны, которая душит народы в восточной Европе, плюёт на свободы и права человека и даже что-то про антисемитизм. В общем, всё правильно, но очень уж заострённо неприязненно. Ну, с этой ситуацией я быстро справился, всё-таки многолетний преподавательский опыт... (Простой, но действенный способ состоит в том, чтобы успеть во время презентации внимательно, заинтересованно и дружелюбно встретиться глазами со всеми присутствующими в аудитории).

На моё восприятие Америки повлиял своеобразный визуальный контраст с Россией. Меня, как человека может быть незаслуженно, но причисляющего себя к миру фотографии, всегда задевала и раздражала либо кустарная, неумелая, натуралистическая неприглядность отображения отечественных реалий, либо искусственная зализанность, неправдоподобие фотоматериалов в нашей прессе. А когда я, навидавшийся видов в технически безукоризненных американских журналах, столкнулся с реальной повседневной и не приукрашенной Америкой – там не оказалось ни малейшего зазора, тем более разрыва между фотографией и её объектами.

Одно из обыденных, но сильных впечатлений после российской привычки к созданию удобств нашего так сказать "менеджмента" за счет неудобств остальных людей оказалось тем, что я, посетив огромное количество мест, где обычно бывает публика – учебных заведений, учреждений, магазинов, терминалов, автостанций и т.д. и т.п., *ни разу* не наткнулся ни на одну запертую дверь. Даже в тех редких случаях, когда встречались платные кабинки общественных туалетов, они бывали заботливо приоткрыты или приветливо придерживались свободолюбивыми американцами, протестующими таким образом против недостойных посягательств на естественные права человека.

С этими базовыми предпосылками и впечатлениями я легко вошел в американский быт, хорошо видя и его новизну, и отличие от отечества, но в то же время не испытывая и тени тех сильных чувств, какие были у трёх лично знакомых мне женщин, которые в разное время упали в обморок от потрясения при первом посещении американского супермаркета. Должен отметить, что Гала приняла американскую жизнь столь же естественно. Где бы мы ни появлялись, у неё сразу возникал свой круг американских знакомых, с которыми она общалась так же, как если бы это происходило в Москве.

Во-вторых, я решил посетить все ведомства, управляющие образованием, наукой, статистикой, выгрести все доступные материалы, отправить их в Институт. Это был наш период увлечения корректной статистической техникой, все в отделе были помешаны на тонкостях межстрановых сопоставлений, способами сцеплений отрезков временных рядов, точностью классификации. Так что мне было легко находить общий язык с энтузиастами учёта и в Бюро ценов, и в Национальном центре статистики образования, и в Министерстве труда, которое тогда ежегодно издавало толстенький, хорошо мне знакомый "Доклад президенту о состоянии рабочей силы", и в Бюро статистики труда, и в отделе анализа ресурсов науки Национального Научного фонда, и даже в легендарном Бюро экономического анализа с его знаменитым журналом "Сёрвей оф Каррент Бизнес" и фантастическими таблицами национального дохода и продукта.

Однажды я разошёлся до того, что как бы "столкнул лбами" два отдела, которые подсчитывали численность учащихся профессиональных заведений по разным методикам, указав на большие расхождения и на недостатки каждой из них. Когда я появился в этом учреждении на следующий день, то был польщён тем, что на меня с любопытством обращали внимание встречные незнакомые люди, а кто-то даже высунулся из дверей. В общем, сильно преувеличив, можно сказать, было похоже на сцену *Штирлиц идёт по коридору*.<sup>63</sup>

А в одном из отделений Бюро Ценов было поистине трогательное собеседование, когда все сотрудники с величайшей благожелательностью по очереди демонстрировали мне свои участки работы. Потом, когда собрались все вместе, я безо всякой лести сказал, что богатство их статистики можно назвать "статистическим супермаркетом". Это заявление неожиданно вызвало поистине гомерический хохот собравшихся, после чего они провели меня на первый этаж здания, где действительно оказался настоящий супермаркет во всём его американском великолепии.

<sup>63</sup> Надеюсь, никто не подумает, что я тогда был столь наивен, чтобы считать, что открыл глаза американским статистикам. Я просто показал своё понимание их техники. Они, конечно, прекрасно знали об этих нестыковках, но привыкли и мирились с ними, рассматривая их как техническую сферу для специалистов, незаметную для остальной публики. А в отношении меня именно это и было важно, поскольку как бы приоткрывало советскому иностранцу дверь в их профессиональную кухню. Мы с Галой постоянно встречались с такой повышенной чуткостью к непосредственным проявлениям профессиональных и личных эмоциональных качеств и по возможности опирались на это естественное и удобное для нас свойство американцев при нашем общении с бесконечной чередой различных людей.

В-третьих, я сделал заявку посетить лучшие и рядовые научно-образовательные учреждения, взять оттуда всё интересное, что подвернётся под руку. Я присутствовал на всех этапах выполнения полученных по грантам работ в своей "штаб-квартире" на кафедре экономики в Пенн-стейте, сидел среди членов учёного совета на защите докторской диссертации в Колумбийском университете, слушал как уверенно-небрежно разжёвывают лекции профессора, расспрашивал проректоров откуда они берут деньги на оборудование лабораторий или на повальное извлечение ядовитых асбестовых плит из стен и потолков университетских зданий, какие заботы у них самые острые. Мне показывали, какие имеются здания, какие студенты и учащиеся, какие столовые, клубы, стадионы, как развлекаются, что идёт в кино. Как правило, это оказывалось лучшее, классика, документалистика, некоммерческие фильмы.

В-четвёртых, я хотел объездить всю страну и встретиться с наибольшим числом людей, в том числе известных в научном мире персон (это дополнение было частично спровоцировано прошлыми командировочными, которые, как правило, акцентировали список своих встреч с такого рода деятелями).

Недели и месяцы мы жили в Филадельфии, Чикаго, Нью Йорке, Вашингтоне, Бостоне, Колумбусе, Сан-Франциско, Сан-Диего, Лос-Анжелосе, Далласе, в кампусах – университета Пенн-стейт в Стейт-Калидже (Пенсильвания), Беркли (Калифорния), Висконсинского, Мичиганского. Это помимо посещения мелких городов, школ и колледжей. А по дороге были Атланта, Альбукерк, Феникс, Солт-Лейк-сити, Питсбург, Детройт.<sup>64</sup> Например, в Мемфисе, где за полночь была автобусная пересадка на пути из Далласа, я прошёл по карте напрямик вниз несколько кварталов – страшноватых, сюрреалистических от ламп дневного света, серо-цементных стен и мёртвых окон, хорошо, что абсолютно безлюдных, в темноте перелез через ограждение на приречном шоссе и спустился по зыбкому отлогому берегу к Миссисипи, подошёл и помыл руки в реке Тома Сойера. А весь остаток ночи до Вашингтона у меня на коленях ехал малыш негрёнок, который перелез от своей безнадежно заснувшей матери. Из окна автобуса мы с Галой видели дугу Ворота на Запад в Сен-Поле, Скалистые горы (Флагстаф), казино в Рено, пустыню Невады... Но после всех чудес неожиданно оказалось, что нет ничего лучше и живописнее нашей базовой Пенсильвании, по аллеганским горным и лесным "просёлочным" дорогам которой мы, кружа и блуждая<sup>65</sup>, возвращались в последний день путешествия на автобусе местной линии с шофёром-новичком в обжитый Стейт Калидж.

Однако главным объектом, конечно, были люди, среди них тогдашние и будущие нобелевские лауреаты. Первым следует назвать чикагского Теодора Шульца, которого я по совокупности считаю основоположником западных исследований человеческого капитала. Он тогда уже был патриарх от экономики, на встречу со мной его привели чуть ли не насильно, сидел демонстративно неохотно, смотрел почти мимо, пробурчал, что его сочинения можно найти в библиотеке и посмотрел на

<sup>64</sup> При планировании этой грандиозной программы возникла трудность, поскольку в смете было предусмотрено выделение средств на авиабилеты только для меня. А Галя должна была прозябать одна в нашей квартире в Стейт-Калидже. В этой ущербной ситуации я предложил организаторам заменить перелеты на менее дорогое автобусное путешествие, но для двоих. Американцы заинтересовались, подумали и согласились, хотя я не уверен, что экономия на билетах полностью покрывала добавочные расходы. Возможно, оценили изобретательность предложенного решения. В дальнейшем они так же безотказно оплатили незапланированные дальние выезды в Техас и в южную Калифорнию на региональные конференции Американской экономической ассоциации и другие поездки.

<sup>65</sup> Можно было просто спросить дорогу у встречных, но шофёр, долго и безуспешно терзавший какой-то радиотелефон для связи с диспетчером, с явным беспокойством останавливал меня. Оказалось, что такое публичное проявление слабости могло бы негативно отразиться на репутации его фирмы.

дверь. Этим он сильно меня разозлил. Пришлось *взять быка за рога* и рассказать ему, почему я не согласен с его методикой подсчётов величины человеческого капитала, показать свои выкладки. Когда я пришёл к нему второй раз, он без звука подписал мне свежий продукт исследований своей группы – толстенькую книгу об экономике семьи. А на третьей встрече мы обсуждали уже произведение Энгельса "Происхождение семьи, частной собственности и государства" и то, как Сталин указал на якобы ошибку классика в этой работе. Такой прыти от марксизма старый насквозь буржуазный профессор не ожидал.

Висконсинский Оливер Вильямсон, ныне свежий нобелиат 2009 года, с энтузиазмом распространявший свои идеи, и мне принёс две статьи, которые я не мог обсуждать, поскольку там были одни формулы не только с латинскими, но и с греческими обозначениями (уже гораздо позже дочь Оксана, рассказывая о профессиональной кухне посвященных в мейнстрим, упомянула, что употребление греческих букв считается очень престижным в этом кругу).

У величественного Джона Кеннета Гэлбрейта я был дома в старинном профессорском особняке, где все стены кабинета были заняты фотографиями хозяина с Первыми лицами Планеты. Там я получил на память его книжку, написанную совместно со Станиславом Меньшиковым о советско-американском сотрудничестве.<sup>66</sup>

Гэри Бекера, бледного и бесстрастного до полной засушенности, я тогда не оценил по достоинству, так высоко как сейчас, в качестве создателя целостной логически выдержанной системы рыночно-максимизаторского объяснения человеческого поведения, поскольку в тот момент он занимался экономикой процесса ухаживания, брака и развода. Эта тематика казалась мне тогда немного анекдотичной. К тому же, как бы в развитие предмета исследования, вокруг него носились разные дезавуирующие слухи вроде того, что он, де, собственную жену довёл до того, что она не то свихнулась, не то покончила с собой. К своей коллекции тогдашних и будущих нобелиатов я могу добавить ещё Викери (с ним я беседовал ещё до поездки в США).

Кроме них были просто крупные фигуры – Питер Дракер, Эли Гинзберг, главный советолог ЦРУ Бергсон, Эдвард Денисон, к которому я пришел не просто как "вещь в себе", а по праву, как переводчик его знаменитой книги. Этот выдающийся исследователь не получил нобелевки (так же как Дракер и Кендрик), на мой взгляд, только потому, что не загромождал свои работы считающимися профессионально обязательными формально-математическими моделями. Как подмечает та же Оксана, многие заслуженные столпы формализма после получения премии с огромным облегчением отбрасывают математическую мишуру и переходят на нормальный язык, объясняя окружающим различные экономические проблемы.

В Колумбийском университете я разыскал Якоба Минцера. Он, как оказалось, сохранил робкие, но вполне внятные остатки русского языка, на котором говорили в его семье. Это скромный человек, которого все исследователи признают как безусловного американского первоавтора теории человеческого капитала, опубликовавшего свою работу еще в 1957 году, чуть раньше времени, когда под влиянием запуска Спутника в США созрела критическая масса готовых принять эту идею. Узнав, что я собираюсь в Чикаго, Минцер дал мне телефон своего отца, заверив, что тот сможет оказать нам всяческую помощь, если таковая потребуется.

В разговоре с классиком экономико-статистического анализа Джоном Кендриком в университете Джорджа Вашингтона промелькнула и запомнилась деталь, характерная для американского менталитета. Когда я в самом начале разговора ска-

<sup>66</sup> Здесь меня подвела инерция памяти. Данная встреча произошла уже во время второй поездки в США в конце 1989 года.

зал о чём то "peripheral", он вострепнулся и спросил в какой школе я учился, что приобрёл такой сложный словарный запас. Как бы заужал за этот для нас пустяк.

Кроме администраторов, преподавателей, чиновников, учащихся, студентов, слушателей различных курсов и других людей, были просто знакомые и друзья, такие, как Лоррейн и Джек Капитанов, наш "хозяин" в Пенн-стейте профессор Джекоб Кауфман, заслуженный профессор Гарварда Джон Девис, ветеран войны на Тихом океане и его сын, молодой Христофор Девис, а также московский завсегда Весли Фишер, любивший для мимикрии косить под "грузына". Помимо своего официального статуса, он был автором уникального, рейтингового путеводителя по московским ресторанам и забегаловкам советских времён. Перечислить всех невозможно, это десятки, многие десятки, а если брать группы, может, сотни людей, обширные списки и визитки некоторых лежат у меня в папке.

То есть целый год я не сидел, штудировав однообразные статьи мейнстримовцев (кроме тех, которые обсуждались с живыми авторами, окружавшими меня в Пенн-стейте и других университетах), а планировал поездки и встречи по федеральным министерствам, ведомствам и местным органам управления образованием и наукой, по самым главным университетам и исследовательским центрам; ходил, ездил, собирал книги и разнообразные труднодоступные иным образом рабочие материалы, которые дипломатической почтой отправлял в библиотеку ИМЭМО (почти все они попали в спецхран); говорил с управляющими и специалистами, получал ответы на десятки вопросов по своей тематике; выступал с сообщениями на самые разные темы и в разных аудиториях.

Незабываемое впечатление произвели книгохранилища университетских библиотек. Эти бесконечные лабиринты со свободным доступом в них, пожалуй, можно назвать чудом Америки, которое посильнее супермаркетов. Примостившись на рабочих местах у окон между рядами стеллажей, читали Солженицына и Шаламова, Пастернака и Гинзбург, невольно всё же вздрагивая, когда в проходах среди полок неожиданно появлялся случайный читатель.

А в процессе мы Галой наблюдали за каждой мелочью вокруг, сменяли гостиницы и квартиры, виды транспорта, покупали продукты в супермаркетах, тряпки и аксессуары на знаменитой "Яшкин стрит" и в других самых дешёвых местах, активно врубались в повседневную жизнь кампусов, посещая музеи, концерты, кинопоказы различной классики, неформала. Между делом ходили в гости по бесчисленным приглашениям не только профессоров и чиновников, но также других американцев самого различного чина и занятия. В результате у меня накопилось столько собственных наблюдений, что порой кажется, что подобно бравому солдату Швейку, я могу рассказать подходящую "чисто конкретную" байку на тему каждого упоминания об особенностях американского характера и образа жизни в США.<sup>67</sup>

Короче говоря, мы вели себя совершенно раскованно, внесистемно, и вполне сознавая это, действовали по той же не раз описанной выше модели поведения "бы-

<sup>67</sup> Например, имеется важный стереотип, что американцы отличаются своей нахрапистостью и агрессивностью, что они всегда на страже свободы и независимости поведения, всё ставят на своём, да и сами они себя обожают таковыми считать. На самом же деле американцы ведут себя в США тише воды, ниже травы. На мои ненавязчивые тестовые вопросы о независимости и свободолюбии американского характера и поведения испытуемые отвечали охотно, наперебой, но однообразно: вот я была в Испании... или, когда я был в Иране... вот там я ого-го!... Но не было *ни одного* случая про свой или соседний штат. Как-то в автобусе-шаттле между университетом и жилой зоной в Стейт-Калидже все зазевались и водитель спокойно проехал нужную остановку. Сработал только мой естественный российский инстинктивный автоматизм. При огорчённом молчании остальных мой неожиданный возглас заставил водителя среагировать неадекватно. Он настолько изумился, что нарушив правила, затормозил в паре десятков метров за остановкой, и тогда добрая половина пассажиров сошла вместе со мной.

ла, не была", имея за душой только одно оправдание. Этим единственным защитным квазиаргументом на случай, если *потребуется к разделке*, была ссылка на то, что нам никто и никогда не объяснял и поэтому мы как будто бы не знали, что так себя вести не полагается, к тому же ничего не скрывали, а мой комитетский "собеседник" (вербовщик, о нём – ниже, правда, это было впоследствии), не раз давал понять вскользь, но без всякого осуждения, что они в курсе наших встреч с американскими знакомыми у нас дома в Москве и при том, как бы от незнания или несущественности информации, комично искажал их фамилии.

Мы, конечно, видели, что наши посольские и ооновские работники имеют строгую систему правил поведения, ограничений и запретов. Однажды Гала в лифте отеля "Эспланада" на 74-й улице в Нью-Йорке, обжитого семьями наших служащих, улыбнулась двум на тот момент ещё незнакомым ей русским женщинам и сказала: а я – ваша соотечественница! Эффект был сильный: они затрепетали, отвернувшись в углы, как рыбки в аквариуме при виде приближающегося безжалостного сачка. Да, мы это понимали, но переломить себя были не в силах и, поскольку жареный петух ещё не клюнул, как-то надеялись, что пронесёт. Конечно, дело облегчалось нашим динамичным и гибким режимом перемены мест, причём часто эти места были весьма отдалённые и неожиданные, куда доступ контролёров был невозможен или затруднён.

В заключение описанного веера целей я рассчитывал привезти несколько эксклюзивных технических приспособлений, которые никогда бы не были доступны для меня без этой поездки, или накопить на них энную сумму долларов (точнее, их отечественных заменителей, так называемых "сертификатов"). В свободное время я изучал возможности максимизации соотношения цена-качество при покупке компонентов стереосистемы (это удалось, она оставалась на достаточном уровне до открытия в России свободного рынка электроники в 90-х, а колонки Дупасо с их безукоризненным звуком не нуждаются в достойной замене до сих пор). В этих целях я вступил в оживлённую насыщенную техническими деталями переписку с одной посылочной фирмой, в результате чего получил официальное предложение стать распространителем её стереотехники у себя в пенстейтовском кампусе. В качестве условий фирма намекала на отчисления от будущих продаж, предлагала скидки на собственные покупки, а также поездку на курсы повышения квалификации. Предложение было интересное, но понятно, для меня неприемлемое.

Что касается, казалось бы, безнадёжной "транспортной задачи", то она решилась изумительно успешно, поскольку мне удалось выманить из-под прилавка у потерявшей бдительность служащей Аэрофлота, скучавшей в офисе на Пятой авеню в Нью-Йорке, сугубо непубличную, но действующую инструкцию, согласно которой для совграждан после года пребывания в США разрешалось бесплатно провозить не по 40 кг груза (или 2 чемодана), а по целых 150 (!) кг. Об этом узнали наши российские знакомые и принесли кое-какие передачи, в результате чего число мест нашего багажа значительно увеличилось.

На московской таможне была длинная очередь и я, прогуливаясь чтобы скоротать время, наблюдал за тем, как чиновник издевательски разбрасывает совершенно безобидные разрозненные вещи из распаханного чемодана какой-то поникшей, испуганной, сгорбленной и седой еврейской старушки. В это время к старшему по линии подбежал озабоченный инспектор и, протягивая наши с Галой паспорта, торопливо спросил: евреи? Тот глянул и покачал головой. В результате я в несколько приёмов беспрепятственно перенёс все свои чемоданы и другие единицы багажа на родную территорию.

**Вербовка.** Конечно, рассказывая о столь долголетней работе в ИМЭМО, нельзя обойти молчанием роль КГБ, хотя я ничего не знаю, кроме очевидного и той

небольшой и, возможно, стандартной интриги, что коснулось лично меня. Относительно первого известно, что Институт был насыщен как бывшими, так и действующими сотрудниками этого учреждения. Я бы разделил их на две категории – в первой милые, общительные отставники, в том числе реальные разведчики и шпионы, в том числе Залман Вульфович Литвин, знаменитые английские перебежчики Блейк, Фрезер-Маклейн, американский Смит. Во второй – отставные полковники аналитических служб, очень квалифицированные, идеологически безупречные, добросовестные научные работники. Были и, кажется, что до сих пор остались также совершенно безликие, бессловесные, как бы сливающиеся со стенами штатные сотрудники на различных специальных и простых должностях.

В секретный "первый отдел" Института я заходил только раз в жизни в 1986(!) году, после того как по почину академика Аганбегяна открывал своим докладом серию задуманных и проведённых им обсуждений острых проблем начинающейся перестройки. В этом выступлении о положении нашей системы образования я привел все накопленные мной неблагоприятные сопоставительные данные и соображения на этот счёт. Стоя на трибуне, я мог видеть в заполненном зале на третьем этаже наших особистов, хотя и тема была вроде безобидная, и они обычно на научных обсуждениях, тем более полным составом не засвечивались. Было много вопросов и запомнилось как необычное и неудобное для меня то, что допустил публично некоторый пафос: в ответе кому-то, кажется, Мише Барабанову, сказал, что по поводу такого положения в образовательной сфере "*за державу обидно*". Но это деталь.

Интересно то, что на следующее утро явился наш плоский как амёба заведующий первым отделом и, не глядя в глаза, дотошно, действуя как автомат, изъясил не только окончательный текст доклада, но и все копии нескольких вариантов машинописных перепечаток, проверяя каждый листик строго по счёту. Он объявил, что отныне все эти документы являются засекреченными. Так что, когда мне через некоторое время понадобилась оттуда таблица, возник казус, поскольку я не имел на это права, из-за того, что никогда и никуда не имел никакого "допуска". Поскольку все данные, которыми я пользовался, были взяты из открытых источников, *субстрат секретности*, по-видимому, сформировался у меня в голове, так же как это было инкриминировано нашему профессиональному коллеге из Института США Сутягину, уже давно и, как все долго считали, безнадежно отбывавшему 15-летний лагерный срок за шпионаж.

Через несколько дней после доклада мне передали приглашение от директора ЦЭМИ академика Николая Прокофьевича Федоренко, которого заинтересовали распространённые мною сведения. Сидя в своём кабинете, он слушал мой откровенный рассказ с непонятным для меня постепенно нарастающим беспокойством. А когда речь дошла до каких-то особо пикантных сопоставлений, академик вдруг взорвался жестикующей, один палец прижимая к губам, а другой рукой отчаянно показывая на коммуникатор и ряд телефонов, выстроившихся на приставном столике. После этого он заботливо проводил меня до выхода из своей приёмной.

Но всё это косвенные впечатления. Чтобы закончить их перечисление, я должен упомянуть об одном до сих пор загадочном случае, который произошёл в Нью-Йорке за несколько дней до нашего отъезда из США в конце января 1976 года. Мне казалось, что все формальности, в том числе финансовые, закончены, отчёты приняты, как вдруг вызывают меня в бухгалтерию представительства и там буднично объявляют, что мне полагается ещё дополучить чистыми 2000 долларов (это тогда было больше стоимости новенькой "Волги"). И дают квиток в кассу. Но у меня каждый доллар был на учёте. Я знал, что всё, что только можно, уже получил. И так же прекрасно знал, что бухгалтерских и кассовых ошибок в этом деле даже на несколько мелких монеток (в пользу командировочного, конечно) быть не может, потому что

не может быть никогда. Поэтому я стал спрашивать, что это за деньги, от кого и почему. На этот счёт никто не смог сказать и полслова. А когда я осторожно предположил, что это очень вероятная ошибка, никто не стал возражать. Только убрали книгу и квиток, я встал и *вышел из дверей бухгалтерии...*

Вскоре после приезда из США ко мне стал позванивать сотрудник КГБ, молодой мужик на автомобиле, приглашал прокатиться под предлогом, что интересуется моими впечатлениями о поездке, об американских экономистах. Упомянул без всякого упрека, но следя за моей реакцией о наших гостях (в то время Лоррейн и Джек Капитанов, Весли Фишер, Христофор Дэвис и другие самые простые американские обыватели часто приезжали в Москву как туристы и обязательно приходили к нам домой, то на новый год, то просто так). Но все эти разговоры были весьма поверхностны, я чувствовал, что это как бы прелюдия к чему-то большему. Чтобы объяснить, зачем я нужен, он говорил о том, что скоро к нам придет очень интересный научный американец, и я, де, буду приглашен для встреч с ним. А между делом то об охоте расскажет, вот, мол, увлекательно и базы есть; или так невзначай на заднем сиденьи небрежно обувная коробка-фирма красавица лежит, а то что-то в целлофане с яркой блямбой валяется ненавязчиво, как бы соблазняя или напрашиваясь на вопрос. Но я тоже как бы не замечаю.

Разговоры между тем становились разнообразнее. Плавнo с американцев он перешёл на наших, стал спрашивать насчёт коллег. Но тут я легко пел соловьём – о том, какие все преданные рыцари науки. – А вот Кудров? – Кудрова я знаю как облупленного – в одной группе учились, научный талант, всесторонне развит, скрипач, блестящ, специалист, организатор, много пользы принести может. (Кстати в очень скором времени Кудрова, долго пребывавшего в невыездных, простили и отправили на работу в Швейцарию). – А вот у вас там еврей ... есть, как он, не вредит? – Да вы что, какая чепуха, у нас все одинаковые! – Или: Виктор Иосифович, вы такой способный, талантливый, скажите, вам наверно кто-то мешает, только скажите, мы поможем?! – Да, отвечаю, есть такой, но, увы, помочь нельзя – он внутри, это я сам себе вредитель, знаете, увлекаюсь, разбрасываюсь, то одно, то другое, но ладно, вот скоро соберусь, докторская диссертация и всё другое будет в лучшем виде!

Так шло время, американец всё не приезжал. И вот в один прекрасный день – телефонный звонок. Говорит, важное дело. Надо подойти в новую гостиницу "Интурист" (её, многоэтажную уродину в начале Тверской, не так давно снесли), на пятый этаж, номер такой-то, в такое-время. Чувствую, конечно, что дело пахнет керосином, но делать нечего, являюсь. В комнате сидят двое – мой и другой, постарше. Представляется начальником отдела Ивановым, показывает книжечку, в которой я кроме "Иванова" ничего не успеваю рассмотреть. Начинается разговор по содержанию точно такой, какие вёл всё это время мой. Чувствую себя странно, плоховато, отвечаю в том же духе как раньше... Переглянулись, а потом старший из них так это со значением говорит: Виктор Иосифович, а теперь Вы это самое, что сейчас нам рассказывали, напишите на бумаге. И листок показался. Я сопротивляюсь – ну что там писать, всё обычно, все наши люди, нормальные, без всяких отклонений... Он, очень настойчиво: а Вы всё же вот именно это и напишите. Тут я встал и только смог сказать – *я ничего писать не буду*. Повернулся и, не прощаясь, в тишине, на ватных ногах *вышел из дверей*, спустился на залитую солнцем горячую Тверскую ...

На этом всё и кончилось. Больше Комитет меня не тревожил. Был 1977 год. В 1978-м я то-ли по инерции, то-ли по недосмотру, съездил на какой-то небольшой семинар в Прагу. На этом мои заграничные поездки прекратились аж до самого ультраперестроечного 1989 года. Тогда в обстановке свободы я очередной раз попал в



фавор дирекции института<sup>68</sup> и дней на десять съездил с прощальным визитом в США. Там встретил уже пожилых приятелей-статистиков во всех до боли знакомых вашингтонских министерствах и ведомствах, набрал справочников, подивился на персональные компьютеры и компакт-диски, изумился переменам за тринадцать лет – *впечатление было такое, как будто бы попал в другую страну*. Например, однажды вечером я спокойно прошёлся из Колумбийского университета по оказавшемуся вполне цивилизованным и безопасным Бродвею в свою гостиницу на 94 улице. Надо сказать, что этот маршрут проходит через центр Гарлема, в котором в 1975 году я вопреки запрету и к пост-фактумному ужасу моих американских кураторов побывал, приехавши на городском автобусе (по принципу "была-не была").

Тогда руководитель департамента по "образованию взрослых" в Нью-Йорке, огромный, деловой и дружелюбный негр, в ответ на мою просьбу посетить какую-либо типичную программу профессионально-технического обучения, немедленно поднял трубку, договорился с кем-то ответственным и тут же написал мне карточку с адресом, временем и прочими реквизитами мероприятия. Когда я посоветовался об этом с завзятым ньюйоркцем и опытным "москвичом" Весли Фишером, он стал очень серьёзен, объяснил крайнюю опасность поездки и как официальное лицо принимавшей меня американской организации потребовал отказаться от неё. На обходной вопрос, как бы он сам вышел из положения, Весли сказал, что он взял бы такси и проинструктировал шофёра оставаться у двери до тех пор, пока он не войдёт внутрь, а после переговоров вызвал бы такси и не высовывал бы носа из дверей пока оно не подъедет вплотную. Делать это у меня душа не лежала, отказываться было как-то стыдно в глазах дружественного и симпатичного негра.

Я изучил карту и сел в автобус. На остановке у 110 улицы, где кончается Центральный парк и круто начинается Гарлем, сидения почернели, все белые вышли. Вид за окном резко изменился, везде бродили пьяные негры, гремела музыка из ларьков и забегаловок, горели костры мусора и громоздились развалины домов как во время войны, а окна и двери цели моего визита – местного Центра переподготовки безработных были наглухо и, казалось навсегда, заложены массивными железными щитами. После встреч с наличными педагогами и осмотра малолюдных классов я под металлический лязг отодвигаемых запоров был выпущен наружу, где за это время обстановка изменилась: поперёк дороги стал торговый грузовичок с едой и напитками, вокруг оживлённо кучковалось с дюжину аборигенов, их взоры немедленно упёрлись в меня. Воспользовавшись тем, что одновременно со мной вышел какой-то негр, я вроде бы по-свойски непринуждённо обратился к нему – как, де, пройти до автобуса. К моей досаде этот недотепа стал направлять меня в противоположную сторону. Но именно это нормализовало обстановку, поскольку вся компания замахала руками и наперебой, крайне дружественно стала объяснять правильную дорогу (я-то все варианты отхода заранее изучил). Автобуса пришлось ожидать минут пятнадцать во всё более сгущавшемся белом одиночестве.

Несомненно, был у меня непонятный, но требовательный авантюристический позыв, толкавший на рискованные эскапады. Так было в Филадельфии, когда я бродил по пустынным причалам местной реки, не менее полноводной, чем Нева, а затем совершил почти двухчасовое путешествие, сидя у открытого окна в трамвае, который кружил через все значные районы города. В Чикаго, соблазнённый видом об-

<sup>68</sup> После упомянутого доклада в проблемной серии Аганбегяна я попал в струю перестроечной суеты, стал частым гостем в здании (и буфете) ЦК КПСС. В качестве пика этого взлёта был приглашён на официальную встречу с правой рукой Горбачёва – Егором Лигачевым (в узком кругу вместе с Олегом Табаковым, писателем и непотопляемым начальником Детского фонда Альбертом Лихановым, и ещё с каким-то деятелем из Академии педнаук). Об этом историческом событии на следующий день было Информационное сообщение на первой странице "Правды".

манчиво близких небоскрёбов центра из кампуса знаменитого университета, я решил как-то в воскресенье совершить туда марш-бросок. И вот, проснувшись пораньше, резво иду уже больше часа, а небоскрёбы не приближаются, парк закончился, начались районы бесконечных великолепных каменных особнячков с балконами и башенками, но с зияющими пустыми окнами и выломанными дверьми<sup>69</sup>. Всё чаще стали встречаться кучки негров разного пола и возраста, которые при виде меня застыли с раскрытыми ртами. И тут появился страх и мысль, что единственным спасением является быстрота, чтобы успеть проскочить далеко, пока они не придут в себя от неожиданности. А небоскрёбы, как и были – на горизонте. Спасся тем, что сел в автобус и выехал из гетто.

Должен сказать, что мне постоянно везло. Например, Кудрову во время аналогичной авантюры кто-то вылил из окна ведро помоев на голову, затем его выручила полиция, составили протокол, но это всё пустяки по сравнению с последовавшей нервомотательной партийной разборкой в советской колонии. Я всё же льщу себя мыслью, что хотя бы частично эта моя удачливость объясняется также и тщательным предварительным обдумыванием и подготовкой больших эскапад. Как правило, я заранее мысленно примеривался, прикидывал варианты, запоминал карты улиц, маршруты транспорта и, может быть главное – старался вести себя доброжелательно, улыбаться<sup>70</sup>, словом выглядеть нормальным человеком, а не напряжённым наблюдателем среди чужаков.

После возвращения из второй командировки в США я уже 20 лет безвыездно живу в Москве, от деловых встреч в институте и не только с иностранцами прочно отодвинут, а "подозрительные личности" из-за границы к нам домой давно не приезжают. Как говорится, *одних уж нет, а те далече*.

### Ещё об ИМЭМО

И в советские времена, когда в нём работала тысяча человек и позже, когда он лишился многих ярких личностей, Институт был элитарным учреждением с особым отбором сотрудников. Помимо профессиональной репутации "думающего бульдозера" (вольный перевод американского лейбла "think tank") за ним числилась своя атмосфера некоей чуть большей аналитической свободы выражения, связанная с заграничной тематикой и поездками (не надо забывать, что тогда даже ко многим вполне обычным иностранным газетам и журналам требовалось особое разрешение), с языковым барьером, который тогда был гораздо мощнее, чем сейчас. Существовал

---

<sup>69</sup> Немного позже происхождение этих вандализированных кварталов красочно объяснил мне пожилой поляк-иммигрант, парикмахер – случайный попутчик в чикагской электричке. В первую мировую он записался в американскую армию, был ранен, получил гражданство и от своих трудов построил каменный домик в пригороде, где на втором этаже была его гордость – овальное окно зеркального стекла "невероятных размеров". А потом по соседству стали селиться негры, и всё благополучие рухнуло. Испуганно моргая глазами, он показывал это ужасное проникновение жестами, имитирующими бег тараканов, и повторял: "блэки, блэки, блэки"... Иллюстрацию к этому рассказу можно было видеть на автостанции в центре Чикаго, откуда после рабочего дня разъезжались в разные стороны автобусы – одни с белыми, другие с чёрными пассажирами.

<sup>70</sup> Из моего опыта я вынес твёрдое знание того, что улыбка является полезнейшим, необременительным и благодарным инструментом для общения с людьми в США. Даже тогда, когда мне, уставшему от насыщенным содержанием разговоров, приходилось перед очередной дверью администратора или профессора тихо напоминать себе: "Витя, надень улыбку", через пару минут она, сделав своё первоначальное дело, становилась на своё естественное, так сказать, уместное место.

и налёт дозированного фрондёрства (конечно, не анархического, а профессионально подкреплённого) идущий от разных форм приближенности кадровой верхушки к правящим инстанциям.

С началом перестройки институт ослабел, резко упало его влияние и востребованность. На роль консультантов власти выдвинулся пёстрый хоровод новоиспечённых прозелитов "рыночной экономики" и бюрократического менеджмента. В этой ярмарочной атмосфере доступности национального богатства страны для аморального распила институт сумел сохранить облик учреждения приличных людей, а материальные возможности от аренды здания, были в основном использованы на поддержку сотрудников, ремонт и осовременивание помещений и оборудования. Сохранилась и атмосфера интеллигентной доброжелательности, терпимости и "авгуровского" понимания необходимости приспособляться к условностям и несовершенству окружающего, внешнего мира.

При всём том, что во всех подразделениях, хотя и в разной степени, сохраняется общая верность имиджевому духу ИМЭМО, институт внутренне неоднороден. Это скорее конгломерат своеобразных групп, отличных друг от друга по характеру полученного сотрудниками профессионального образования, в частности, по впечатку конкретных учебных заведений и сформированного ими менталитета. Можно сказать, что каждый отдел представляет как бы особую цивилизацию, во многом закрытую для других. Эту специфику модели взаимоотношений внутри коллективов встречно закрепляют два равных по своему весу фактора: личность руководителя и специфика объекта исследований.

Я попытался иллюстрировать это своеобразие на экстремальном примере отдела Громова в период пика его научной зрелости и во времена катастрофического распада. Ушли Громов, Зубчанинов, Добровинский, Василевский, нет в институте Кудрова, выброшены в чуждое окружение Демидова и Барабанов, откололось, обособилось и отдалилось от социально-экономических материй изучение отраслевых проблем и научно-технического прогресса. Форсировал этот процесс "несовместимый по крови" со старожилами отдела назначенец, и приведённый им хоровод столь же чуждых людей. Под их растлевающим воздействием бывший отдел эффективности превратился в прибежище приспособленчества, неприглядного подхалимажа и быстро прекратил свое ставшее недостойным существование.

Самой, пожалуй, большой загадкой ИМЭМО является процесс возникновения и выживаемости научных школ. Их рождения и угасания. Настоящий "имемовский" коллектив формируется только там, где присутствует концептуальное, стратегическое видение крупной, целевой *теоретической* задачи исследований и *ощущение* того, что от её решения зависит крупный вклад в развитие страны. Именно эта академическая глубина концепции, воплощённая в личных качествах руководителей и основных сотрудников, определяет напряжённость рабочей атмосферы и поисковый характер мотивации, естественность взаимопонимания людей. Таких школ (исключительно *в ретроспективе*) вижу несколько. Школа **Громова** – Зубчанинов, Демидова, Добровинский, Кудров, Василевский, Ночёвкина, Дынкин, Барабанов, Загладина, Н.Иванова, Куренков, Яровая, естественно, я. Группа **Милейковского**, который видел в "буржуазных" теориях и в деятельности государства не только и даже не столько апологетическую, но и конструктивную сторону – Аникин, Энтов, Мартынов, Осадчая, Автономов, Афонцев. Далее – мощный отряд международников – **Иноземцев** – Примаков, Максимова, Королёв, И.Иванов, Размеров, Шишков, Загашвили, другие, которых я не знаю. **Дилигенский** с его социально-психологическим анализом – Гаузнер, Любимова, Васильчук, Н.Иванов, Бурджалов...

В институтской структуре всегда выделялась группа исследователей Японии. Её лидер **Певзнер** был не только знатоком страны, но и крупным экономистом-

теоретиком, вокруг которого работали с литературой, людьми и организациями этой непростой азиатской державы Рамзес, Леонтьева, Зайцев, Целищев...

Особая колоритная группа без определённого лидера – "Числовики" и "модельщики", игроки в цифири, немного прогнозисты количественно-экстарополяционного метода – Четыркин, Л.Громов, Сидельников – с моделями несообразных с реальностью прогнозов. Лукашин, с недавней чудовищной статьей о производственной функции, как будто бы он проснулся после двадцатилетнего сна. Безусловно выделяется группа статистиков – работяги, специалисты, но слишком законсервированные в стоимостной архаике. Сюда относятся **Болотин**, Гиви Мачавариани – незаменимые источники данных и сведений, без которых невозможны повседневные связи дирекции института с важными инстанциями.

Школа политиков, о которых я, к сожалению, знаю мало. К ним относился **Гантман** с поиском фундаментальных основ политологической науки в отличие от конъюнктурной политической аналитики, Быков, Барановский, А.Арбатов, затем Косолапов и, может быть, будет, *если пойдёт по этому пути*, Ф.Войтоловский. Умерла многоцветная и энтузиастическая школа анализа развивающихся стран **Тягуненко -Эльянова** (её судьба ближе всего к судьбе школы Громова).

Школа Громова угасла, потому что она, несмотря на свою внешнюю агрессивность в постановке экономических проблем и "империалистические" тенденции, оказалась наиболее фундаментальной, экспериментальной, вследствие этого забегавшей далеко вперёд, поэтому менее востребованной, даже отторгаемой административными заказчиками, чуждой, неудобной или опасной им. Она же оказалась более ранимой, *наиболее нуждающейся в умной поддержке дирекции*, бескорыстной, наименее цепкой и карьерной. Она обнаружила недостаточную гибкость чтобы подстраиваться под конъюнктурные требования, неохотно шла на самоцензуру дорогих идей. Она, конечно, жила и за счёт того, что выдавала много текущего, полезного для института. Однако её любимые, младенчески незащищённые продукты часто оказывались административно неприемлемыми, неудобными и невостребованными. Именно здесь обнаружился принципиальный порок скособоченной структуры нашей экономики и общественного устройства с уродливо гиперразвитым государством-монополистом, а теперь ещё и с диким аморализмом частного капитала, с угнетённым общественным, гражданским сектором и слабостью конструктивного, творческого и предпринимательского участия населения в развитии страны.

Облик ИМЭМО невозможно отделить от личности его последовательно сменявшихся директоров. Одни формировали развитие института, обогащали его имидж и миссию, другие просто в меру сил пытались сохранить статус и специфику. Первый в ряду – **Арзуманян**. Ему принадлежит замысел и становление института нового типа, после- и антикультового и антидогматического, ориентированного на соревнование с западными аналитическими центрами, "think-танками" и на попытку радикального совершенствования советской экономической системы.

**Иноземцев**, на мой взгляд, главная фигура в истории ИМЭМО. При нём развитие института достигло высшей до сих пор точки. В бюрократической конструкции застоя, спокойной как минное поле, он ставил масштабные общегосударственные проблемы создания социализма с обновлённым лицом и начинкой. Он добился превращения института в элитарный, ведущий и признанный в мире центр экономико-политических исследований с уникально развитым "деревом" различных школ и направлений анализа мировой ситуации.

**Примаков** – в нём, несмотря на разнообразие его жизненного пути, органично и полно воплотились личностные черты, соответствующие духу института. При нём начались остро нацеленные ситуационные анализы по внешней и внешнеэкономической политике страны и другим проблемам. И чем бы он ни руководил впо-

следствии, он никогда не терял доверительных, тёплых, охранительных чувств по отношению к ИМЭМО.

**Яковлев** – использовал институт кратковременно как трамплин для горбачёвской перестройки и собственного участия в ней. Продолжил начатое Иноземцевым движение вверх Дынкина, что впоследствии позволило избежать опасности прихода "варяга" на должность директора института.

**Мартынов** – на его директорство выпала эпоха перестроечного застоя. Но сохранялась инерция института профессионалов, лучше, чем в других академических учреждениях, обстояло с защитной социальной ориентацией для них, с минимально выраженным своекорыстием в обстановке всеобщего разнузданного распила средств. Много вреда принесло его непонятное мне безграничное доверие к Н., конкретному лицу, развалившему исследования эффективности в институте. В то же время, с ним и с Дынкиным (который был тогда первым заместителем директора) связано возрождение программы долгосрочного прогнозирования. К моему удовлетворению, это сейчас системообразующее научное направление института началось с публикации нашего инициативного прогноза *социально-экономического* (в противовес чахлой цифири Льва Громова) развития США. В качестве позитива можно отметить директорские семинары, хотя они по организации процесса и уровню дискуссий отставали от известных академических аналогов в естественно-научных институтах.

**Симония** – его несколько лет можно охарактеризовать как период безвременья, инерции с уклоном в академическое благообразие, вращение в рутину академической системы. Рядом с этим наблюдался повышенный интерес к "нефтяным" проблемам. Продолжились кадровое оскудение института и задержка перемен, связанных с выдвинутым Дынкиным. В то же время Симония – единственный директор, который снисходил до участия в научных обсуждениях не в качестве председателя, а на равных, сидя в аудитории среди публики.

**Дынкин** – ему, выходцу из нашего, громовского отдела, выдвинутцу Иноземцева и Примакова, принадлежит *начатый почти с нуля* активный поиск путей возврата достигнутого при Иноземцеве статуса Института. По существу, ему первому в полномасштабном виде досталась миссия определить современное лицо института в условиях новой экономической и политической ситуации в стране, когда рассыпались привычные подпорки и методы руководства академическим учреждением. Этим оправдывается ставка на участие в разных компаниях и планах нашего двуглавого руководства, энергичнейшая погоня за востребованностью "на самом верху". Ярко выражена опора на политику, прогнозы, тематику "инновационности". Пока ещё эта деятельность имеет только что оформляющиеся долговременные контуры. Однако нужно признать, что интеллектуальный потенциал и публичный капитал института наращивается быстро. Уже три года ИМЭМО имеет лучшие в стране и вполне достойные в мире рейтинги среди исследовательских центров аналогичного профиля. Создание отделения международных исследований ещё более укрепило положение института в системе Российской Академии Наук.

После долгого перерыва возобновился приток новых кадров. Правда, огорчает то, что молодые сотрудники приходят сильно дезориентированные полученным формализованным и бессистемным, псевдопрагматическим, рыночно зашоренным образованием. Невольно вспоминается выход из похожей ситуации начала пятидесятых, когда директор ИМЭМО А.Арзуманян разыскивал и привлекал в институт уцелевшие в лагерях старые кадры для воздействия на дезориентированную сталинизмом молодёжь. Но тогда хоть некоторые учёные, хоть в лагерях, но всё же сохранились в ещё не преклонном возрасте.

Для возрождения стратегического тренда развития ИМЭМО необходимо осознать, что главные достижения института в прошлом были достигнуты не за счёт конъюнктурно-обслуживающих, тактических услуг "директивным органам", а инициативно, и по тем направлениям, где имелись солидные инновационные концептуальные заделы и соответственно те люди, которые персонализировали эти постановки. В этом ракурсе кричащим провалом смотрится структура экономической части Института. В ней нет ядра – *продолжения фундаментальных исследований оригинальной концепции социально-экономической эффективности*. От неё используются лишь осколки формулировок вроде "потребности", "ущерба". Но и это происходит наряду с рассуждениями, соединяющими несоединимое – например, понятия "*капитал*", которое генетически срослось со стоимостными, рыночными отношениями, и многогранного представления о *человеческом или социальном потенциале* страны.

Стоит всё же отметить, что подобное "стихийное" попадание в область современных представлений об эффективности происходит всё чаще. Потому что человекоцентричность развития, его комплексный, многоукладный характер, банкротство формалистичного теоретизирования и техницистской практики управления сложными системами, а тем более – выбором национальных приоритетов развития в успешных странах, а также тупиковый характер отечественной ситуации, буквально с каждым месяцем становятся очевиднее.

Поэтому можно уверенно констатировать, что **массовое** понимание человекоцентричной природы движителей развития стран в XXI веке, в нашей стране уже выходит из области "это всё абстрактно-лозунговые словопрения оторванных от жизни чудаков" и вступает в быстропреходящую фазу "в этом что-то есть", и находится накануне не то всеобщего прозрения, не то простого пассивного зачисления в обойму всем известных азбучных банальностей. К сожалению, нет уверенности, что у деятельной части населения нашей страны хватит энергии и профессионализма для реальных всесторонних преобразований, необходимых для того, чтобы сбросить интеллектуальные и моральные принципы, унаследованные из институциональной структуры советского прошлого и освоить новую систему современного, многоукладного и инновационного социально-экономического развития.

Явная синхронность прорех в структуре ИМЭМО и состояния дел во всей нашей стране бросается в глаза. И там, и здесь – одинаковые принципиальные провалы: фактически игнорируется стратегическая система определения *приоритетов развития*, основанная на выявлении полного размера социально-экономического народнохозяйственного ущерба от недооценки или игнорирования первичных жизненных потребностей. Это, казалось бы, инструментальное упущение с каждым годом становится всё более губительным, поскольку гигантская комплексная и по настоящему инновационная задача **спасения населения страны** привычно оттесняется разнообразными преходящими мероприятиями.

В народнохозяйственном масштабе человекоцентричный подход отодвинут произвольным, случайным, рекламно-коррупционным выбором направлений огромных вложений национальных ресурсов. Взамен социально-экономических критериев преобладают трудноискоренимый техницизм и кондóвая конъюнктурщина. Из нашей экономической стратегии исчезает ключевое понятие эффективности – социально-экономический **конечный результат** – то есть *удовлетворение жизненных потребностей населения страны*. Его место занял торжествующий самодостаточный **процесс** освоения, распила национальных ресурсов.

И в стране, и в ИМЭМО синхронно заброшены проблемы многообразных мотивационных механизмов *саморазвития* всех аспектов жизни общества. Одновременно и в связи с этим, в теоретической тени и практическом загоне остаются огромные специфичные возможности *синергетического взаимодействия* главных ук-

ладов современной *смешанной экономики*, то есть реструктуризации государственного и общественно-гражданского секторов, оздоровления сферы частного конкурентного предпринимательства, выдвижения на первый план проблем семейного и личностного, профессионального, культурного и нравственного развития людей.

Президент, министры, сотни учёных и бесчисленные здравомыслящие российские граждане знают, что наибольший, системный, ни с чем не сравнимый, и повседневный, и стратегический, ущерб нашей стране наносит деградация механизмов роста численности и хотя бы сохранения качества населения страны. Например, И.Юргенс, руководитель исследовательского центра, который считают близким к президенту страны, используя фундаментальные исследования социологов, определяет сложившуюся ситуацию в газете, рассчитанной на миллионы читателей, несомненно взвешенным, бетонобойно-зловещим понятием "*антропологическая катастрофа*"<sup>71</sup>. Кто обязан решиться дать первый толчок к непростому реальному повороту к этим проблемам, к коренным политико-экономическим изменениям? Здравый смысл, оправдание затрат на существование самого *института науки* подсказывают, что в системе "наука – практика" именно исследовательский поиск должен лидировать и брать на себя пионерный риск.

Набираемый темп развития ИМЭМО сохраняет надежду на то, что здравый смысл, осознание происходящих в мире цивилизационных перемен, наконец, старая добрая диалектика, победят формализм и технизм и снова поставят фундаментальные проблемы социально-экономической эффективности, продвижения человекоориентированных принципов определения народнохозяйственных приоритетов и *спасения человеческого потенциала страны* на ведущее место в структуре исследований Института.

Когда я перебираю наличных людей в поисках того, кто мог бы реально *возглавить* этот поворот, в голову не приходит никто, кроме самого руководителя института... Конечно, есть и за, и против. Последнее, впрочем, большей частью относится к прошлому. Да, инженерное образование. Да, типичное для атмосферы каторжной академической и другой перегрузки студентов в первом классе технического вуза, а также и во многом оправданное скептическое отношение к принудительным догматическим общественным наукам. Да, проходящая, но ещё наличная в сегодняшнем академическом окружении *мода*, заставляющая руководителей некоторых экономических институтов, подобно Есенину *за комсомолом, задрать штаны, бежать* за формалистическими и абстрактно рыночными построениями.

Этому противостоит, во-первых, гуманитарная основа характера, которая привела человека, успешно освоившего программу Московского авиационного института, в аспирантуру ИМЭМО. Во-вторых, может быть, сначала подспудное, но радиационно-стойкое воздействие среды "громовского" отдела с его социально-экономическим подходом к сложным диалектическим реалиям современного переходного и инновационного мира, который органически чужд рыночному мейнстриму. В-третьих, общий поворот мировой политики и науки в сторону от технизма и формалистики, осознание её уже зияющего расхождения со сложностями многоукладной и инновационной экономики и цивилизационного развития<sup>72</sup>. В четвёртых, он просто должен почувствовать стратегическую выгоду фундаментального вторжения института в *проблематику народнохозяйственной эффективности*. Это главное

<sup>71</sup> "Новая газета", 02-02-2011.

<sup>72</sup> Этот поворот можно проследить хотя бы по явным позитивным изменениям в оценке теоретического вклада Маркса в развитие экономической теории (и попутно идёт популяризация Шумпетера, переупаковывавшего на потребу капиталистической практике марксовы идеи инновационности и предпринимательства).

исследовательское поле теоретической экономики у нас сейчас пустует, вакантно (стоит только посмотреть заголовки в ведущих журналах). Многое зависит от того, кто первый из руководителей других институтов решится занять это место.

### **Немного заключительного самоанализа**

Оценивая свои собственные качества, я считаю, что от природы, может быть по наследству предков – *служащих* при деле и *служителей* Богу лишен обыкновенной материальной зависти к успешным, тем более руководящим людям и склонен своё отличие от них объяснять собственными свойствами и объективным стечением обстоятельств. Чему действительно тихо и безнадежно завидую, так это людям с недоразвитыми у меня способностями. Тем, у кого приличный музыкальный слух, реализованные способности игры на инструменте, кто свободно говорит на иностранном языке, спортивен, артистичен, блестящ и подобное в этом роде.

Способность людей в своих интересах пережевывать архаические концепции или всерьёз распубликовывать и оглашать формалистические упражнения вызывает у меня даже некоторое восхищение такого рода умением, которое напрочь у меня отсутствует. Мне кажется, что я понимаю житейские ситуационные мотивы такого рода поведения, но испытываю искреннее недоумение как можно жить более или менее разумному человеку с этой постоянной неестественной накруткой в голове и действиях? По какой такой причине нужно всё время уподобляться старомосковским барышням, которые, по Грибоедову, "словечка в простоте не скажут", и все проблемы представлять в натужном переводе на искусственный язык той или иной разновидности мейнстримовских учебников экономики?

Конечно, есть очевидные ответы – это вольная и невольная мимикрия под современного экономиста западного образца. Безусловно, уметь *делать это* в наше время широких свободных профессиональных контактов необходимо. Однако этот впитанный с молодых ногтей формализм мышления, порождённый образовательно-информационной спецификой 90-х годов, часто вытесняет здравый смысл качественных, диалектических способов понять сложные явления социально-экономической действительности.

На моей первой настоящей работе в Ростовском пединституте, а затем и в университете я попал в среду пожилых людей, кандидатов наук и доцентов (докторов и профессоров тогда на каждой кафедре было, как правило, по одному). Я до сих пор слабо представляю, какая судьба привела в это место этих скучных, серых людей с каким-то непонятным образованием и вполне равнодушных к своему занятию, тем более к тонкостям и к диалектическим красотам политэкономической теории. Невольно с недоумением, как нечто дурацкое с точки зрения простой рациональности управления системой, вспоминается моё собственное долгое, полное неопределённости утверждение в преподавательской должности. Ещё труднее пришлось жене, имевшей диплом с отличием по специальности преподавателя политической экономики, выданный профильным факультетом Московского университета. Ей пришлось работать сначала в ростовском вечернем техникуме, а затем лаборантом в кабинете политэкономии Института сельхозмашиностроения. Чтобы стать ассистентом этой кафедры, ей пришлось сдать кандидатские экзамены и подготовить диссертацию.



Долгое время мы, всё семейство, мыкались без квартиры<sup>73</sup>, но это ужасное состояние как-то не противопоставлялось тому, что было у других. Точно также я очень хорошо понимал, что фактически работаю, даже если считать только просто по времени, в два раза больше любого члена кафедры, а денег получаю почти в три раза меньше доцента. Но всё это никогда не выливалось в зависть к доцентам.

Единственным следствием или проявлением (их можно назвать эгоистическими) этого понимания стало то, что у меня появилась какая-то предпосылка будущего поведения, согласно которой я никогда не испытывал угрызений совести в те периоды, когда стал получать денег больше, чем мне полагалось по кандидатскому званию. (Надо с сожалением констатировать, что такой ренты было гораздо меньше, чем мы могли бы освоить без всякого роскошества). Словом, что само собой сваливалось, от того я не отказывался, подсознательно считая это как бы справедливым зачётом прошлых явных недоплат и недооценок.

Когда посторонние организации включали меня в списки различных комиссий, я, будучи почти всё время наибольшей востребованности кандидатом, всегда фигурировал как доктор и профессор. Сначала я, бывало, просил исправить, но скоро привык и плюнул на это. Хотя и сейчас мне поистине неприлично выступать в вузах, тем более в провинции, в качестве просто доктора, не профессора.

Как объяснить, откуда взялась эта свобода от обыкновенной, так сказать материально-должностной зависти? Некоторые причины, впрочем, лежат на поверхности. Это прежде всего обстановка детских лет, когда всё окружение ориентировало на простоту жизненных потребностей и отсутствие социальных амбиций. В дальнейшем военные передраги создали уникальную среду для закрепления привычки к простоте жизненных условий. Конечно, люди вокруг жили кто хуже, кто лучше, но как бы в одной категории, не демонстрировали претензий и не подавали примера, как выйти в другую социальную страту. Об этом притупляющем личные амбиции свойстве убогих обстоятельств начала жизни прекрасно знают в цивилизованном мире и стараются его избежать. Когда посетители восхищаются элегантною обустройством скандинавских школ, им объясняют, что это необходимо для того, чтобы дети рано впитали этот высокий стандарт и не мыслили свою дальнейшую жизнь без него.

Некоторую специфику создавало то, что мы из-за традиционного семейного занятия не физическим трудом, уже чувствовали себя выделяющимися в данной среде. Но при этом даже высшее образование выступало не как путь в более привилегированный слой, а как средство продолжения семейного обыкновения заниматься "интеллигентной" деятельностью, пусть в массовом, рядовом качестве. В отличие от многих выходцев из самого низа, знакомых и мне, и другим, которым именно тотальная приниженность заставляла прилагать энергичнейшие усилия, пробивая себе выход вверх, наша "особенность" играла некую убаюкивавшую, успокаивающую роль.

Далее, как-то стихийно, наряду с обычным, повседневно-практическим подходом, у меня образовалось внутреннее побуждение соотносить свое вознаграждение не с должностным заработком коллег, а с ощущением качества результатов собственной работы. Этот комплексный, крайне неустойчивый субстрат самооценки очень субъективен. У меня в него может входить интуитивное ощущение новизны

<sup>73</sup> Года два назад я впервые прочитал в одной книжке солидного иностранного автора душераздирающее документально-детальное описание того, как Маркса выгоняли с его трущобной ист-эндской квартиры в никуда, на ночь глядя, буквально выбрасывая вещи на улицу, денег на ломового извозчика не было, а беременная жена металась в поисках хотя бы тачки, чтобы погрузить на неё самое необходимое. Тогда у меня появилось к нему почти родственное, до боли знакомое соседски ленгородское сочувствие и понимание.

замысла, удовлетворение от хорошо подобранных аргументов, осмысленно красивой и трудоёмкой цифровой работы. Особенно весомыми представляются сформулированные руководства к действиям, которые, по моему суждению, должны бы кого-то убедить и принести практическую пользу. Ценятся элементы внешнего успеха по реакции окружающих. Засчитывается и приятность, когда видишь и чувствуешь, что твоя идея кого-то "цепляет". Интересная особенность данного критерия состоит в том, что он неотделим от "чувства глубокого удовлетворения", которое в той или иной мере оттесняет, может ослаблять остроту потребности в материальных выгодах.

Кроме этих "внутрипроцессуальных" соображений играет роль так же и ощущение себя как малой, но части честных тружеников своей страны. Вот у тебя в данный момент более или менее хорошо. А как там у них, у других? А там, как правило, не благополучно. Невольно возникает мысль, а не представляет ли собой арифметика в твою пользу вычет из того, что получают другие люди, чей реальный вклад в общественное благосостояние может быть большим, чем умозрительный твой.

Возможно, что такой критерий тянет на некий принцип: оценка своей зарплаты – дело не арифметических сопоставлений, а совести человека. Переходное двадцатилетие сильно подняло остроту этого принципа. В советские времена судить о соответствии зарплат было гораздо легче, чем сейчас, поскольку они были известны и фиксированы, фантастически неоправданного разрыва не было. Но уже в 90-х годах возникло острое ощущение нелепости ситуации, когда появились первые специалисты по обслуживанию перевода безналичных денег в наличные, "фирмотворчеству" и тому подобным операциям. Объявились наскоро сколоченные, бродячие "партизанские отряды", например, из сотрудников ЦЭМИ, мгновенно переключившихся с заоблачной ультра-социалистической СОФЭ (системы оптимального функционирования экономики) на составление бизнес планов. А затем как грибы возникли разнообразные институты возбуждённых специалистов по "рыночной экономике", подбирающих подачки от реальных рвачей собственности по-крупному, торговцев нефтью и иным имуществом страны, оказавшимся в один миг выморочным.

Конечным результатом оказавшейся объективно бессовестной практики "рыночников" (включая многих чиновников административной верхушки страны), стала коррупционная система управления, при которой страна превращается в "мировую сырьевую и энергетическую державу" с "мировым финансовым центром в Москве", с "мировым инновационным центром в Сколково", с будущим циклопическим, пустынным мостом через Тихий Океан во Владивостоке, Олимпиадой в Сочи, Первенством мира по футболу в 2018 году и так далее, и так далее, и тому подобное. Все грандиозные начинания такого рода были бы простительны (по крайней мере, не граничили столь близко с квалификациями криминального характера), если бы они не шли параллельно с развитием цивилизационной и антропологической катастрофы в нашей стране. Конечно, деятели сервильного "аналитического фронта" получают крохи сравнительно с акулами распила общественных средств, но гораздо больше, например, обычных учителей и врачей.

Как же в такой ситуации расценивать заработную плату "интеллектуальных получателей" описанного выше типа? Впечатление такое, что здесь субъективная нагрузка на совесть в целом находится в обратной пропорции с величиной денежного и иного вознаграждения. Сам я отчётливо и без всякого восторга сознаю, что также был, хотя пассивным и достаточно мелочным, но всё же получателем доли от распила богатств страны. Ну, хотя бы посредством участия в доходах от коммерческих арендаторов нашего институтского здания. Конечно, ни о какой зависти в отношении к аналитической службе олигархов и власти речь не идёт. Все-таки мы,

люди моего караса, имеем в характере что-то от "наших ребят" Высоцкого, которые "за ту же зарплату" готовы были с полной отдачей работать клюшкой, не обращая внимания на миллионные заработки коллег – канадских хоккеистов.

Помимо отсутствия "начальственного вещества", свойства описанного ранее в этом тексте, мой характер и поступки объясняет наличие специфического трудно-определимого качества, которое мне было присуще всегда. Название для него впервые отковали мои "сокомнатники" в легендарном общежитии на Стромынке, отборные провинциальные ребята-комсомольцы, студенты-экономисты уже на первом курсе, затем нюхом почувствовал Будагов и, наверно, другие природные начальники. Первое имя этому качеству было – **индивидуализм**. Это понятие я, наконец, после долгих поисков определяю здесь как *свойство, так или иначе, в разных проявлениях, не замечать общепринятое*. Сюда же я добавил бы ещё деловую разновидность – своего рода научно-служебный **максимализм**, мало считающийся с интересами и расчётами окружающих, готовый не думать об этой суете, видя только цели выполняемого проекта, *какими я их себе представляю, может быть правильно, может быть, ограничено или в чём-то ошибочно*. У меня, к сожалению, не только не лежит душа кропотливо соизмерять цель и средства, дозировать усилия и выход результатов, маневрировать в этом поле, но даже не хочется обучиться этому, в общем-то, нехитрому, но полезному для человека нашего коллектива и тем более для его начальника делу.

В этом же русле свойств характера находится *врождённое* уважительное отношение к профессиональным академическим правилам, не то чтобы очень сильное, но заметное в меру способностей, а иногда и нерационально преувеличиваемое. Само собой вышло и мне, признаюсь, всегда нравилось, что в моих текстах за всю жизнь оказалось не более двух, максимум, трёх таблиц, заимствованных (со ссылкой, конечно) из чужих работ. Не было даже взятых в готовом виде из статистических справочников. Все остальные были, так сказать, самодельные, сработанные из исходной статистики.

Наряду с тем, что я много настойчивости и труда приложил, работая с авторами в "своих" коллективных монографиях, и довольно удачно компоновал их главы в соответствии с концепцией книг, получилось так, что у меня практически никогда не было соавторов, и я не нуждался в них. Так же ещё ни разу не было, чтобы я воспользовался чужими "болванками" для своих отзывов или рецензий на работы других, равно как никогда не сочинял болванок для авторов отзывов на собственные. Должен признать, что особой заслуги во всём этом нет, поскольку чужие таблицы всегда как-то не вписывались в мой текст, а также оказалось, что я абсолютно, патологически неспособен ни сочинять, ни использовать "болваночные инструменты". Самое крайнее нарушение – это у рецензируемого автора или диссертанта, если он симпатичен, предварительно спросить о том, что он сам больше всего хотел бы увидеть отмеченным в отзыве на его работу. И здесь опять я невольно выхожу на связь личного и общественного.

С профессиональными критериями в общественных науках всегда обстояло достаточно скверно, но было время, когда видимость приличия всё же сохранялась. Ну, хотя бы стеснялись публичности. Сегодня поражает абсолютная открытость, массовость и бесстыдство выхолащивания академических процедур. Иногда просто жаль претендентов на академические звания, которые, изнывая от изобретательского напряжения, сочиняют весь обширный комплект квалификационных документов на свои диссертации, включая речи оппонентов и всевозможные отзывы. Недавно я получил письмецо от одного диссертанта, в котором наряду с благодарностью за отзыв упоминалось, что он был единственным, который не пришлось писать самому.

Конечно, от этого освобождена "элита", которая может оплатить весь процесс создания диссертации от начала и до завершения или переложить его на подчинённых. В каждом конкретном случае рождается как бы индивидуальный квант цинизма, вроде бы пустячок, просто преходящее неприятное дельце, но в результате возникает привычная, всеобщая, неприглядная совокупность. Для развития науки это равносильно отмене СНИП-ов в строительстве или требований сопромата в машиностроении. Из-за системности воспроизводства культуры и морали это, казалось бы, местное и приватное явление на самом деле выдвигается вперёд в обширный ряд причин деградации научно-преподавательских кадров – одной из ключевых частей каждого народа<sup>74</sup>.

Продолжая оценку своих качеств, отмечаю, что, к сожалению, мне всё время приходилось преодолевать (или страдать) от подспудного чувства провинциальной и личной неполноценности. До первой экзаменационной сессии я ходил по зданию Московского Университета с тайным опасением человека возможно попавшего сюда случайно, без уверенности в том, правомерно ли моё присутствие в этих исторических коридорах и на лестницах. То же чувство возникало и в ИМЭМО, может быть, как ни странно, с рудиментами до сих пор.

Должен сказать, я всё больше отдаю себе отчёт, что до сих пор, несмотря на полвека эксклюзивной работы в ИМЭМО, для меня остались закрытыми, как бы не существующими, важные области деятельности и жизни института, пружины и механизмы поведения людей и принятия решений в этой, на первый взгляд, простой, приличной и дружелюбной системе отношений. Можно, конечно, и так жить, но как-то иногда неловко, что некоторые люди рядом об этом знают больше, видят, понимают и оценивают окружающее по-другому, полнее, прагматичнее...

Каждый человек, по-видимому, имеет собственное представление, что такое карьера. И если в этом понимании присутствует готовность приложить честный труд, ни одна из таких трактовок не имеет преимуществ перед другой. У меня критерием является широта диапазона и уровень доступных мне функций в рамках чисто академических процессов выполнения аналитических работ и консультативно-преподавательской деятельности. Кроме того, в работе для меня жизненно важна прямая связь с руководителем учреждения или с заказчиком, даже если он не всегда соответствует идеалу. *Посредников не терплю. Практически всегда это телефон, либо несовершенный, нечувствительный, либо испорченный по разным субъективно-патологическим причинам.* Ступенчатая иерархия – порождение архаичных управленческих принципов – на сто процентов контрпродуктивна, она давит в зародыше инновационные поползновения, а часто и просто вытряхивает здравый смысл из так называемой "коллективной" деятельности, даже простой текущей.

Точно также я недолюбливаю и редакторов, так как считаю, что шероховатый текст (конечно, не всегда, но в принципе) лучше зализанного уже потому, что он несёт отпечаток личности автора, поэтому более информативен, притом не из психологического любопытства, а по делу, поскольку позволяет почувствовать уровень квалификации и степень искренности пишущего.

Должность главного научного сотрудника ИМЭМО, которая предусматривает непосредственное подчинение дирекции, по своему формальному статусу меня могла бы устроить полностью. Хорошо уже то, что находясь на ней, я чувствую себя

<sup>74</sup> Другой важный аспект – наше моральное отличие от Европы, которое живо ощущаешь, слушая сообщения из Германии, где для дельного *силовики*, министра обороны, перспективного политика, оказалось невозможным оставаться на государственной службе из-за обнаруженных в его диссертации заимствований. Забавно даже на миг представить, как бы поредели наши "научные кадры" с самого верха, если бы совесть, правовые императивы или, наконец, просто академическая добросовестность проявились бы, как у немцев, у российской "элиты"!

(при трезвом понимании своих слабых или, к сожалению, неразвившихся сторон и ограничений) ...*удачом на своём месте* (смотри расшифровку на странице 107) и от всей души надеюсь, что не являюсь жертвой "*принципа Питера*", согласно которому венец должностного продвижения того или иного индивида, как правило, располагается как раз на уровне его некомпетентности.

В полной гармонии с этим пониманием своего профессионального предназначения находится мои представления о нужных для него навыках и средствах. У меня, как правило, не хватало и духа, и умения возложить технические обязанности на младших сотрудников или лаборантов. Единственным возможным путём наименьшего сопротивления стало самому освоить и поиск, и счёт и печать своих собственных работ. Затраченное на обучение время дало важные побочные результаты: во-первых, независимость от капризов лаборанток и машинисток, неизбежных даже для многих слабохарактерных начальников. Во-вторых, во время счёта и печати контролируется качество и появляются мысли. В-третьих, может быть, самое важное – информационная техника наложила на меня кардинальный отпечаток, самым существенным образом изменила мою не только профессиональную, но и повседневную жизнь. В частности, знакомство с ней – это сильный инструмент, позволяющий без скидок общаться с задиристыми представителями младших поколений.

Я научился печатать на машинке вслепую пятью пальцами поздно, но ещё в докомпьютерные времена, а последний страх перед цифирью потерял с появлением первых калькуляторов. Без колебаний записался в кружок компьютерной грамотности, прошел весь путь "апгредера" от самого первого легендарного маленького черно-белого компа ХТ с операционной системой Микрософт ДОС до сегодняшнего ноута с процессором Intel Core i 5 и седьмым Виндом, плюс еще двух вполне приличных других в домашнем парке, не считая старьё на даче. От самых первых в России писем по электронной почте в начале 90-х годов пришёл к безлимитному и беспроводному интернету. До недавнего времени я сам мог исправить собственные компьютерные срывы и сбои, по опыту зная, что если я не могу устранить какую-либо техническую или программную неполадку, то с этим не справится также ни один молодой любитель в доступном мне окружении. Хочется надеяться, что моё, начавшееся уже в двадцать первом веке, отставание от притока харда и софта вызвано не только возрастом, но и ошеломительным динамизмом и особенно разветвлением современного инновационного фронта ай-ти.

Анализируя своё поведение, отмечаю, что вместо того, чтобы предпринимать те или иные "карьерные" (в моей, данной только что, интерпретации этого понятия) шаги после каждого академического успеха, я предпочитал ждать, пока *сами предложат*, что по моему суждению, должны бы были сделать (как в своё время Иноземцев) квалифицированные руководители, для которых это подразумевают прямые должностные обязанности. На деле оказалось, что им это в очень многих случаях или в голову не приходит или там тормозится. Как я домыслил недавно, подвело меня, в частности, и слабое знакомство с азами вечной римской юриспруденции, согласно которой лицо, имеющее право, должно само заботиться об его осуществлении. Имеется, по крайней мере, ещё одна причина, догадаться о которой можно по предшествующему тексту.

Самая большая и неоправданная потеря состоит в том, что я оказался в институте без аспирантов (далеко в прошлом остались Капелюшников, Кольчугина, Зарецкая ...) и без лекций для аспирантов, соответственно и без профессорского звания, несмотря на почти десятилетний стаж успешного преподавания. Читать лекции в институте мне никто не предлагал, кроме Льва Любимова, с подачи которого я провёл насыщенный и, по-моему, изящный авторский спецкурс для заведующих экономическими кафедрами вузов России по всей логике категорий человекоцен-

тричной модели современного воспроизводства. Рядом другие лекторы натужно объясняли им азбучные модели "микро" и "макро". На аспирантские экзамены меня приглашать перестали вскоре после того, как я по неосведомлённости нарушил систему неформальной оценки некоторых претендентов. Всех моих старых аспирантов я сам отыскал и привёл в институт.

Когда Громов объяснял мне в 1973 году вред предложенного Иноземцевым моего скоропалительного повышения в должности, он оказался во многом прав. Так произошло, когда меня оттеснили от начавшегося вполне естественно и успешно занятия *экономикой сферы науки*, то есть от дела теоретически и практически родственного моей образовательной тематике. Именно с НИОКР пошло моё писание аналитических материалов в "директивные органы" ещё до начала аналогичной работы по образованию.

Вскоре после моего прихода в Институт заместитель директора Аболтин вызвал нас с Володей Масленниковым и дал задание написать "записку" для ЦК КПСС, в которой нужно было сопоставить затраты на исследования и разработки в СССР и США. Ощущение некоторого неправдоподобия ситуации возникло не только у меня, что вполне понятно, но и у Масленникова, выходца из совсем другой среды, жившего в *Доме на набережной*. Кто мы и где ЦК, как могут без уничижительности совместиться наши кустарные аспирантские потуги с отточенным знанием легиона высоких, специально бдящих профессионалов Инстанции, от глаз которых не может уйти ни одна подробность не только явной, но и секретной жизни страны! Аболтин это увидел, понял и по отечески приободрил нас в том плане, что не боги, мол, горшки обжигают.

И мы, заручившись соответствующим официальным письмом, явились в Центральное Статуправление. Там, как и ожидалось, служащие, за надутую важностью которых проглядывал органически въевшийся должностной страх, отказались предъявить хоть что-нибудь, что позволило бы заглянуть внутрь нескольких "голеньких" цифр, опубликованных для общего сведения в сборнике "Народное хозяйство СССР".<sup>75</sup> Пошли в Министерство финансов. Это был, конечно, колоритный опыт. Мы переходили из комнаты в комнату, где служащие, курирующие отрасли промышленности, сначала немного оторопев от наших притязаний, затем часто искренне вовлекались в игру поиска, вываливали из ящиков своих столов заполненные чернилами пустографки разной степени ветхости, ползали по бесконечным строчкам расходов, пытаясь выловить признаки чего-нибудь научного. Должен сказать, что во время этих занятий у меня в голове невольно всплывали аналогии – воспоминания о посиделках с упомянутыми выше колхозными бухгалтерами Ростовской области.

Заключительным аккордом была дружелюбно неформальная аудиенция у молодого, неожиданно для тех времён энергично-открытого заместителя министра финансов (его известную тогда фамилию намертво забыл), который охотно признал, что реальной полной цифры расходов СССР на науку никто не знает и знать в принципе не может. Это направление моей работы долго не прерывалось. Два раза меня вызывал академик Котельников, тогда первый вице-президент Академии. В его бело-зелёном кабинете я провёл несколько часов, помогая ему дотошно и докумен-

<sup>75</sup> На меня произвела сильное впечатление чудесная метаморфоза в поведении тех же самых людей, когда через пару лет я пришёл в этот отдел не каким-то научным сотрудником, а как человек другого мира, отбывающий на работу за границу, в Париж, в статистическую службу ЮНЕСКО. Я только сидел в кабинете заведующего, а они чуть ли ни бегом подносили все методики и макеты таблиц, по которым можно было долгое время судить о наличии или составе тех или иных конкретных данных.

тально разобраться в соотношении ресурсного и кадрового обеспечения науки в СССР и США. В качестве работника института присутствовал на заседаниях Президиума АН в знаменитом белом зале, где довелось слушать Александра, старого Капицу, Келдыша.

Если заниматься экономикой образования с его заведомо скудными средствами и властными связями мне никто не мешал, то исследование сферы науки – другое дело. Здесь был выход на кровные интересы Президиума Академии и Отделения общественных наук. Здесь была прямая связь и с более высокими сферами, с ВПК и его денежными потоками. А я вёл себя как индивидуалист с империалистическими замашками, задумавший подгрести под себя кроме образования ещё и науку. В качестве инструмента против этого безобразия выступил уже упомянутый выше Б.К. На обсуждении прогноза тенденций развития научной сферы в дирекции он развесил десяток устремлённых ввысь цветных графиков и диаграмм, иллюстрирующих легковесную, но необыкновенно модную тогда среди "научковедов" концепцию об "экспоненциальном" (в их понимании это читалось как "безудержно-триумфальном") росте численности научных кадров и затрат.

Против этого живописно-математического великолепия был мой скромный тезис о назревшем переломе тенденций. Он был оценён руководителем собрания как странный, наивный, и главное, подспудное – не соответствующий очевидной прямолинейной задаче – обосновать дальнейшее увеличение государственных ассигнований на науку. (На тот момент они были в СССР, благодаря военному компоненту, *относительно* выше, чем в США и всех других странах). А через полгода, когда "экспоненциальный туман" рассеялся и это стало всем понятным, Б.К. отшутился, заместитель директора отстранился. Но дело было сделано, я остался "специалистом по образованию". Пришлось затратить немалые усилия, чтобы преодолеть этот ярлык и вернуть своё место в сфере изучения социально-экономической эффективности<sup>76</sup>.

А в этой центральной области политической экономии разделение исследования сфер Науки и Образования совершенно неподвластно "административному ресурсу", поскольку научная и образовательная деятельность являются в принципе близкими по своей природе процессами, составляющими *образовательно-научный комплекс* страны и глобального мира. Их непосредственным результатом является наращивание качества различных аспектов *человеческого потенциала* страны в разных формах. Эти формы различаются лишь составом субъектов деятельности, целевой направленностью, уровнем сложности и тому подобной концептуальной спецификой. А это – совсем другой жанр, чем набирать, обобщать и систематизировать свежий фактический материал. Его, конечно, можно как угодно разграничить и специализировать и по науке, и по образованию, и по обувной или другой промышленности в равной мере.

В том же ключе мне сейчас иногда приходится объяснять, что мониторингом и прогнозированием Соединённых Штатов я занимаюсь не как "американист", "страновик" (есть такая категория, для которой, по распространённому мнению, характерна встроенная розовая необъективность, порождаемая чувством любви к избранной стране), а как экономист широкого профиля со специализацией по общим

<sup>76</sup> За последние два десятка неблагоприятных для фундаментальной науки лет, если считать по-крупному, я опубликовал по этой тематике статьи, две книги, был автором и руководителем еще в пяти коллективных монографиях, посвященных трактовке эффективности в условиях человекоцентричной парадигмы современного цивилизационного развития. Можно было бы сделать больше, если бы не мешали усиливающаяся с возрастом скованность, а самое главное – неостребованность данной тематики в общей атмосфере рыночного беспредела, сырьевого изживенчества, коррупционной халявы и атрофии государственной стратегии нормального развития страны.

проблемам обеспечения социально-экономической эффективности развития в постиндустриальную эпоху. И если страдаю каким-то необъективным пристрастием, то только в отношении к общим для всех стран закономерностям развития западной цивилизационной модели двадцать первого века. А с тем фактом, что США волей истории являются самым подходящим, наиболее универсальным полигоном для проявления этих закономерностей, мои склонности никакой связи не имеют.

### Три опорных момента уникальности исторической роли Ульянова (Ленина).

*А романтики – это люди, которые, как люди вроде бы хорошие. Но на самом деле они гораздо вреднее циников. Потому что циник, он для достижения своих целей через многое переступит. Он может убить кого-нибудь. Но он не убьёт лишнего, он подумает: "Зачем? Это мне не мешает". А романтик на всякий случай уничтожает огромное количество людей для того, чтобы всё перевернуть и построить такие дворцы будущего. (В.Войнович на Эхе Москвы).*

Так получилось, что трагическая история безжалостного уничтожения двух коренных, интеллигентных, больших и жизнеспособных российских семей, моих родных – Куренных и Алексеевых, выхваченная случайно из океана аналогичных человеческих судеб, оказалась для меня намертво связанной с уникальными волевыми действиями этого человека. Я не вижу ни малейших оснований, которые поколебали бы материалистически- детерминационную марксову теорию формационного развития, как результата взаимодействия сил и отношений воспроизводства материальной и духовной жизни человека и общества. Несчастная российская история служит лучшим подтверждением её правильности по способу доказательства "от противного". Но, с другой стороны, из этой теории нигде не вытекает, что те или иные личности не могут иметь позитивного или рокового воздействия на конкретные исторические события или даже на судьбы тех или иных стран.

Для того, чтобы правильно позиционировать содержание данной части

#### Ульянов в Новочеркаске



мемуара, следует твёрдо придерживаться того, что автор никоим образом не стремится к общим оценкам роли рассматриваемых деятелей, которые можно найти в поистине огромных массивах остро противоречивой литературы о Ленине и Марксе. Более того, он сознательно не участвует в уже сложившихся дискуссиях и предлагает только узкое, точечное, сугубо конкретное и проверяемое, к тому же, насколько мне известно, ранее не высказанное мнение по двум просто поставленным

вопросам. *Первый* – о трёх уникальных моментах в деятельности Ленина, *второй* – по конкретной, но чреватой важными и долговременными последствиями теоретиче-



ской ошибке Маркса на нескольких страницах первого тома Капитала.<sup>77</sup> Поэтому и комментарии, если они возникнут, будут иметь смысл не по общим безбрежным вопросам, а строго по проверке степени уникальности трёх ленинских решений и по рассмотрению роли *органического состава* в логике марксового Капитала.

В истории России, в жизни российских людей и в личной биографии Ульянова, по моему мнению, имеются *три особых момента соприкосновения*, три поворотных конкретных события (точки выбора направлений дальнейшего развития, *бифуркации*, говоря лошадино-птичьим языком некоторых наук), которые раз за разом немудрено сужали диапазон возможностей исторического выбора для нашей страны и в итоге исковеркали её естественное развитие. Оно, конечно, было далеко не безобразным, может быть более выдающимся по количеству безобразий и жестокости по сравнению с остальной Европой, но качественно всё же вполне сопоставимым с ней в этом отношении.

*Первое* из этих событий – организация Лениным большевизма, "партии нового типа" на втором съезде РСДРП в 1903 году. *Второе* – его приезд в Россию весной 1917 года из прозябания в Швейцарии с Апрельскими тезисами перерастания буржуазной революции в социалистическую. И, наконец, *третье* – инициализация победоносного вооружённого переворота 25 октября 1917 года и выбор его временной точки (помните – только сегодня, завтра будет поздно!).

*Нерв моей аргументации* состоит в том, что во всех этих трёх случаях необходимость или возможность, даже сама представимость каждого такого конкретного и специфического поворота событий не приходила в голову ни одному из действующих вокруг Ульянова влиятельных политических персонажей. *И такая возможность, и конкретный результат, и дальнейшее развитие были неожиданны для окружающих деятелей и были выдвинуты Ульяновым, навязаны им волей Ульянова и выполнены под его поистине энергичнейшим практическим руководством.*

Конечно, легко найти и другие мрачные судьбоносные решения под эгидой этого деятеля, например, разгон Учредительного собрания или расстрел царской семьи, или другие волонтаристские и палаческие деяния, но они, в отличие от трёх названных, были уже в струе коллективно сформированных необратимых процессов. Для доказательства выдвинутого мной тезиса не требуется детализировать картину и нагромождать подробности. Как говорится, "необходимо и достаточно" того, что во всех приведённых выше трёх случаях *не было в наличии какой-нибудь другой индивидуальной или организованной воли*, которая инициировала бы названные, оказавшиеся зловещими *конкретные мероприятия*, поворотные для судьбы конкретной страны – России (а позже, вследствие её роли в XX веке – для всего мира) и отличающие её вектор развития от других сопоставимых стран.

Невежественные массы, которые поддержали организацию большевиков, выступали в качестве материала, маргинального, задавленного несчастьями войны и безобразиями царского режима. Они шли за популистскими лозунгами (а потом вдобавок их гнала вперёд мощная, изошрённая в многообразии средств насилия советская партийно-государственная машина), не имея ни малейшего представления

<sup>77</sup> Для понимания эмоциональной окраски текста необходимо учитывать особенность индивидуальной судьбы автора, который остался на многие десятилетия в жизненном одиночестве, как случайно уцелевший представитель мужской половины двух огромных семей священнослужителей в донском казачьем регионе, истребленных в результате событий октябрьской революции и осуществлённой навязчивой идеи Ленина о превращении империалистической войны в войну гражданскую. Этот настрой прошёл мою неоднократную самопроверку насчёт того, а не повисит ли уровень толерантности и политкорректности в отношении Ульянова и Джугашвили. Во всех случаях и до сих пор результатом было обдуманное, абсолютно спокойное и убеждённое – *нет. Нет оснований, не заслуживают.*

об их близко грядущей реальной начинке – о гражданской войне, военном коммунизме, правительстве группы властолюбивых фанатичных дилетантов, о ВЧК и Гулаге, об индустриализации, коллективизации, милитаризации страны и т.д., и т.д.

Этот путь, по которому пошла Россия, был для неё вовсе не обязательным, чем угодно, но *не исторически детерминированным по любым формационным или цивилизационным теориям*. Его уникальные конкретные формы невозможно было бы представить даже в страшном сне. (Вспомним для сравнения знаменитый псевдоидиллический "сон Веры Павловны" со швейными машинками из того произведения с часто упоминаемым названием "Что делать?", которое, по его собственным словам, "перепахало" молодого Ульянова).

Любой другой мыслимый путь России в том нормальном историческом русле, в которое она через семь десятков лет плюхнулась обратно в испоганенном и обезлюдившем виде, путь под любым другим водительством, безусловно, тоже был бы вымощен страданиями. Но он был бы иным, без железной последовательности упомянутых выше невообразимых конкретно-специфических событий. Никакой детерминированности этих событий не было, это была стопроцентная историческая неожиданность, непредсказуемый зигзаг, взбрык, нечто по своему итоговому типу вроде режима Пол Пота, который на глазах у изумлённого мирового сообщества успел забить мотыгами в небольшой Камбодже несколько миллионов жителей, а затем провалился в историческое небытие. (Это, конечно, по масштабам, внутренней сложности и по историческим последствиям по сравнению с нами – микро-пример). Такие ответвления развития – тупиковые и, безусловно, временного характера.

Неизбежная сторона проблемы Ульянова – его человеческий моральный облик, как выходца из среды российской интеллигенции. В данном аспекте он выступает как один из выдающихся отщепенцев. Поясню: Ульянов действительно был умником, воспитанным в порядочной, культурной провинциальной семье, был образованным правоведом, экономистом, мыслителем, литератором. Ему принадлежат капитальные учёные труды, многие разумные идеи, формулировки, оценки и даже вполне корректные высокоморальные и патриотические сентенции.

Отщепенец же – потому что никто из известных, тем более великих просвещённых россиян не стал фанатичным и сознательным палачом своего народа и просто убийцей людей по социальным и религиозным критериям, по соображениям политической выгоды и самосохранения. В нём поражает смесь качеств человека западной культурной формации с "генетическим кодом" пугачёвщины и нечаевщины, с диким наследием анонимного маргинала известного лозунгом "к топору зовите Русь". Не вдаваясь в широко известные детали, сошлюсь на то, что касается моих предков, родных и через их судьбу лично меня – искоренение казачества, истребление духовенства, побоища крестьянства. Обращаясь к словам Войновича в эпитафии, Ульянов в нравственном отношении представляет собой "циника" с людоедским размахом "романтика", помноженных на мощную энергию фанатизма талантливо-креативного властолюбца, одержимого **почти**<sup>78</sup> безупречной (надо отдать ей справедливость) системой логики первого тома "Капитала" Маркса.

И, наконец, о связке "Ульянов-Джугашвили". Владимир Ульянов является фактическим родоначальником практики *произвольной передачи власти*. Вспомним, что в своём "завещании" он строго отчитывает всех "соратников" за "антимарксистские" ошибки и "уклоны" от партийной линии, и только говоря о Джугашвили не находит ни одного **политического** изъяна у своего продолжателя. Он отмечает его властно-административные амбиции и "грубость" в отношении к товарищам (конечно, сразу вспоминается матерщина в адрес Надежды Константиновны). Вспомним

<sup>78</sup> Смотри далее об ошибке Карла Маркса в "Капитале".

также и "алаверды" Ульянову от Джугашвили – "великий Ленин *завещал* нам держать высоко и хранить в чистоте высокое звание члена партии"... и т.д. Или вполне честное: "Что касается меня – я только ученик Ленина. И цель всей моей жизни – быть достойным его учеником". И всё же, как бы ни был мерзок Джугашвили, именно Ульянову среди мрачных злодеев истории человечества принадлежит пальма первенства по абсолютным масштабам гибели и страданий людей...

Многочисленные, ставшие сейчас известными бесспорные документы о деятельности этих двух лиц, повязанных в истории России "одной верёвочкой", содержат полное юридическое основание, чтобы начать против них обычный **уголовный судебный процесс** об индивидуальном и массовом человекоубийстве, не говоря о трибунале, подобном Нюрнбергскому. Такой вывод некоторым людям может показаться чрезмерным. Но в наше быстротекущее время с каждым днём он будет становиться всё более привычным и обыденным.

Это произойдет по ряду различных, в конечном счёте, неодолимых причин. Самая очевидная из них – естественное движение возрастной пирамиды российского населения: совсем скоро окончательно уйдет военное и потеснятся советские поколения. В какой-то частной мере действие этого фактора является не прямолинейным и управляемым. Экономические болезни страны, зашкаливающее социально-экономическое неравенство порождают ностальгические иллюзии у масс населения. Эти настроения поддерживаются активным воздействием со стороны различных политических сил, располагающих идеологическими учреждениями и средствами массовой информации. Однако эти влияния являются только тормозящими и временными.

Главной причиной, определяющей критическую важность исторического прозрения российского народа, является тот объективно неизбежный факт, что ближайшие десятилетия XXI века для всего мира будут невиданно инновационными, не только в научно-техническом и в социальном смысле, но также в области международных отношений. Как следствие неравномерности развития и его неоднородности стремительно формируется новая глобальная ситуация, в которой на повестку дня мировой политики станет жёсткий *перedel богатств*, произвольно разбросанных природой на *мировых территориях*, в соответствии с реальным потенциалом стран и цивилизаций. В этой борьбе худосочные державные амбиции, равно как и допинг фальсифицированных воспоминаний об имперском прошлом, окажутся не более, чем смешным щёконадувательством (если, конечно, забыть про достаточные для наступления глобальной "ядерной зимы" запасы ядерных головок).

Российская Федерация не сможет выжить без того, чтобы отбросить заско-рузлый, застойный жупел изоляционистского недоверия и подозрительности в отношении цивилизационно родственных западных стран и одновременно сконцентрировать национальные приоритеты на сохранении и повышении качественных характеристик населения страны. Только такого рода усилия дают надежду получить пропуск в круг постиндустриальных, демократических стран мира. Уход от принятия коренных стратегических решений – это позиция страуса, особенно неприглядная перед лицом мировых изменений, которые очень скоро полномерно вторгнутся в историческую судьбу государства и в будущее каждой российской семьи.

### **Ошибка логики Карла Маркса, её личные и исторические последствия**

Обобщая опыт нашей жизни недавних лет, трудно уйти от мысли, что над двумя рассмотренными выше тягостно близкими к нам историческими личностями двадцатого столетия незримо витает образ невольного объекта их идейного поклонения. Проступает загадочная и противоречивая львиная голова могучего персонажа

позапрошлого века (и может быть просит о прощении за их деяния). Как же произошло, что гениальный и вдохновенный, нищий лондонский учёный-гуманист и борец против социальной несправедливости (вместе со своим столь же талантливым и легкомысленным другом Энгельсом) через полвека после смерти угодил в медальный ряд чеканных профилей злодеев человечества? Вопрос, конечно, может сходу показаться неправомерным, но есть у Маркса одна *дефектная деталь в логике*, делающая эту загадку похожей на *ларчик*, который *просто открывался*.

Рассматривая марксову экономическую концепцию, я нахожу в ней одну вполне конкретную и, казалось бы, не очень большую ошибку. Но, как говорится, *мал золотник да дорог*. Именно она сыграла невероятную, поистине фантазмагорическую роль: она навсегда "раздвоила" судьбу теоретико-экономической логики Маркса и всего его научного и исторического наследия. Этим несущим теоретическим звеном, которое оказалось откровенно ошибочным, является **концепция безудержного роста** уникальной марксовской категории, специально им изобретенной и взлелеянной - так называемого **"органического состава" капитала**.

Разберёмся, что же произошло в этом месте творческого процесса создателя революционной теории? Сегодня сделать это не так уж трудно.

Расследование того, что представляет собой *органический состав* начинается со вполне прозрачного, лёгкого разделения или каждого, или всего совокупного производственного капитала страны на две простейшие и очевидные части: одна затрачивается на средства производства – машины, здания и т.п., другая же идёт на оплату наёмных работников. В первом приближении органическое строение является простым соотношением рабочих и машин по издержкам на них, по их стоимости. Легко представить, что эти процентные стоимостные соотношения со временем могут меняться по многим разным причинам, например, когда просто изменяются цены.

И вот, первая, пока еще безобидная марксова *"фишка"* состоит в том, что в понятие *органического состава* он "зачисляет" **только те изменения, которые были вызваны сдвигами в технике, техническим прогрессом; любые другие не принимаются во внимание как ненужные**. До сих пор в этом рассуждении нет абсолютно ничего некорректного, тем более – недопустимого.

Однако здесь на сцене появляется вторая, главная, *злокозненная фишка*, для которой всё предыдущее было лишь прелюдией. Дело в том, что достигнутая концентрация логики на *техническом прогрессе* позволяет Марксу утверждать, что доля зарплаты с течением времени становится всё меньше, а доля машин – больше. Машины повсеместно вытесняют рабочих, то есть выбрасывают наёмных работников в *безвариантную и безнадежную пропасть хронической массовой безработицы*.

Творец Системы вольно или невольно **должен** как бы не замечать, что каждое предприятие, каждое рабочее место находятся в окружении других отраслей и сфер всей экономики страны. А в ней поле занятости для наёмных работников постоянно расширяется. Вокруг все время возникают новые возможности трудоустройства, которые как бы *компенсируют* конкретные случаи вытеснения рабочих машинами. *Закрывая на это глаза, Маркс тем самым переносит результаты наблюдения за вытеснением людей машинами на рабочем месте, на отдельном предприятии, где технический прогресс делает реальным даже безлюдное производство, в совсем другую сферу – на уровень всей экономики страны, где возможности занятости постоянно расширяются...*

Вследствие этого и создаётся в марксовской логике *теоретическая иллюзия* нарастающего *безысходного* вытеснения всех масс рабочих как бы в армию безработных. А на самом деле фактическая ситуация иная: рядом с вытесняемыми производителями, в других народнохозяйственных звеньях возникает масса рабочих мест

для их социальных близнецов – наёмных работников таких же или иных профессий и специальностей. Поэтому состав всего суммарного капитала страны ведёт себя совершенно по-другому, чем на отдельном рабочем месте, в цеху, на фабрике. Исторически он долгое время был стабилен, а в наше время затраты на человека вообще доминируют и растут быстрее, чем затраты на средства производства.

Трагедия Маркса как учёного и, возможно, его личная проблема оказалась в том, что *без этой провальной ошибки было бы невозможно обосновать венчающий "Капитал" вывод о неизбежности революционной экспроприации экспроприаторов*. А для Маркса как человека, как мыслителя и деятеля, этот вывод был самым дорогим собственным достижением. И хотя факт "компенсации" процесса вытеснения рабочих из производства, то есть постоянного антивоздействия на рост безработицы за счёт расширения народнохозяйственного поля занятости не был в позапрошлом веке так очевиден, как в наше время, гениальный Маркс чувствует эту слабину. Но он поставлен перед неумолимым **выбором**: или первое – закрыть глаза на этот факт реальности, доказать "призрачность" народнохозяйственной компенсации вытесненных техническим прогрессом рабочих мест для наёмного труда. Или второе – признать, что положение наёмных работников вовсе не безысходно, занятость растёт, безработица создаёт страдания, трудности и проблемы, но носит в основном временный, текучий преодолеваемый характер.

Но что значило для Маркса сделать это *второе*? – Это значило согласиться на то, что капитализм не безвыходен, более того, может оказаться жизнеспособным. Это значило отказаться от чеканной логики, доказывающей существование созданного в голове Маркса **Всеобщего Закона Капиталистического Накопления** и его железного следствия – **Абсолютного и Относительного Обнищания Рабочего Класса** под давлением разбухания **неотвратимой всепожирающей хронической массовой безработицы**, несущей такие страдания и отчаяние, которые неизбежно перерастают только в очищающий гнев **Всемирной Пролетарской Революции**.

Как видно, деваться Марксу, который к тому времени уже был скован как Прометей феерической конструкцией **Коммунистического Манифеста**, некуда. И вот, мы видим, как вопреки истине, он обрушивает на *"буржуазную теорию компенсации"* весь свой могучий полемический талант, который в данном случае бессилён...

Любопытно и немного смешно, что на удочку этой ошибки с "ростом органического состава" капитала попался в молодости и наш Ульянов. В одной из своих первых статей он решил ещё ярче, чем учитель, показать неизбежность обнищания пролетариата и ввёл этот фактор в марксовы схемы расширенного воспроизводства. (*Этого простейшего, казалось бы, выигрышного шага, сам Маркс не сделал*). Ульянов, правда, тоже (или благоразумно, или времени не было), ограничился только одним-двумя (точно не помню) ближайшими годовыми циклами. Впоследствии критики немало потешались, немного продлевая процесс и демонстрируя очевидную нелепость этой провальной гипотезы.

Но на этом печальная история "органического состава", к сожалению, не кончается. В советские времена он стал своего рода "священной коровой" вузовского курса политэкономии, оселком для испытания способностей не только студентов, но и преподавателей, и многих диссертантов. Далек не каждый мог подняться до "единственно правильного" понимания этой ухищрённой категории.

*Но она была востребована.* Помимо рассмотренных выше антикапиталистических идеологических соображений, было невозможно не понимать, что именно она лежит где-то в глубине обоснования и оправдания *стержневой догмы экономической доктрины СССР* – так называемого **Закона Преимущественного Роста Производства Средств Производства** по отношению к отраслям *"второй свежес-*

сти", производящим **предметы потребления** для трудящихся, для населения страны. Советская власть должна была убедить народ, что убогий уровень его жизни, постоянные дефициты простейшего и необходимого, (*Булгаков-Воланд: у вас чего ни хватишься, ничего нет*) вызваны не её действиями, а "объективными закономерностями" развития экономики и общества.

Однако в отличие от Ульянова и от *внушительной вереницы практически всех самых видных советских экономистов*<sup>79</sup>, у Карла Маркса было много веских, смягчающих его "вину" объективных и субъективных обстоятельств, в том числе и нравственного характера. **Во-первых**, в его времена материальное, прежде всего промышленное, производство доминировало в народнохозяйственной структуре и оставляло мало места для других, более трудоёмких отраслей – услуг, торговли, финансов, не говоря уже о социальной сфере. В этих условиях масштабное социальное исследование Энгельса о бедственном положении рабочего класса в Англии, так же как и его собственный, тщательно документированный обзор страданий промышленных рабочих в 13 главе "Капитала", вполне могли служить впечатляющим подтверждением "теории обнищания".

Маркс жил в тесном мире равномерно развитых капиталистических стран с активным рабочим движением и постоянными буржуазными революциями. Эти бурные события давали ему повод то и дело наступать на одни и те же грабли, когда он почти в каждой из них искал и видел начало пролетарской революции. Данная ситуация весьма адекватно отражена в одном из самых осмысленных отечественных анекдотов о том, что "доктор" Маркс принял детские болезни капитализма за признаки его старческого бессилия и скорой гибели.

**Во-вторых**, он крайне отрицательно относился к возможности социалистической революции в слаборазвитых странах, не без основания предупреждая, что такого рода эскапада может привести к крайним формам злодеяний и мракобесия. Думаю, что ему была бы малопривлекательна мысль о том, что какая-то отсталая страна может сыграть лидирующую роль в отношении цивилизованного Запада, выступив в качестве жертвенного детонатора всемирной пролетарской революции. В частности, в отношении России он в виде исключения допускал совершенно особый, как бы адаптированный для крестьянской страны, путь перехода к социализму через длительную и постепенную трансформацию отношений нашей сельской общины.

**В-третьих**, предвидя возможные бедствия гражданских конфликтов и войн вследствие ожесточённого сопротивления буржуазии и желая избежать их, он обдумывал возможность для рабочего класса развитых стран "*откупиться от этой банды*" капиталистов.

**Наконец**, личность Маркса не запятнана участием в кровавых катаклизмах и в террористических авантюрах. Он был и остаётся великим учёным, экономистом и философом, мыслителем, открытия которого не теряют актуальности и в наши дни. Наоборот, со временем происходит всё большее (и, как оказалось, вполне корректное) отделение его цивилизационных и гуманитарных прозрений, фундаментальных экономических и философских концепций от не оправдавшихся утопических прогнозов, конъюнктурных публикаций и мелких политических шагов.

Таким образом, советская политико-идеологическая конструкция, известная под гибридным названием "Марксизм-Ленинизм" оказалась необратимо скособо-

<sup>79</sup> К личной удаче автора, будучи студентом на экономическом факультете, он специализировался по мировой экономике, затем занимался проблемами колхозного производства, лекции читал все восемь лет своей педагогической деятельности исключительно "по капитализму", а по приходе в аспирантуру ИМЭМО сразу попал в руки Евгения Аркадьевича Громова, который вернулся из Гулага непримиримым борцом против сторонников "примата производства".

ченной в сторону тех элементов теоретического наследия Маркса, которые покоились на рассмотренном нами ошибочном основании (органический состав капитала сыграл роль конкретной дефектной детали) и оказались впоследствии исторически несостоятельными.

Маркс не испытывал симпатий к *российскому царизму*, но он *не желал зла России, её народу*. Он проявлял активный исследовательский интерес к уникальным особенностям и возможностям российской истории и даже к нашему последнему незбылемому сокровищу – русскому языку.

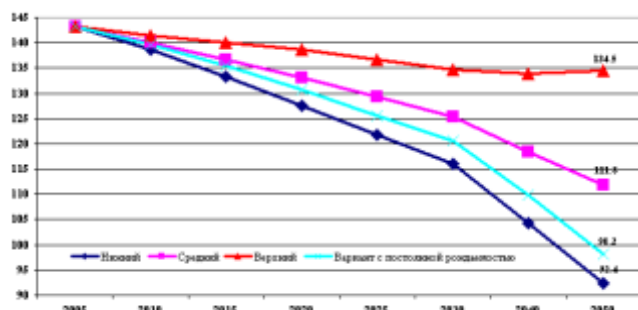
Ульянов, самонадеянно считавший себя знатоком и непогрешимым истолкователем марксизма, не заметил, или не смог, или не захотел правильно понять упомянутых выше марксовых пророческих предостережений и его оценок российской ситуации. Он оказался неспособным или, точнее – не заинтересованным в том, чтобы учесть *все* стороны изменений в экономике и социальной структуре развитых стран, связанные с исторической дистанцией между XIX и XX веками, а не только те, которые укладывались в прокрустово ложе его самобытно деформированной трактовки исторического процесса.

В результате осуществления его собственного, ульяновского теоретического постулата, представляющего Россию, как "*слабое звено*" в империалистической системе и *расходный материал* для разжигания всемирной революции, население нашей страны с подорванной генетикой и здоровьем, с оскудевшей моралью и гражданскими идеалами, с искажёнными социальными и деловыми стимулами, запущенной территорией и варварской эксплуатацией природных ресурсов, в итоге XX столетия оказалось у *разбитого корыта* своей истории.

В частности, утрата вектора цивилизационного развития проявляется в том, что отрезвление сознания российских людей, уцелевших в этом чудовищном и вовсе не обязательном ульяновском эксперименте, патологически затягивается. На всё послевоенное время у менявшихся властей нашей страны, ментально зашоренных областью своих своекорыстных интересов и камуфлирующих это идеологем, профессионально и морально не приспособленных к современным реалиям демократического развития, повседневным средством самосохранения стало *культивирование исторической слепоты народа*.

В лихорадочном поиске точек опоры для сохранения хотя бы подобия национальной стабильности, они уже давно не могут найти действенных идеологических средств, кроме сознательно и постоянно подогреваемых *спекуляций на Победе 1945 года*. Это великое событие, намертво сопряжённое с *бездумно-беспощадной гибелью многих и многих десятков, а с учётом чудовищных потерь рождаемости, сотен миллионов жителей нашей страны, упорно преподносится чередой сменяющихся властей как доказательство исторического оправдания большевистского режима*. Война и победа в такой просталинистской интерпретации не только трактуются в качестве идеально-эталонного предмета национальной гордости и источника величия страны, но и (как бы мне хотелось здесь ошибиться!) *воспринимается таковым всё большим числом людей*.

Это происходит только отчасти из-за того, что новым поколениям трудно представить, что в действительности война и победа были совсем не похожими на их отражение в средствах массовой информации. Современные люди не думают о том, что было азбучно известно всем и каждому во время войны и после неё, а именно то, что репродуцируемые ныне официальные печатные материалы, отчёты и донесения того времени, очень и очень часто имеют мало общего с тем, что происходило, каждый день и на самом деле. Над каждым писавшим тогда любой текст, выходящий за рамки информационного или идеологического шаблона зримо витала вездесущая опасность политического недоверия, трибунала, лагеря ... Цензура писем на фронт,



запрещение ведения дневников, личных записей существовали не просто так, а потому что по своей

природе эти носители информации были смертельны для насковозь изнутри и извне процензуренной казённой официальнойщины.

Глубинная же причина потери исторической ориентации коренится в *сокращении численности*<sup>80</sup>, *оскудении физического, духовного и профессионального потенциала населения. При этом важно не ошибиться, понять универсальный характер этого процесса – он охватывает на равных началах всю массу народа с самого верха до самых низов, и в середине, и вширь и вглубь, а возможно уже гнездится где-то на мало поддающемся исправлению генетическом уровне*<sup>81</sup>.

Главная задача XXI столетия для всех стран – это нормальный, подготовленный прошлым перевод развития мира на магистральный путь человекоцентричной парадигмы (или модели) социально-экономического развития. Для России из-за катастрофического состояния её человеческого потенциала это является не только единственным, но и **чрезвычайным** путем национального сохранения.

По изложенным выше причинам, эта сверхзадача является в квадрате более сложной и объемной, чем в странах с нормальным развитием. Она *в равной мере относится и к простому сохранению людей, и к радикальному улучшению их здоровья, культуры, образования, нравственности, мотиваций, то есть к качеству человеческого потенциала.* Краеугольной, обобщающей, стратегической национальной задачей на второе и последующие десятилетия века является **абсолютная концентрация всех усилий страны на спасении и развитии своего человеческого потенциала.** Государственное управление должно немедленно и коренным образом изменить свою текущую и стратегическую практику. Она должна быть абсолютно подчинена принципу, согласно которому **любое отвлечение национальных ресурсов на другие цели, прежде всего на разнообразные формы забот о державности и на все подобные этому контрпродуктивные потуги, смертельно опасно для нашей страны.**

Состояние человеческого потенциала России, которое можно назвать *антропологической катастрофой* – это стагнация и регресс в развитии населения страны, многопричинная потеря нормальных источников роста численности, ухудшение всех структурных характеристик и глубокие разрушительные процессы в качестве народа. Именно человеческий аспект является и главным стержнем, и следствием более общей, *цивилизационной катастрофы*, которая поразила Российское государство, когда оно свернуло в русло советского развития.

Различные аспекты этой национальной патологии можно и нужно изучать и методами различных наук и в междисциплинарном свете. Но всему своё место, науке не место в данном мемуаре стилистически. Здесь важно выйти на точку, где изощрённый результат науки смыкается со здравым смыслом. (В отличие от физики, где, бывает, оправдываются именно безумные идеи, в общественных науках верным критерием истины является простой тест на здравый смысл). Как бы ни была (казалось бы) сложна и многоаргументно обоснована научная картина нашего российского мира, "сухой остаток" оказывается (это всегда бывает в судьбоносных случаях) про-

<sup>80</sup> К сожалению, мрачные прогнозы сокращения численности коренного населения России нас мало тревожат. Например, показанные ниже данные ООН (все варианты до середины века в миллионах человек).

<sup>81</sup> В этом контексте кажется наивной (но исправимой) ошибкой мнение И.Юргенса, который объявил не так давно, что источником трудностей развития России является отсталость и некомпетентность народа, который не может воспринять и реализовать на практике безукоризненную политику нашего мудрого государственного аппарата.



стым и очень близким к интуитивно опытному чувствованию обычного, *незашоренного идеологическими догмами, искреннего и совестливого человека.*

Показатели падения качества населения многообразны, всеобъемлющи. На сегодняшний день к числу наиболее взрывоопасных относится национальный аспект. Антипатия, иногда враждебность к другим народам и государствам – это общее свойство, которое не исчезнет пока существуют различные человеческие популяции и социальные различия между ними. Но в социально здоровом национальном организме, так же как и у отдельного человека, это свойство эмбрионально, оно мало проявляется в нормальных условиях жизнедеятельности. Националистические проявления, зависть и агрессивность по отношению к "другим" обостряются и выходят на поверхность в трудные времена, происходят от повседневной и повсеместной незащищённости, утери общности и родовой идентичности, от подспудного понимания национального неблагополучия. Итак: у нас, скажем, "не любят" :

*Евреев* – это самое традиционное, можно сказать общемировое – потому что они в глазах обывателя мудрее, опытнее (будучи современными, сохранили качества древнего народа), умнее и практичнее (мало пьют и безобразничают), организованы как сообщество, реально помогают друг другу.

*Кавказцев* – потому что они коммерчески расторопнее, просто по жизни хитрее, нахальнее, сплочённее, и часто используют это для точечного, а затем и более широкого бытового и силового самоутверждения.

*Азиатов*, например, *корейцев* – за трудоголизм, за то, что они на той же нашей, соседской земле производят в разы больше продукта, чем аборигены...

*Африканцев* – за их жизнелюбие, легкомыслие, иногда за нерастратченное здоровье, ну, конечно, бывает за наглость и бесстыдство.

*Американцев* – особенно, но также и других похожих на них иностранцев, – за высокий уровень жизни, организованный профессионализм, органичную деловитость, за уверенную силу. И конечно, за то, что они – в современном мире господа и победители в борьбе за реальную державность.

Что же наш народ видит положительного в себе? – Конечно, такое качество как выдающееся терпение (к сожалению, с экономической стороны это может быть формой проявления примитивизма потребностей, парализующего стимулы эффективного социально-экономического развития). Джугашвили в своём самодовольном послевоенном тосте на кремлёвском приёме это издевательски обыграл, когда упомянул, что любой народ (кроме терпеливых русских) сбросил бы большевистское правительство, обанкротившееся в начале отечественной войны. В той же обойме качеств присутствует "душевность". Но она стремительно утрачивается по мере гибели деревни и культурной деградации среды обитания, а для того, чтобы разбудить её, по точному наблюдению Жванецкого, *"большая беда нужна"*. Ещё отмечается изобретательность, выдумка (хотя часто она даёт неслучайный сбой, как у лесковского левши, обездвижившего английскую механическую блоху, или укладывается в присказку *голь на выдумки хитра*). Это, конечно, примеры, а не полный перечень.

И я приглашаю несогласного со сказанным выше бросить в меня критический бульжник. Только пусть этот "несогласный человек" не горячится, пусть трезво проверит, а что же это такое, новое, не общеизвестное всем нормальным людям я сказал? Пусть прислушается и к своему подсознательному искреннему голосу. А ведь это только часть национальной болезни. Потому что вряд ли найдётся даже самый закостенелый патриот, кто не почувствует в глубине души жизненность предлагаемых в качестве примера оценок общероссийских "обывательских" настроений (иными словами пушкинского *"мнения народного"*) только по одному из критически важных пунктов общественного сознания – по национальному вопросу, по отношению к другим людям и народам. То же самое можно сказать и не голословно, а на

языке социологии с фактами, цифрами и с лавиной человеческих свидетельств буквально обо всём: о профессионализме, культуре, нравственности, наконец, о здоровье населения страны.

Много говорят о том, чтобы найти или "сформулировать" национальную идею. Несмотря на старания, результата нет. По-видимому, дело не в отсутствии изобретательности. Просто, приличная национальная идея (кроме простых запретительных – не воровать, не пить и т.п. или взятых из заповедей) не может существовать в сегодняшней атмосфере в стране – застойной, иждивенческой, поражённой ощущением собственной загнанности, беззащитности и недоверия к другим народам. Сейчас многие люди, включая журналистов и социологов, с удивлением обнаруживают, что так называемые "понятия" в "правильной", не "беспредельной" тюрьме ближе к христианским заповедям, чем принятые в нашем обществе правила поведения. В населении страны пока что пассивность и пороки выглядят много заметнее, чем созидательность, материальная и духовная культура.

Мне больно вспоминать, с какой верой мы заучивали в школе отрывки из классиков о светлом будущем России. Что случилось с трогательно замаскированной иронией (на счёт "трактира на каждой станции") мечтой Пушкина ("шоссе Россию там и тут, соединив, пересекут")? Что стало с надеждами Белинского ("завидую внукам и правнукам нашим" – о России в 1940 году). Кастрированы национальной трагедией 1917 года полные уверенности прогнозы Дмитрия Менделеева о том, что к концу XX века население России достигнет 600 млн. человек. Так же, но по своему, с мистической подоплёкой представил будущее Гоголь, когда создал "птицу тройку". Я имею в виду, что по пророческой, гениальной иронии судьбы в коляске-то (для меня это открыл Шукшин) был Чичиков! Наверное, останется загадкой, почему и для чего тот же Гоголь, который убедительно объяснил причину, по которой он сжёг второй том "Мёртвых душ" с его положительными героями, сотворил феерический, гигантский, но пока что исторически тупиковый образ Тараса Бульбы. Как ни печально, но ближе всех к осмыслению грядущей реальности оказался даже не Тютчев (с его "умом Россию не понять"), а объявленный сумасшедшим несчастный Чаадаев.

Что может сделать наша страна, чтобы вырваться из этой ситуации *несбывшихся надежд*? Говоря упрощенно (как тот колоритный персонаж А.Толстого, которого *революция научила мыслить большими категориями*), ответ может быть либо приземлено-прагматичный, либо абстрактно-научный. Первый – подчиниться стихийному ходу событий, стараться как можно лучше (или *как всегда?*) реактивно реагировать на возникающие проблемы в расчёте на то, что "кривая сама вывезет". Правда, вывезет она через неопределённое время и неизвестно ещё куда.

Второй ответ, менее соответственный российской природе, убаюканной полными богатств просторами страны и затурканной вороватым и непрофессиональным начальством, – взбодрить совокупные усилия многих *общественно-научных дисциплин* и по немецки, по протестантски, хорошо ещё и с *русским размахом* каждый день, меняя свой традиционный облик и мобилизуя то здоровое, что осталось в генах народа, выполнять рекомендации наук по спасению и активизации населения Российской Федерации.

На этом пути пригодится, надеюсь не в последнюю очередь, и вклад *политической экономики*. Именно на её поле находятся три краеугольные опоры национального успеха в удовлетворении материальных и духовных потребностей людей, соответствующих уровню XXI века. Первая – это *человекоориентированное понимание социально-экономической эффективности*, которое предусматривает выбор инвестиционных приоритетов страны на основе ранжирования *потребностей населения*, а сами потребности, независимо от их материального или нематериального характе-

ра, измеряются по размерам *ущерба*, который наносит их недоудовлетворение. Вторая опора – максимальная активизация *специфических механизмов самодвижения, саморазвития различных частей смешанного, многоукладного общества и каждого человека* в нём. И, наконец, третья, выходящая на интегральный уровень – системное понимание гуманитарного целеположения современной цивилизации – *человекоцентричная парадигма* развития, в которой политическая экономия отвечает за изучение синергетических взаимосвязей экономического воспроизводства со всеми другими – духовными, культурными, нравственными и гражданскими составляющими процесса и результатов общественного развития. Мне нравится, что именно при этих проблемах я состоял долгое время и приложил к их пониманию своё малое, в меру сил, участие.

Что же касается Карла Маркса, то его научная, а потом и историческая репутация оказалась сильно подпорченной из-за авантюрно-террористических вывихов поведения некоторых его последователей, а затем уже в XX веке после краткого периода удивлённого внимания к "первому в мире социалистическому государству" – из-за его отторжения и краха по причине тоталитарных искажений социалистической идеи. Эти наслоения долгое время выводили из научного оборота конструктивное содержание действительных теоретических достижений Маркса, которое становится всё более общепризнанным в современном мире в меру того как уходит угроза осуществления пророчеств Коммунистического Манифеста.

### **Олимпиадовка и Ленгородок с точки чуть выше птичьего полёта**

Представленные далее фотографии тех самых мест, о которых говорилось в первой части мемуара, замечательны и своей совсем недавней технической невообразимостью, и тем, как мало изменений произошло там за прошедшие более чем семьдесят лет моей памяти. Ориентация центра Олимпиадовки на снимке 1, следующая: вверху на севере за пределами фото будет Темерничка, железная дорога а затем Нахаловка; на востоке справа Ленгородок, вокзал и город. В 64й школе (вход в неё с Бурного спуска) к старому дому сзади пристроены после войны равновеликий квадратный объём, справа и крытый переход, по-видимому, в новый спортивный зал, протянувшийся за половину двора. Степок ныне полностью застроен традиционными домохозяйствами, без следа старых просторов.

Внизу снимка – отмечен домик уже закрытой почты у поворота трамвайной линии на подъём в южном направлении, а справа виден уголок бывшего кладбища. Центральная "площадь", где в старые времена была не существующая теперь водопроводная колонка, ещё более захлавлена и запущена. Общий тип застройки изме-

нился мало, только появились одноэтажные краснокирпичные домики и такая же облицовка старых.



Снимок 1.

В центре снимка 2 на стыке садика и бывшего кладбища виден изгиб трамвайной линии влево к почте и вправо на Собино – отсюда прямой путь в два с половиной квартала к бабушке Марии Петровне. В середине вверху – отмечена первая квартира родителей после войны на Андреевской улице, которая идёт параллельно Темернику и железной дороге на Таганрог и Москву. Левее и выше от неё у еле видного мостика через Темерник – место боя с немцами ополченческого взвода под командой директора нашей школы Павла Григорьевича Павлова. На снимке 3 у верхнего края Дворца поворот рельсов "пятерки" с Собино налево, далее – не видна остановка "десятки" в город до Сельмаша. Главное здание вокзала находится на 10 метров правее (видна его тень). Хорошо виден и новый гораздо более капитальный, чем раньше мостик через железнодорожные пути. Немного ниже от Лензавода – за обрез фотографии не поместилась наша вторая квартира после переезда с Андреевской.



Снимок 2.



Снимок 3.

Последним идёт снимок Жуковки, на котором виден бывший мой огород (он больше, чем у соседей, кусты слева очень сильно разрослись). Хата (обозначено место) и постройки скорее всего новые (старая была, конечно, совсем плохонькая, хотя и хуже соседских, но в рамках нормы, не принципиально). Напротив, на правой стороне улицы раньше был только один дом – точно напротив нас. В нём жил упомянутый Ванька Щербинин. Остальное – новая застройка. Верха бугров, где я сгребал курай и косил сено, раскопали под огороды. Егорлык остался на своём месте, но речка стала значительно шире (но не до судоходности) за счёт воды построенного в конце пятидесятых годов большого по местным масштабам оросительного канала.

Снимок 4.

